This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

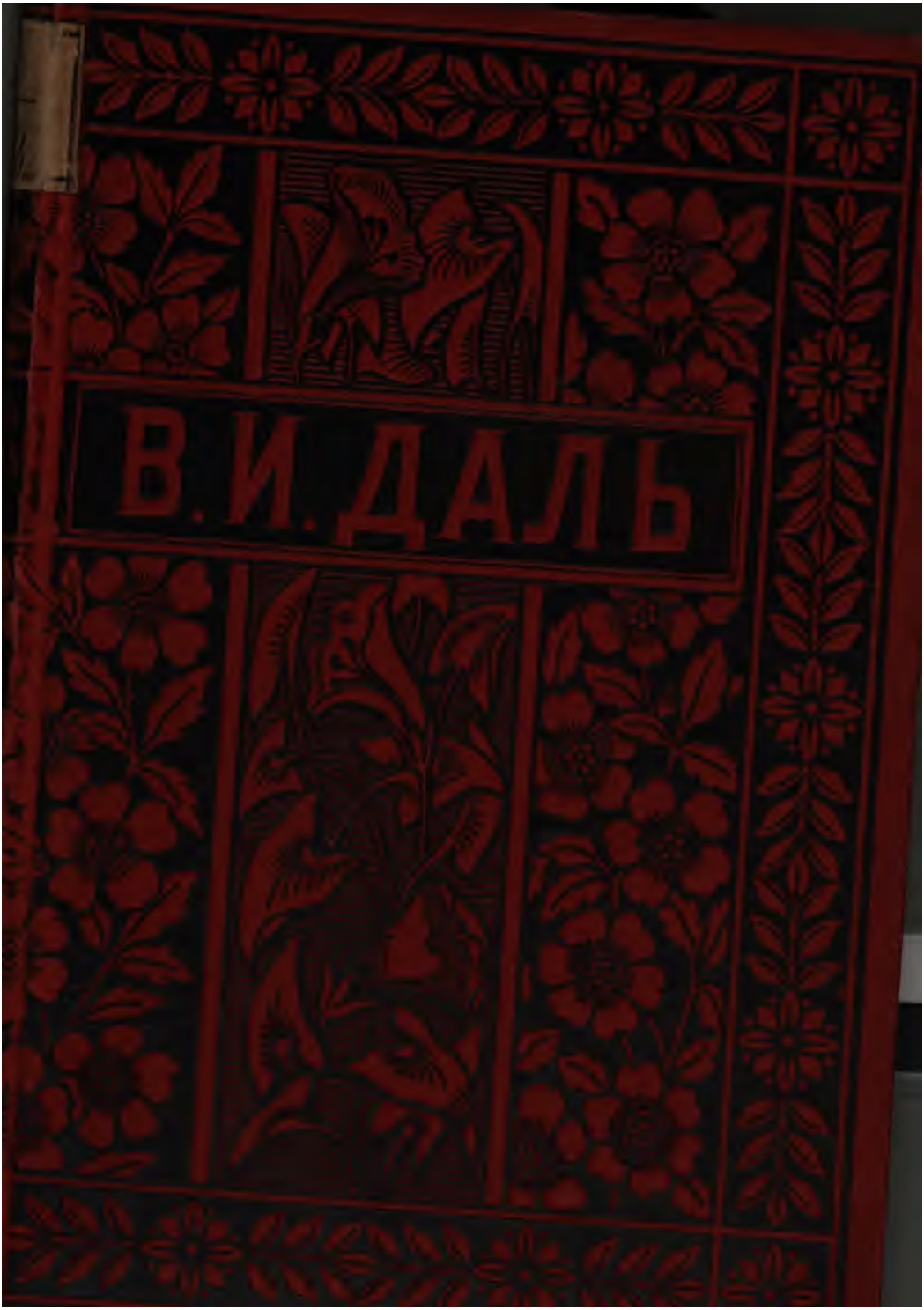
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

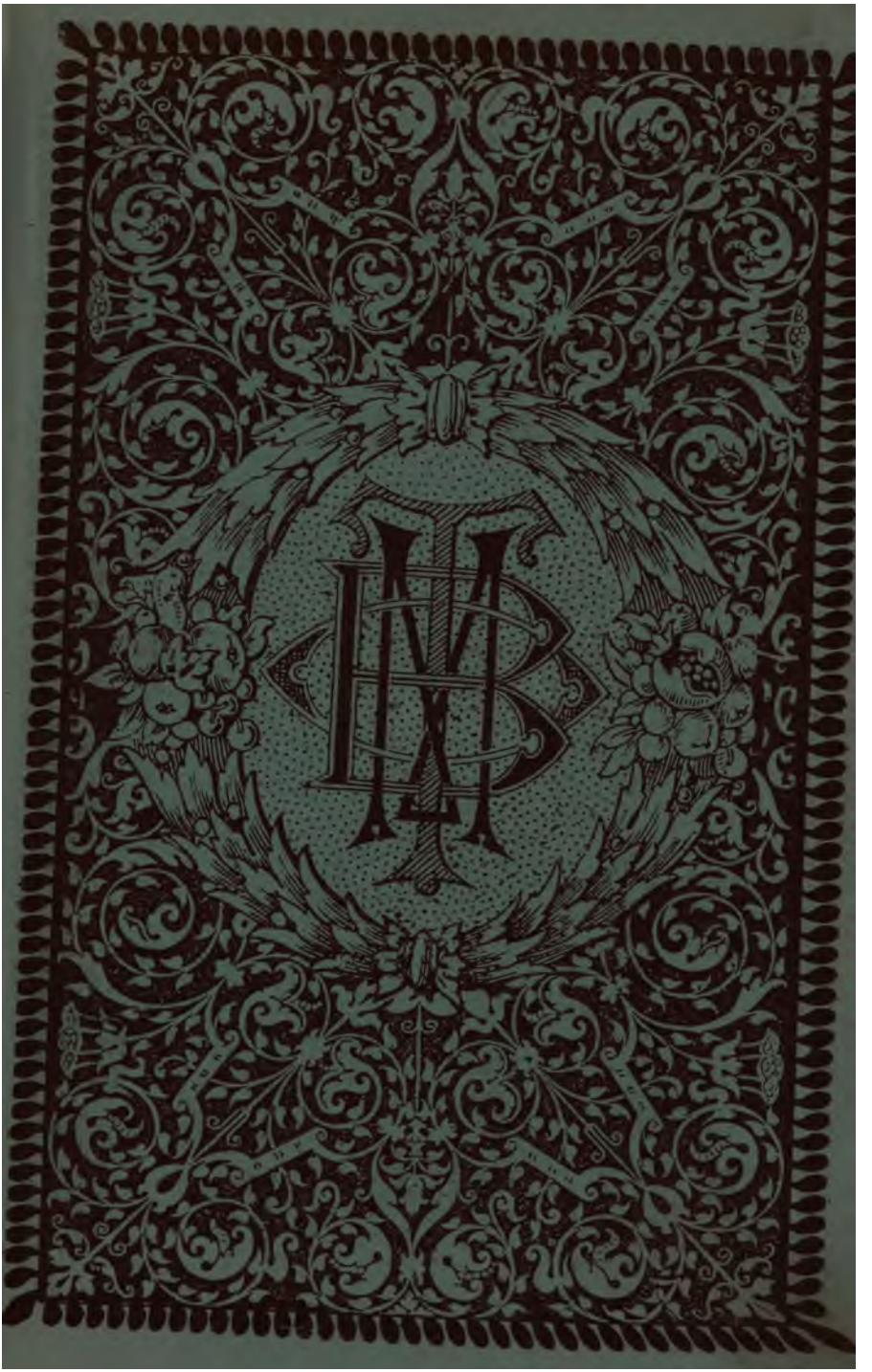
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`


В. И. ДАЛЬ

A45216

ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.

№169



П | 14-17
✓123

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ

РУССКІЯ СКАЗКИ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С. ПЕТЕРБУРГЪ
Гостиный дворъ, № 18

МОСКВА
Кузнецкій мостъ, № 12

1898

XIX.13
Д131
V.1

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ. Спб., Вас. Остр., 6 л., д. № 5—7.

Дозволено цензурою Спб, 21 сентября 1898 г. Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

Гдѣ наши головы масленыя, узорчатыя, бороды чесаныя, мухорчатыя, усики витые бахромчатые? Гдѣ кафтаны смурые бархатные, шляпы бурыя поярковыя, кушаки шелковы-бухарскіе, армяки татарскіе, рубахи щегольскія красныя, рукавицы вырѣстковыя, тисненыя, шаровары полосатыя, сапоги со каймою строченые, на рубахахъ запонки граненыя, на кафтанахъ застежки золоченыя? Ой было, было время на Руси, что ходилъ молодецъ въ кафтанѣ, ходила дѣвка въ сарафанѣ!

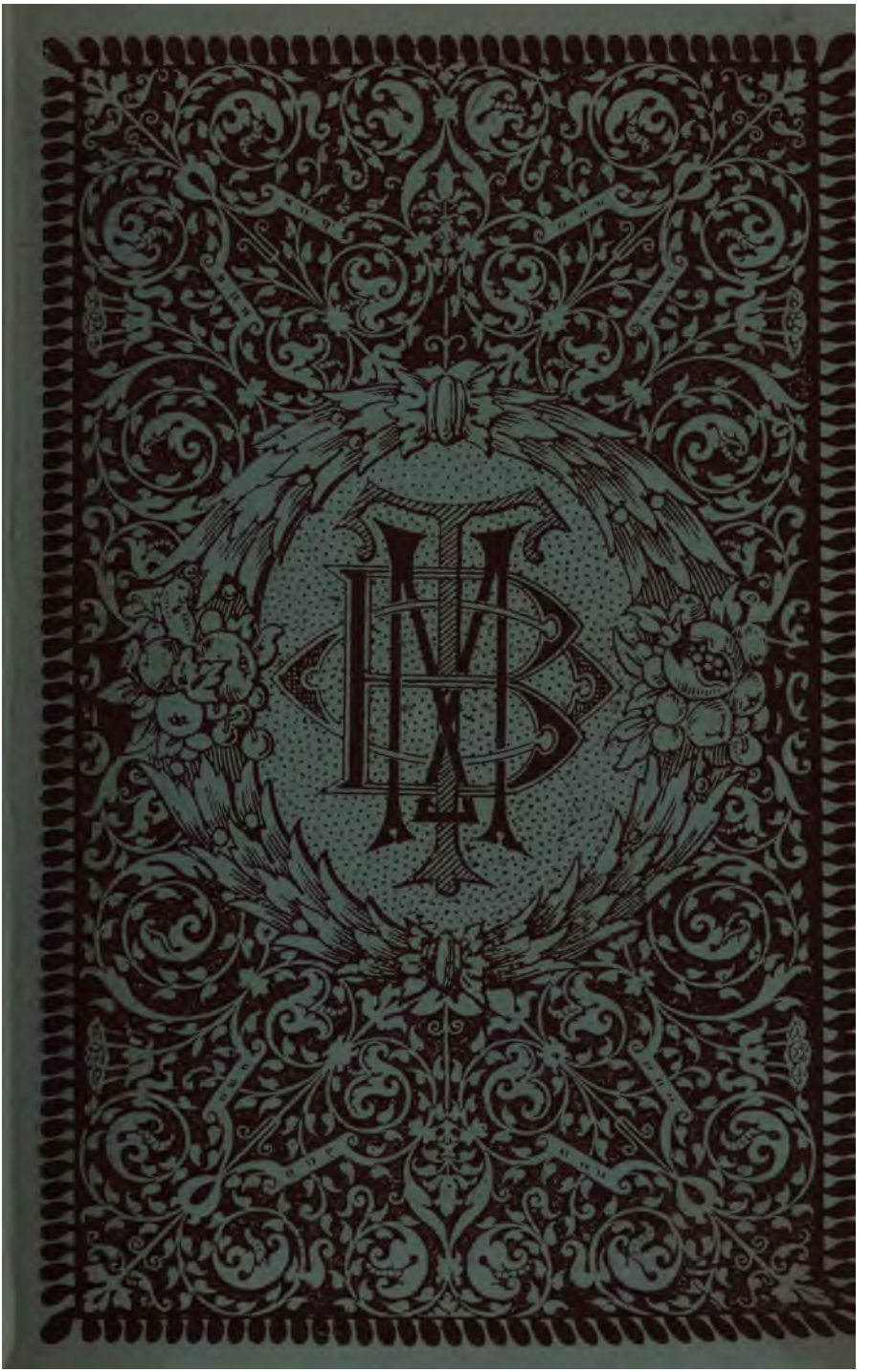
Люди добрые, старые и малые, ребятишки на деревянныхъ коникахъ, старички съ клюками и подпорками, дѣвушки, невѣсты русскія! идите старъ и малъ слушать сказки чудныя и прихотливыя, слушать были-небылицы русскія! А кто знаетъ грамотѣ скорописной великороссійской, садись пиши, записывай, на бѣло семь разъ переписывай, знай помалчивай, словечка не роняй! Изъ каждаго листа выходитъ тридцать двѣ обертки на завитки нашимъ барышнямъ-красавицамъ: ополчитеся, доблестные сыны отечества, да не посрамимъ земли своея! Полно дѣвицамъ, невѣстамъ нашимъ, ходить-носить кудри вязяны-сырцовыя, плетеныя-шелковыя; у насъ на Руси и собачка каждая въ своей шерсти ходитъ, а косы русскія мягче шелку шема-

A45216

STANFORD UNIVERSITY LIBRARY

ИЗЪ БИБЛІОТЕКИ.

N169



Д | 14-17
✓123

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ
СОЧИНЕНІЙ
ВЛАДИМІРА ДАЛЯ
(КАЗАКА ЛУГАНСКАГО)

Первое посмертное полное изданіе, дополненное, свѣренное и вновь просмотрѣнное по рукописямъ

ТОМЪ ДЕВЯТЫЙ

РУССКІЯ СКАЗКИ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФЪ

С. ПЕТЕРБУРГЪ
Гостиный дворъ, № 18

МОСКВА
Кузнецкій мостъ, № 12

1898

Д131
V.1

Типографія Товарищества М. О. Вольфъ. Спб., Вас. Остр., 6 л., д. № 5—7.

Дозволено цензурою Спб, 21 сентября 1898 г. Редакторъ-издатель А. М. Вольфъ.

Гдѣ наши головы масленыя, узорчатыя, бороды чесаныя, мухорчатыя, усики витые бахромчатые? Гдѣ кафтаны смурые бархатные, шляпы бурыя поярковыя, кушаки шелковы-бухарскіе, армяки татарскіе, рубахи щегольскія красныя, рукавицы вырѣстковыя, тисненыя, шаровары полосатыя, сапоги со каймою строченые, на рубахахъ запонки граненыя, на кафтанахъ застежки золоченыя? Ой было, было время на Руси, что ходилъ молодецъ въ кафтанѣ, ходила дѣвка въ сарафанѣ!

Люди добрые, старые и малые, ребятишки на деревянныхъ коникахъ, старички съ клюками и подпорками, дѣвушки, невѣсты русскія! идите старъ и малъ слушать сказки чудныя и прихотливыя, слушать были-небылицы русскія! А кто знаетъ грамотѣ скорописной великороссійской, садись пиши, записывай, на бѣло семь разъ переписывай, знай помалчивай, словечка не роняй! Изъ каждаго листа выходитъ тридцать двѣ обертки на завитки нашимъ барышнямъ-красавицамъ: ополчитеся, доблестные сыны отечества, да не посрамимъ земли своея! Полно дѣвицамъ, невѣстамъ нашимъ, ходить-носить кудри вязяны-сырцовыя, плетеныя-шелковыя; у насъ на Руси и собачка каждая въ своей шерсти ходитъ, а косы русскія мягче шелку шема-

хинскаго, чище стекла богемскаго! Пишите, молодцы задорные, пишите и печатайте вирши въ альбомы, въ альманахи, пишите по заморскому, такъ скоро изъ матушки Россіи пойдетъ вывозъ черновой бумаги за море, въ чужіе края!

А вы, вычуры заморскіе, переводня сѣмени русскаго, вы хваты голосистые, съ брызжами да съ жаботами, съ бадинками, да съ витыми тросточками, вы садитесь въ дилижансы, да поѣзжайте за море, въ модные магазины; поѣзжайте туда, отколѣ къ намъ возитъ на показъ ваша братья ученыхъ обезьянъ; изыдите; не про лукаваго молитва читается, а отъ лукаваго. Аминь.

СКАЗКА ПЕРВАЯ

о Иванѣ, молодомъ сержантѣ, удалой головѣ, безъ роду, безъ племени, спроста безъ прозвища.

МИЛЫМЪ СЕСТРАМЪ МОИМЪ

ПАВЛѢ и АЛЕКСАНДРѢ.

Сказка изъ похожденій слагается, присказками красуется, небылицами минувшими отзывается, за быльми будничными не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается, тотъ пусть на русскія поговорки не прогнѣвается, языка доморощеннаго не пугается; у меня сказочникъ въ лаптяхъ, по паркетамъ не шатывался, своды расписные, рѣчи затѣйливыя только по сказкамъ однѣмъ и знаетъ. А кому сказка моя про царя Дадона золотого кошеля, про двѣнадцать князей его, про конюшихъ, стольниковъ, блюдолизовъ придворныхъ, про Ивана, молодого сержанта, удалую голову, спроста безъ прозвища, безъ роду, безъ племени, и прекрасную супругу его, дѣвицу Катерину,—не по нутру, не по нраву, тотъ садись за грамоты французскія, переплеты сафьяновые, листы золотообрѣзные, читай бредни высокоумныя! Счастливый путь ему на ахинеи,

на баклуши заморскія; не видать ему стороны затѣйливой, какъ ушей своихъ; не видать и гуслей-самогудовъ: сами заводятся, сами пляшутъ, сами играютъ, сами пѣсни поютъ;—не видать и Дадона золотого кошеля, ни чудесъ неимовѣрныхъ, Иваномъ, молодымъ сержантомъ, созидаемыхъ! А мы, люди темные, не за большимъ гоняемся, сказками потѣшаемся, съ вѣдьмами, съ чародѣями якшаемся.—Въ нашей сказкѣ на всякаго плясуна по погудкѣ, про куму Соломониду страсти-напасти, про насъ со сватомъ смѣхи-потѣхи!

Въ нѣкоторомъ самодержавномъ царствѣ, что за тридевять земель, за тридесятымъ государствомъ, жилъ былъ царь Дадонъ золотой кошель. У этого царя было великое множество подвластныхъ князей: князь Панкратій, князь Климъ, князь Кондратій, князь Трофимъ, князь Игнатій, князь Евдокимъ, много другихъ такихъ же, и сверхъ того правдолюбивые, сердобольные министры, фельдмаршалъ Кашинъ, генералъ Дюжинъ, губернаторъ графъ Чихирь пяташная голова, да строевого боевого войска Иванъ, молодой сержантъ, удалая голова, безъ роду безъ племени, спроста безъ прозвища. Его-то царь Дадонъ любилъ за вѣрную службу его, и жаловалъ неоднократно большими чинами, деньгами, лентами первоклассными, златочеканными кавалеріями, крестами, медалями и орденами. Таковая милость царская подвела его подъ зависть вельможъ и бояръ придворныхъ, и пришли они въ полномъ облаченіи своемъ къ царю, и, принявъ слово, стали такую рѣчь говорить: «За что, государь, изволишь жаловать Ивана, молодого сержанта, милостями-почестями своими царскими, осыпать благоволеніями многократными наравнѣ съ твоими полководцами? Мы, не въ похвальбу сказано, не въ укоръ помянуто, мы, кажется, для тебя большаго стоимъ: собираемъ съ крестьянъ подати-оброки хорошіе, живемъ не по холопьи, хлѣбомъ-солью, пивомъ-медомъ

угощаемъ и чествуемъ всякаго, носимъ на себѣ чины и званія генеральскіе, которые на свѣтѣ цѣнятся выше чина капральскаго».

Царь этотъ царствовалъ, какъ медвѣдь въ лѣсу дуги гнетъ: гнетъ не паритъ, переломитъ не тужитъ! Онъ, послушавъ правдолюбивыхъ и сердобольныхъ совѣтниковъ своихъ, приказалъ немедленно отобрать отъ Ивана, молодого сержанта, удалой головы, безъ роду, безъ племени, спроста безъ прозвища, всѣ документы царскіе, чины, ордена, златочеканныя медали, и пошло ему опять жалованье солдатское, простое, житье плохое, и стали со дня на день налегать на него болѣе вельможи, бояре царскіе, стали клеветать, обносить, оговаривать. Подстрѣленнаго сокола и ворона носомъ долбитъ; свались только съ ногъ, а за тычками дѣло не станетъ! Бился, бился нашъ Иванъ—какого добра еще дожидаться? Надувшись на пиво, его не выпьешь; глядя на лѣсъ не вырастешь, а смотря на людей, богатъ не будешь. Задумалъ онъ наконецъ худое дѣло сдѣлать, бѣжать изъ службы царской—земля государева не клиномъ сошлась; бѣглому одна дорога, а погонщикамъ сто; а поймаютъ—воля Божья, судъ царевъ; хуже худого не бываетъ, а здѣсь не сдобровать. Выждалъ онъ ночь потемнѣе, собрался и пошелъ, куда глаза глядятъ, куда стопы понесутъ молодецкія!

Пріятель нашъ не хорошо сдѣлалъ, что сбѣжалъ, о томъ ни слова, но и то сказать, человѣкъ не скотина; терпитъ напраслину до поры до времени, а пошла брага черезъ край, такъ и не сговоришь! Исподволь и ольху согнешь, а вкрутѣ и вязъ переломишь!

Не успѣлъ выйти Иванъ нашъ на первый перекрестокъ, видитъ, встрѣчаетъ, глазамъ своимъ молодецкимъ не довѣряетъ, видитъ прекрасную дѣвицу, стоитъ дѣвица Катерина, что твоя красная малина! разодѣтая,

разубраная, какъ ряженая - суженая! Она наклонилась обязательно, привѣтствовала милостиво и спросила съ ласкою, кто онъ таковъ, куда и зачѣмъ идетъ или посланъ, по своему ли желанью или по чьему приказанью? — Не торопись къ худу, Иванъ, молодой сержантъ, удалая ты голова, безъ роду, безъ племени, спроста безъ прозвища, продолжала она, а держись блага—послушай ты моего дѣвичьяго разума глупаго, будешь умнѣе умнаго: задумалъ ты худое дѣло дѣлать, бѣжать изъ службы царской, не схоронишь ты концовъ въ воду, выйдетъ черезъ годъ со днемъ наружу грѣхъ твой, пропадетъ за побѣгъ вся служба твоя, подумай-ка ты лучше думу да воротись; не всѣмъ въ изобиліи, въ раздольѣ жить припѣваючи, бѣлорыбицей въ Волгѣ рѣкѣ разгуливать; кто служитъ, тотъ и тужитъ; ложку меду, бочку дегтю—не съѣшь горькаго, не поѣшь и сладкаго, не смазавъ дегтемъ, не поѣдешь и по брагу! Мало славы служить изъ одной корысти; нѣтъ, Иванъ, послужи-ка ты своему царю заморскому, подъ оговоромъ, подъ клеветою, вѣрою и правдою, какъ служатъ на Руси, изъ одной ревности да изъ чести! Воротись, Иванъ, молодой сержантъ, да женись ты на мнѣ, такъ мы бы съ тобою и стали жить да поживать; любишь, такъ скажи, а не любишь, откажи! Запросъ въ карманъ не лѣзетъ.

Есть притча короче носа птичья: жениться не лапоть надѣть, а одни лапти плетутся безъ мѣры, да на всякую ногу приходятся! И истинно: жена не гусли; поигравши на стѣнку не повѣсишь, а съ кѣмъ подъ вѣнецъ, съ тѣмъ и въ могилу—приглядись, приноровись, а потомъ женись, примѣрь десять разъ, а отрѣжь одинъ разъ; на горячей клячѣ жениться не ѣзди!—Все это и справедливо и хорошо, но иногда дѣло какъ будто бы напередъ уже слажено, а суженаго и на кривыхъ оглобляхъ не объѣдешь! Такъ и

тутъ случилось; капралъ нашъ, солдатъ, человѣкъ сговорчивый, подалъ руку дѣвицѣ Катеринѣ—вотъ то-то свахи наши ахнутъ: что за некрещеная земля, гдѣ сговоръ могъ состояться безъ нихъ!!! — подалъ руку ей, она ему надѣла на перстъ колечко обручальное, даровое-завѣтное, дарующее силу и крѣпость и неизсякающее терпѣніе, вымолвила пригодное слово, и чета наша идетъ не идетъ, летитъ не летитъ, а до заутрени очутились они въ первопрестольномъ градѣ своемъ, снарядились и обвѣнчались, а съ разсвѣтомъ встали молодыми супругами.

И вдругъ отколѣ что взялося, пошла Ивану опять прежняя милость царская, чины и деньги и лестныя награды, и зажилъ онъ припѣваючи домовитымъ хозяиномъ, какъ ярославскій мужикъ. И снова сталъ лукавый мучить завистью правдолюбивыхъ, сердобольныхъ министровъ царскихъ, фельдмаршала Кашина, генерала Дюжина, губернатора графа Чихиря пятаную голову, и предложили они единодушно царю, чтобы Иванъ, молодой сержантъ, по крайней мѣрѣ заслужилъ службою милость царскую, показалъ бы на дѣлѣ рысь свою утиную, лапчатую. Вслѣдствіе сего Иванъ, молодой сержантъ, на утро вычистился, бѣлье натеръ человѣчьимъ мясомъ [1]), брюки велѣлъ женѣ вымыть и выкатать, на себѣ высушилъ, словомъ, нарядился какъ на ординарцы, и явился ко двору. Царь Дадонъ, трепнувъ его по плечу, вызывалъ службу служить.—Радъ стараться, отвѣчалъ Иванъ.—Чтобы ты мнѣ, продолжалъ царь, за одинъ день, за одну ночь, и всего за одни сутки, сосчиталъ, сколько сотъ, тысячъ или милліоновъ зеренъ пшеницы въ трехъ большихъ

---

[1]) Бѣлье у солдата *что бьются*, бѣлая кожаная амуниція. Бѣлятъ ее составомъ изъ бѣлой глины, а натирается она и вылащивается голою рукою.

амбарахъ моихъ, и съ разсвѣтомъ доложилъ мнѣ объ этомъ. Если сочтешь вѣрно, пойдетъ снова милость царская, пуще прежняго; а нѣтъ, такъ казнить, неповинную голову рубить!

Взяла кручинушка Ивана, молодого сержанта, удалую голову, безъ роду, безъ племени, спроста безъ прозвища, повѣсилъ онъ головушку на правую сторонушку, пришелъ горемычный домой.—О чемъ тужишь-горюешь, очи солдатскія потупляешь, или горе старое мыкаешь-поминаешь?—Такъ спросила его благовѣрная супруга, дѣвица Катерина.—Всевозлюбленная и распрекрасная дражайшая сожительница моя,—держалъ отвѣтъ Иванъ, молодой сержантъ, — не безчести въ загонахъ добра молодца, загоняешь и волка, такъ будетъ овца! Какъ мнѣ не тужить, не горевать, когда царь Дадонъ, слушая придворцевъ своихъ, велитъ мнѣ службу служить непомѣрную, велитъ мнѣ за одинъ день, за одну ночь, и всего-то, русскимъ счетомъ, за однѣ сутки счесть, сколько въ трехъ большихъ амбарахъ его царскихъ сотъ, тысячъ или милліоновъ зеренъ пшеницы—сочту, такъ пойдетъ милость царская, а нѣтъ, такъ казнить, повинную голову рубить! — Эхъ, Иванъ, молодой сержантъ, удалая ты голова, дражайшій сожитель и супругъ мой! Это не служба, а службишка, а служба будетъ впереди! Ложись-ка ты спать, утро вечера мудренѣе,— завтра встанемъ, да, умывшись и помолившись, подумаемъ.—Такъ рекла прекрасная Катерина; напоила, накормила его и спать положила и прибаюкивала пѣсенкою:

За лѣсами, за горами горы да лѣса,
А за тѣми за лѣсами лѣсъ да гора —
А за тою за горою горы да лѣса,
А за тѣми за лѣсами трынь да трава;
Тамъ луга заповѣднымъ дикимъ лѣсомъ поросли
И древа въ томъ лѣсу стоеросовыя,
На нихъ шишки простыя, не кокосовыя!

Сожитель легъ, зѣвнулъ, заснулъ — а Катерина вышла за вороты тесовыя на крылечко бѣлокаменное, махнула платочкомъ италіанскимъ и молвила: ахъ вы любезные мои повытчики, батюшкины посольщики, нашему дѣлу помощники, пожалуйте сюда! И тотчасъ отколѣ ни возьмись старикъ идетъ, клюкой подпирается, на немъ шапка мотается, головой киваетъ, бородой слѣдъ заметаетъ; сталъ и послушно отъ повелительницы приказанія ожидаетъ. Сослужи-ка ты мнѣ, вѣщунъ-чародѣй, службу, сосчитай до утра, сколько въ трехъ большихъ амбарахъ государевыхъ счетомъ зеренъ? Ахъ, — любезная наша повелительница, дочь родная-кровная нашего отца-командира, это не служба, а службишка, а служба будетъ впереди; — самъ какъ свистнетъ да гаркнетъ на своихъ на приказчиковъ, такъ со всѣхъ сторонъ налетѣли, тьма тьмущая — что твоя туча громовая, черная! Какъ принялися за работу, за разсчетъ, не довольно по горсти, по зерну на каждаго не досталось!

Еще черти на кулачки не бились, нашъ Иванъ просыпается, глаза протираетъ, сонъ тяжкій отряхаетъ, бѣду неминучую, смерть вѣрную ожидаетъ. Вдругъ подходитъ къ нему супруга его благовѣрная, сожительница Катерина, грамоту харатейную, разсчетъ вѣрный зернамъ пшеничнымъ подноситъ. А вѣка тогда были темные, грамотѣ скорописной мало кто зналъ, печатной и въ заводѣ не было—церковными буквами подъ титлами и крючками числа несмѣтныя нагорожены—азы прописные красные, узорчатые, строчные черные, буднишніе—кто имъ дастъ толку? Да и не повѣрять же стать! Ни свѣтъ ни заря явился капралъ нашъ на войсковой дворъ и подалъ грамоту по начальству. А придворные правдолюбивые: фельдмаршалъ Кашинъ, генералъ Дюжинъ, губернаторъ графъ Чихирь пятишная голова, мысленно капрала давно уже

казнили, четверили, повѣсили, тѣло его всесожженію предали и прахъ отъ востока до заката развѣяли. Царь передалъ грамоту и дѣло Ивана на судъ царедворцамъ своимъ. А царедворцы его, кто взятъ изъ грязи да посаженъ въ князи; кто и великъ тѣломъ, да малъ дѣломъ; иной съ высоку, да безъ намеку, тотъ съ виду орелъ, да умомъ тетеревъ, личикомъ бѣленекъ, да умомъ простенекъ, хоть и не книженъ, да хорошо стриженъ:— а которые посмышленѣе, такъ все плуты на голо, кто кого сможетъ, тотъ того и гложетъ, ну, словомъ, живутъ, только хлѣбъ жуютъ, ѣдятъ—небо коптятъ!— Они повелѣли, именемъ Дадона, собрать всѣхъ счетчиковъ, ариѳметчиковъ, со всего царства, составить засѣданіе и повѣрить огромные итоги. Ариѳметчики бились, бились,—перебрали жалованья, каждый тысячъ по нѣскольку, получили по чину сенаторскому, по двѣ ленты на крестѣ, по плюмажу на шляпу, и рѣшили наконецъ единогласно и единодушно, чтобы грамоту нерукотворную харатейную отдать на сохраненіе въ приличное книгохранилище и передавать изъ рода въ родъ позднѣйшему потомству, яко достопамятность просвѣщеннаго вѣка великоименитаго, великодарованнаго, великодержавнаго и великомудраго царя Дадона, золотого кошеля;—что же именно касается выкладки счета сего, то оно дѣйствительно можетъ быть такъ, а можетъ быть и не такъ; а потому не благоугодно ли будетъ вышепоименованному Ивану, молодому сержанту, повелѣть, яко остающемуся и пребывающему подъ сомнѣніемъ, повелѣть службу служить ему иную и исполнить оную съ большимъ тщаніемъ и раченіемъ. Царь Дадонъ пожаловалъ имъ теперь по кресту на петлицу, по звѣздѣ на пуговицу, по банту за спину.

А службу опять загадали Ивану бездѣлицу: въ одинъ день, въ одну ночь, всего-то русскимъ счетомъ, въ однѣ сутки, выкопать вокругъ города-столицы канаву, сто

саженъ глубины, сто саженъ ширины, воды напустить, чтобы корабли ходили, рыба гуляла, пушки по берегамъ на валу стояли, и до разсвѣту производилась бы пальба; ибо царь Дадонъ, золотой кошель, намѣревался потѣшаться и праздновать именины свои. Если сослужитъ Иванъ службу эту — любить и золотомъ дарить; если нѣтъ, такъ казнить, голову рубить!

Вотъ когда нашему Ивану пришлось хоть волкомъ взвыть! Разорвись нашъ братъ на двое, скажутъ: двѣ ноги, двѣ руки, почему не на четверо? Подгорюнился, пришелъ домой, судьбу свою проклинаетъ, смерть вѣрную ожидаетъ; попало зернышко подъ жерновъ, быть ему смолоту; съ вѣтромъ божьимъ, съ волею мастера не поспоришь. Но прекрасная Катерина, спросивъ и узнавъ кручину супруга-сожителя, снова намекнула ему: это не служба, а службишка, а служба будетъ впереди; положила спать, убаюкала тою же пѣснею, вышла и накликала вѣщуна-чародѣя. Идетъ, головой киваетъ, бородой слѣдъ заметаетъ—какъ свистнетъ да топнетъ на своихъ на приказчиковъ—ночи тьму затмили; а за работу принялись, такъ не только по горсти земли, по зерну, по одной песчинкѣ на брата не досталось!

Съ разсвѣтомъ дня царь, министры его, вельможи, царедворцы, думные и конюшіе и вся столица просыпаются отъ гула пушекъ, и губернаторъ графъ Чихирь, пяташная голова, въ легкомъ ночномъ уборѣ, въ *валентиновомъ* халатѣ, съ *парламентеромъ* на шеѣ, походя съ ногъ на горнаго шотландца, выскочилъ изъ терема своего въ *три авантажа* на *балахонъ* и старался усмотрѣть въ *подозрительную* трубу подступающаго непріятеля. Когда же дѣло все обнаружилось, то Иванъ, за страхъ, причиненный царю Дадону, царедворцамъ его и всѣмъ честнымъ согражданамъ, былъ схваченъ и посаженъ до времени подъ стражу; губер-

натора графа Чихиря сдѣлали комендантомъ новой крѣпости; фельдмаршалу Кашину, за дѣятельныя мѣры для отраженія мнимаго непріятеля, сшили, въ знакъ отличія, кафтанъ изъ однѣхъ разноцвѣтныхъ выпушекъ; у прежняго же высокаго совѣта ариѳметчиковъ, блажныя памяти, отобраны всѣ знаки отличія, ордена, ленты и звѣзды; за нехитро придуманную, площадную, Иваномъ нашимъ легко исполненную службу, — признаны всѣ учрежденія и постановленія ихъ, да и сами они, несостоятельными, и сосланы они на теплыя воды полѣчиться. А когда, при вечернемъ осмотрѣ, царь Дадонъ, золотой кошель, нашелъ всѣ новыя укрѣпленія со всѣми угодьями въ отличной исправности, то и отдалъ коменданту Чихирю всѣ знаки отличій, коими пользовался, блажныя памяти, верховный совѣтъ его.

Между тѣмъ у новыхъ совѣтниковъ царскихъ мало по малу умишко поразгулялся, и они придумали, пригадали Ивану такую добрую службу сослужить, что отъ радости приказали поднести себѣ по кружкѣ меду, закусили муромскимъ калачомъ, ростовскимъ каплуномъ и нѣженскимъ свѣжепросольнымъ огурчикомъ, и понесли, убояся грамоты, рѣчи свои царю на докладъ. Да и хитро же придумали! Дуракъ камень въ воду закинетъ, дуракъ узелъ завяжетъ, семеро умныхъ камня не вытащатъ изъ воды, узла не развяжутъ! Ивану нашему велѣли службу служить, а сами за сказки да за пляски, за обѣды да за бесѣды—народъ дѣловой; два брата на медвѣдя, два свата на кисель; изъ лука не мы, изъ пищали не мы, а поѣсть, поплясать, противъ насъ не сыскать!

Охъ ты гой еси добрый молодецъ, Иванъ, молодой сержантъ, безъ роду безъ племени, спрочта безъ прозвища, витязь безродный и безконный! Собирайся служить ты службу тяжкую; иди ты туда, невѣдомо куда; ищи того, невѣдомо чего — разойдись одинъ по

семи перекресткамъ: за горою лѣсъ, а за лѣсомъ опять гора — вспомнилъ теперь Иванъ нашъ колыбельную пѣсенку супруги своей!—Придешь ты въ тридесятое государство, что за тридевять земель, въ заповѣдную рощу; въ рощѣ заповѣдной стоитъ теремъ золоченый, въ теремѣ золоченомъ живетъ Котышъ-Нахалъ, невидимка искони вѣка; у него-то есть гусли самогуды, сами заводятся, сами играютъ, сами пляшутъ, сами пѣсни поютъ — гусли эти принести царю, царевичамъ и царедворцамъ и наперсникамъ ихъ играть, потѣшаться, музыкою заморскою забавляться; и чтобы все это было сдѣлано въ однѣ сутки! Исполнишь, хорошо; а нѣтъ, такъ третій и послѣдній тебѣ срокъ, шапки съ головы схватить не успѣешь, какъ она тебѣ, и съ головою, въ ноги покатится!

Уповая на благовѣрную сожительницу свою, прекрасную Катерину, и на помощь вѣщуна-чародѣя, Иванъ нашъ не унывалъ; но когда онъ пересказалъ сожительницѣ загаданную ему службу, тогда получилъ въ отвѣтъ:—вселюбезнѣйшій и дражайшій супругъ мой, сожитель Иванъ, молодой сержантъ, безъ роду, безъ племени, спроста безъ прозвища, удалая ты голова! нынѣ пришла пора, пришла и служба твоя, и должно тебѣ служить ее самому; не въ моихъ силахъ высвободить тебя, ниже подать тебѣ, бѣдствующему, руку помощи; — а засимъ она его снарядила и въ походъ отпустила, какъ съ судьбою, съ случаями, путемъ-дорогою вѣдаться научила, платочкомъ италіанскимъ своимъ подарила, и примолвила: — паси денежку про черный день; платкомъ этимъ не иначе, какъ въ самой сущей крайности и въ самомъ бѣдственномъ положеніи можешь ты утереть съ лица твоего молодецкую слезу горести и скорби! не пренебрегай бездѣльнымъ подаркомъ моимъ, не велика мышка, да зубокъ остеръ, не великъ сверчокъ, да звонко поетъ —

часомъ и лычко послужитъ ремешкомъ!—Сѣли, подали хлѣбъ-соль на прощанье, помолились Богу и—пошелъ нашъ Иванъ, куда кривая не вынесетъ!

И кто бы, благодерзновенный, покусился сподвизаться на такія чудныя и неслыханныя похожденія! Но плетью обуха не перешибешь—когда посылаютъ, такъ идти; не положить же имъ, здорово живешь, голову на плаху; смерть не свой братъ, хоть и жить тошно, а умирать тошнѣе; ретивый парень лучше пойдетъ провѣдать счастья молодецкаго на чужбинѣ, чѣмъ ему умирать безславно на родинѣ!

Иванъ нашъ уже на пути. Терпитъ онъ холодъ и голодъ и много бѣдствій различныхъ переноситъ; Богъ вымочитъ, Богъ и высушитъ; потерялъ онъ счетъ днимъ и ночамъ — свѣтишь, да не грѣешь, подумалъ онъ, поглядѣвъ на казацкое солнышко, на луну, только напрасно у Бога хлѣбъ ѣшь! И видитъ онъ вдругъ, что зашелъ въ боръ дремучій и непроходимый, такой, что свѣта Божьяго не взвидѣлъ; пень на пнѣ, то лбомъ, то затылкомъ притыкается — усталъ хоть на убой! подкосились колѣни его молодецкія, сапоги въ сугробахъ снѣжныхъ глубокихъ вязнутъ—поднялъ онъ лычко подвязать голенище—горе лыкомъ подпоясано! — вынулъ платочекъ даровой завѣтный супруги-сожительницы — вдругъ его какъ на ходули подняло! отозвалося лычко ремешкомъ! на немъ сапоги-самоходы, да и такіе они скороходы, что и на одномъ мѣстѣ стоятъ, такъ конному не нагнать; не успѣлъ шагнуть, полюбоваться рысью своею, и уже все вокругъ него зазеленѣлось; зашелъ онъ изъ бѣлой матушки зимы въ цвѣтущую, благоуханную весну — и полетѣлъ нашъ Иванъ, оглянуться не успѣлъ, выходитъ изъ лѣсу сосноваго дремучаго на лужайку вѣчнозеленую, травка-муравка вѣчно свѣжа-зелена, какъ бархатецъ опушкой шелковой ложится, ковромъ узор-

чатымъ подъ ноги разстилается. И стоитъ на лужайкѣ той зданіе чудное, вызолоченное отъ земли до кровли, отъ угла до угла; столбы бѣломраморные кровлю черепичную-серебряную подпираютъ, на ней маковки горятъ золотыя, узоры прихотливые, живописные и лѣпные подъ карнизами рѣзными разгуливаютъ, окна цвѣтныя хрустальныя, какъ щиты огненные, злато отливаютъ—ни воротъ, ни дверей, ни кола, ни двора; безъ забора, безъ запора, говорится, не уйдешь отъ вора, а тутъ все цѣло, исправно, видно, некому воровать! Обошелъ капралъ нашъ зданіе это разъ-другой кругомъ, оглядѣлъ со всѣхъ сторонъ — всюду то-же и входа нѣтъ! Смѣлость города беретъ, а за смѣлаго Богъ; безъ отваги нѣтъ и браги, не бывъ звонаремъ, не быть и пономаремъ! стукъ, брякъ въ окно хрустальное, зазвенѣло-полетѣло, только осколки брызнули! забрался нашъ Иванъ безродный, удалой въ теремъ золоченый, да и ахнулъ! хороша куропатка перьями, а лучше мясомъ; зданіе внутри блистало такою красотой, что ни придумать, ни сгадать, ниже въ сказкѣ сказать! а палаты огромныя пусты; никто на зовъ Ивана, молодого сержанта, не откликается; нѣтъ отвѣта, нѣтъ привѣта. Ходилъ, ходилъ Иванъ нашъ, выходилъ по всѣмъ покоямъ, и видитъ вдругъ, встрѣчаетъ, глазамъ молодецкимъ не довѣряетъ, стоитъ въ углу чанъ дубовый, виситъ черезъ край ковшикъ луженый. Выпилъ онъ на усталость крючокъ, за здравіе благовѣрной сожительницы своей, другой, за упокой клеветниковъ и доносчиковъ своихъ, третій — разобрало его, зашумѣло въ головѣ, ходитъ по покоямъ золоченымъ одинъ какъ перстъ, похаживаетъ, завалилъ руку лѣвую за ухо на самый затылокъ и пѣсенку русскую: «растоскуйся ты, моя голубушка, моя дорогая,» во весь духъ покрикиваетъ. Вдругъ незримая рука его останавливаетъ, голосъ безвѣстный вопрошаетъ:—

часомъ и лычко послужитъ ремешкомъ!—Сѣли, подали хлѣбъ-соль на прощанье, помолились Богу и—пошелъ нашъ Иванъ, куда кривая не вынесетъ!

И кто бы, благодерзновенный, покусился сподвизаться на такія чудныя и неслыханныя похожденія! Но плетью обуха не перешибешь—когда посылаютъ, такъ идти; не положить же имъ, здорово живешь, голову на плаху; смерть не свой братъ, хоть и жить тошно, а умирать тошнѣе; ретивый парень лучше пойдетъ провѣдать счастья молодецкаго на чужбинѣ, чѣмъ ему умирать безславно на родинѣ!

Иванъ нашъ уже на пути. Терпитъ онъ холодъ и голодъ и много бѣдствій различныхъ переноситъ; Богъ вымочитъ, Богъ и высушитъ; потерялъ онъ счетъ днямъ и ночамъ — свѣтишь, да не грѣешь, подумалъ онъ, поглядѣвъ на казацкое солнышко, на луну, только напрасно у Бога хлѣбъ ѣшь! И видитъ онъ вдругъ, что зашелъ въ боръ дремучій и непроходимый, такой, что свѣта Божьяго не взвидѣлъ; пень на пнѣ, то лбомъ, то затылкомъ притыкается — усталъ хоть на убой! подкосились колѣни его молодецкія, сапоги въ сугробахъ снѣжныхъ глубокихъ вязнутъ—поднялъ онъ лычко подвязать голенище—горе лыкомъ подпоясано! — вынулъ платочекъ даровой завѣтный супруги-сожительницы — вдругъ его какъ на ходули подняло! отозвалося лычко ремешкомъ! на немъ сапоги-самоходы, да и такіе они скороходы, что и на одномъ мѣстѣ стоятъ, такъ конному не нагнать; не успѣлъ шагнуть, полюбоваться рысью своею, и уже все вокругъ него зазеленѣлось; зашелъ онъ изъ бѣлой матушки зимы въ цвѣтущую, благоуханную весну — и полетѣлъ нашъ Иванъ, оглянуться не успѣлъ, выходитъ изъ лѣсу сосноваго дремучаго на лужайку вѣчнозеленую, травка-муравка вѣчно свѣжа-зелена, какъ бархатецъ опушкой шелковой ложится, ковромъ узор-

чатымъ подъ ноги разстилается. И стоитъ на лужайкѣ той зданіе чудное, вызолоченное отъ земли до кровли, отъ угла до угла; столбы бѣломраморные кровлю черепичную-серебряную подпираютъ, на ней маковки горятъ золотыя, узоры прихотливые, живописные и лѣпные подъ карнизами рѣзными разгуливаютъ, окна цвѣтныя хрустальныя, какъ щиты огненные, злато отливаютъ—ни воротъ, ни дверей, ни кола, ни двора; безъ забора, безъ запора, говорится, не уйдешь отъ вора, а тутъ все цѣло, исправно, видно, некому воровать! Обошелъ капралъ нашъ зданіе это разъ-другой кругомъ, оглядѣлъ со всѣхъ сторонъ — всюду то-же и входа нѣтъ! Смѣлость города беретъ, а за смѣлаго Богъ; безъ отваги нѣтъ и браги, не бывъ звонаремъ, не быть и пономаремъ! стукъ, брякъ въ окно хрустальное, зазвенѣло-полетѣло, только осколки брызнули! забрался нашъ Иванъ безродный, удалой въ теремъ золоченый, да и ахнулъ! хороша куропатка перьями, а лучше мясомъ; зданіе внутри блистало такою красотой, что ни придумать, ни сгадать, ниже въ сказкѣ сказать! а палаты огромныя пусты; никто на зовъ Ивана, молодого сержанта, не откликается; нѣтъ отвѣта, нѣтъ привѣта. Ходилъ, ходилъ Иванъ нашъ, выходилъ по всѣмъ покоямъ, и видитъ вдругъ, встрѣчаетъ, глазамъ молодецкимъ не довѣряетъ, стоитъ въ углу чанъ дубовый, виситъ черезъ край ковшикъ луженый. Выпилъ онъ на усталость крючокъ, за здравіе благовѣрной сожительницы своей, другой, за упокой клеветниковъ и доносчиковъ своихъ, третій — разобрало его, зашумѣло въ головѣ, ходитъ по покоямъ золоченымъ одинъ какъ перстъ, похаживаетъ, завалилъ руку лѣвую за ухо на самый затылокъ и пѣсенку русскую: «растоскуйся ты, моя голубушка, моя дорогая,» во весь духъ покрикиваетъ. Вдругъ незримая рука его останавливаетъ, голосъ безвѣстный вопрошаетъ:—

Охъ ты гой еси добрый молодецъ, мало доблести, много дерзости! зачѣмъ и откуда пожаловалъ, по своему ли желанью или по чьему приказанью?

— Я Иванъ, молодой сержантъ, спроста безъ прозвища, безъ роду, безъ племени, я Иванъ безродный удалая голова, витязь бездомный и безконный, служилъ я вѣрно Богу и некрещеному царю своему въ землѣ, что за триста конныхъ миль; сбили меня царедворцы завистливые съ чести, съ хорошаго мѣста, лишили милостей царскихъ, службы непосильныя служить посылали, золотыя горы сулили-обѣщали; сослужилъ я службу, сослужилъ другую, душу позналъ ихъ кривую;—не дали, чего посулили, на произволъ судьбы за третьей службой отпустили: иди туда, невѣдомо куда, ищи того, невѣдомо чего; разойдись одинъ по семи перекресткамъ, съ семи перекрестковъ по семи дорогамъ столбовымъ; за горою лѣсъ, а за лѣсомъ гора, а за той горою лѣсъ, а за тѣмъ лѣсомъ опять гора, придешь въ тридесятое государство, что за тридевять земель, въ рощу заповѣдную, стоитъ тамъ теремъ золотой, въ теремѣ томъ живетъ Котышъ-Нахалъ, невидимка искони вѣка—у него возьми гусли-самогуды, сами заводятся, сами играютъ, сами пляшутъ, сами пѣсни поютъ—ихъ-то принеси царю, царевичамъ, царедворцамъ и наперсникамъ ихъ потѣшаться, музыкою заморскою забавляться!

Отозвался невидимка снова:—Кого ищешь, Иванъ, молодой сержантъ, того нашелъ. Зовутъ меня Котышемъ-Нахаломъ, вѣковѣчный я невидимка; живу въ заповѣдной рощѣ, въ теремѣ золоченомъ. Знаю я художества разныя и многія; умѣю я строить-набирать гусли-самогуды, да съ уговоромъ; грѣхъ пополамъ; я буду работать, а ты будешь свѣтить мнѣ лучиной три дня и три ночи безъ смѣны, безъ засыпу; просвѣтишь—гусли-самогуды возьмешь; а заснешь, не то

вздремнешь, такъ голову, какъ съ воробья, сорву! До слова крѣпись, а за слово держись; попятишься, ракомъ назовутъ!

— Полѣзъ по горло, подумалъ Иванъ, лѣзть и по уши; уже теперь не воротиться же стать. Надралъ онъ лучинъ хвойныхъ, зажегъ, свѣтитъ день, свѣтитъ ночь, свѣтитъ и еще день, сонъ клонитъ неодолимый; кивнулъ Иванъ головой, задремалъ. А Котышъ-Нахалъ толкъ его подъ бокъ: «ты спишь, Иванъ»—Охъ, спать я не сплю, и дремать не дремлю, а думаю я думу. «А какую же ты думаешь думу?»—А думаю я, глядя въ окно, множество несмѣтное растетъ по свѣту бѣлому лѣсу разнокалибернаго—а какого болѣе растетъ, кривого или прямого? Чай, кривого больше.—Котышъ-Нахалъ призадумался; погоди, говоритъ, постереги ты на досугѣ гусли, я пойду посчитаю. Пошелъ; а капралъ нашъ тѣмъ часомъ залегъ, да давай на скорую руку спать. Долго ли, нѣтъ ли ходилъ Котышъ — не долгъ часъ на аршинъ, да долгъ улучкою—а Иванъ поспалъ изрядно; онъ солдатъ, спитъ скоро; бывало, подъ туркою, походя наѣстся, стоя выспится. Вставай, Иванъ, закричалъ Котышъ, твоя правда, кривого лѣсу больше; и больше такъ, что, на числа положить, такъ русскимъ счетомъ и не выговоришь. Зажигай-ка лучину да садись за работу, свѣти трое сутокъ сряду! Свѣтитъ капралъ нашъ день, свѣтитъ и ночь, добился и до другой—опять пѣсня та же; крѣпился, крѣпился, задремалъ! А Котышъ его толкъ въ ребро, спишь, говоритъ?—Охъ, спать я не сплю, и дремать не дремлю, а думаю я думу!—А какую же ты думаешь думу? А думаю я: несмѣтное множество людей на свѣтѣ у Бога да у земныхъ царей, а мало ли было да перемерло? Какихъ же больше людей на свѣтѣ, живыхъ или мертвыхъ? Чай, мертвыхъ больше! Покинулъ Котышъ опять Ивана на сторожѣ, самъ пошелъ считать.

Ходилъ онъ сутки съ недѣлей безъ семи дней, по ихнему безъ году годъ со днемъ, выходилъ всю поднебесную; а Иванъ на брюхо легъ, спиной укрылся, зѣвнуть не успѣлъ, заснулъ.—Вставай, капралъ, пора за работу; а правда твоя: мертвыхъ людей больше, живыхъ безъ четверти съ седьмухой три осьмины, а остальные всѣ мертвые.

Свѣтитъ Иванъ опять ночь со днемъ; перемогся и другую, а до третьей стало доходить, вздремнулъ, да такъ, что всхрапнулъ да присвистнулъ! Толкнулъ его Котышъ въ ребро: спишъ, Иванъ? А онъ очнулся, да не нашелся, а вымолвилъ съ перепугу словцо русское: *виноватъ!* къ пиву ѣдется, а къ слову молвится: *авось*, *небось*, да *какъ-нибудь*, а если на бѣду концы съ концами не сойдутся: *виноватъ!* Вотъ что нашего брата на русской землѣ и губитъ; вотъ за что нашего брата и бьютъ, да, видно, все еще мало, неймется!—Изъ твоей вины, молвилъ Котышъ-Нахалъ, не рукавицы шить, не сапоги тачать, а если такъ, то дѣлать нечего, смерть твоя пришла неминучая. Поди-ка выдь на лужайку муравчатую, на мою заповѣдную мелкотравчатую, погляди еще разъ на бѣлый свѣтъ, простися, покайся, умирать собирайся, а я голову съ тебя, какъ съ воробья, сорву! Охота хуже неволи; ты же самъ обрекся не животу, а смерти; слово сказано языкомъ да губами, а держись за него зубами!

Вышелъ Иванъ, молодой сержантъ, на лужайку заповѣдную, вѣчно-зеленую, вспомнилъ родину свою, супругу молодую, прекрасную Катерину, и залился слезами горькими. Что рыбѣ погибать на сушѣ и безводьи, то добру молодцу умирать въ чужѣ на безродьи! Вынулъ Иванъ платочекъ завѣтный италіанскій утереть въ послѣдній разъ слезу молодецкую—а ужъ Котышъ-Нахалъ зоветъ къ себѣ на расправу, подъ окномъ косящатымъ сидя, въ растворчатое глядя.—

Пришелъ къ нему капралъ нашъ, заживо мертвымъ себя почитаетъ, молитвами грѣшными самъ себя поминаетъ. Отколѣ ты взялъ платокъ этотъ? спросилъ у него Котышъ-Нахалъ, невидимка искони вѣка. Иванъ разсказалъ, отъ кого и какимъ случаемъ платокъ ему достался. Ладно, кума, лишь бы правда была,—отозвался Котышъ—правду ли ты говоришь?—Божиться у насъ не велятъ, да и лгать заказываютъ, отвѣчалъ служивый; что сказано, то и свято; на солдатскомъ словѣ хоть твердыни клади.—Не долго думано, да хорошо сказано, молвилъ Котышъ; если такъ, то ты бы мнѣ давно это сказалъ—стало быть, ты женатъ на дочери моей прекрасной, дѣвицѣ Катеринѣ, и ты, по завѣту, которому столько же лѣтъ, какъ ей самой, не только пробудешь живъ, здоровъ, и невредимъ и свободенъ отъ всякой пени, но и долженъ получить въ приданое собственныя мои гусли-самогуды, искони готовыя, завѣтныя, на которыя и было положено завѣту заслужить любовь и руку дочери, моей прекрасной дѣвицы Катерины. Для милаго дружка и сережку изъ ушка! Снарядилъ его, въ походъ отпустилъ, гусли-самогуды въ мошнѣ кожаной на плечи повѣсилъ—заиграли, заплясали, пѣсни чудныя запѣли—а Иванъ лыжи настроилъ да направилъ во-свояси; шагаетъ, какъ жаръ-птица летаетъ, домой торопится-поспѣшаетъ. Шелъ онъ оттуда високосный годъ безъ недѣли со днемъ, не то поменьше, не то побольше, не поспѣть ему и назадъ въ сутки! Стоитъ надъ путемъ-дорогой избушка домосѣдка, распустила крылья какъ курочка-насѣдка, а въ ней стукотня; лукошко, кузовокъ, корзина да коробокъ вмѣсто цыплятъ вокругъ похаживаютъ, а двѣ вѣдьмы, сестры, одна буланая, одна соловая, вокругъ избы дозоромъ объѣзжаютъ, никого къ ней не допускаютъ. Повѣсилъ Иванъ гусли-самогуды на дерево, заслушались вѣдьмы игрой чудесной, а онъ тѣмъ ча-

сомъ обошелъ кругомъ да и въ избу. Старикъ сѣдой молотомъ полновѣснымъ передъ жерломъ огненнымъ на наковальнѣ булатной куетъ булавы стальныя, запускаетъ ихъ въ набалдашники золотые, а готовые на полати за печь кидаетъ. Это былъ вѣщунъ-чародѣй, служившій на Ивана, по повелѣнію сожительницы его Катерины, службы царскія, но они другъ друга не знавали въ глаза. Старикъ принялъ радушно пришельца усталаго; лягъ, говоритъ, да отдохни; а старуха моя, коли похлебать чего хочешь, сваритъ тебѣ щецъ — за вкусъ не берусь, а горячо да мокренько будетъ! Словомъ, напоилъ, накормилъ и спать положилъ, а съ разсвѣтомъ выпроводилъ, да услышалъ, на бѣду, игру чудесную гуслей-самогудовъ, и сталъ онъ ихъ у Ивана выпрашивать. Не захотѣлъ отдать ему Иванъ сокровища своего завѣтнаго, плодовъ поисковъ, трудовъ и похожденій неимовѣрныхъ—а тотъ не взялъ добромъ, такъ взялъ семеромъ; помощники, которымъ, какъ мы уже видѣли, числа нѣтъ, явились по мановенію повелителя своего, воздухъ и небо затмили множествомъ своимъ. Хочешь ли бороться съ каждымъ и со всѣми? спросилъ вѣщунъ-чародѣй, или добровольно за булаву любую отдашь мнѣ гусли твои? Иванъ подумалъ, да и отдалъ гусли; коротки ноги у миноги на небо лѣзть! Выбралъ булаву поувѣсистѣе и пошелъ, проклиная бѣлый свѣтъ! Куда дѣваться ему теперь? Что дѣлать? Какъ дома, какъ въ люди показаться и принести повинную голову свою на плаху? А былъ уже такъ близокъ великой цѣли своей! Въ раздумьи играя булавой, сталъ онъ набалдашникъ золотой отвертывать. Отвернулъ—изъ палицы кованой несмѣтное и безчисленное множество войска боевого, коннаго и пѣшаго, вылетаетъ, въ строй парадный передъ нимъ на лугу собирается, генералы съ адъютантами своими во всю прыть на Ивана, витязя бездомнаго и безконнаго, на-

скакиваютъ, отдаютъ честь должную полководцу, музыка полный походъ играетъ, подвиги Ивана, молодого сержанта, выхваляетъ, армія вся въ три темпа ружья на караулъ осаживаетъ, правою ногою отступаетъ. Это несмѣтныя полчища бѣсовъ вѣщуна-чародѣя, обмундированные, вооруженные. Надѣлъ Иванъ набалдашникъ золотой—исчезло все, какъ не бывало, снялъ—опять здѣсь, и бой, и музыка, и армія, и генералы съ рапортами; а гусли-самогуды въ котомкѣ за плечами! Смекнулъ дѣломъ капралъ нашъ; набалдашникъ надѣлъ, палицу въ руку, котомку за плечи, самоходцы на ноги, и маршъ на одинъ шабашъ въ родимую свою сторо нушку. Поспѣлъ до разсвѣта; сталъ на луга заповѣдные царскіе, которые нетолько человѣкъ ни одинъ не смѣлъ святотатными стопами своими попирать, но на кои и птица мимолетная не садилась,—снялъ голову съ булавы и построилъ армію несмѣтную прямо противъ дворца царскаго, а гусли-самогуды заставилъ играть: «За горами за долами!» Царь, проснувшись, разгнѣвался на дерзостнаго пришельца необычайно, струсилъ безъ мѣры, и послалъ губернатора, графа Чихиря, пятишную голову, освѣдомиться немедленно: что, и какъ, и кто, и почему? Идетъ Чихирь, узналъ Ивана, молодого сержанта, издали, подходитъ дерзостно, шляпы плюмажной не сымаетъ, рѣчи строптивыя-ругательныя произноситъ: «Не удивишь ты насъ, Иванъ окаянный, что скоро воротился, и врасплохъ насъ не застанешь! На тебя висѣлица готова давнымъ давно!» Притравилъ словомъ однимъ Иванъ своихъ на стараго недруга закоснѣлаго — схватили—не довольно по клочку, по волоску на каждаго не досталось! Ждалъ, ждалъ царь отвѣта съ нетерпѣніемъ великимъ — нѣтъ, говоритъ, видно, этотъ музыки заслушался; поди-ка ты, фельдмаршалъ мой Кашинъ!—Не ломайся овсяникъ, не быть калачомъ, ска-

залъ ему Иванъ; и этому была участь не завиднѣе перваго, и третьему, генералу Дюжину, также. Но теперь вызвался и пошелъ сослуживецъ и поборникъ Ивана, молодого сержанта, поступившій нынѣ на мѣсто убылого, сосланнаго за тридевять земель по гусли-самогуды. Зная службу и дисциплину, сталъ онъ подходить къ новому полководцу почтительно, держалъ мѣрный шагъ, руки по шву, фуражку снялъ на приличномъ разстояніи, однимъ словомъ, шелъ не спотыкался, сталъ не шатался, заговорилъ не заикался, и освѣдомился отъ имени царскаго о происходящемъ. Иванъ, молодой сержантъ, спроста безъ прозвища, безъ роду, безъ племени, а теперь фельдмаршалъ, полуторный генералъ и самъ себѣ кавалеръ, обнялъ его, приласкалъ, сказался именемъ своимъ, приказалъ царю бить челомъ и доложить, что Иванъ воротился изъ походу своего, сослужилъ службу царскую, принесъ гусли-самогуды изъ рощи заповѣдной вѣчнозеленой отъ Котыша-Нахала, вѣковѣчнаго невидимки, царю, царевичамъ и наперсникамъ ихъ потѣшаться, музыкою забавляться. Самъ надѣлъ набалдашникъ на булаву, снялъ войско съ заповѣдныхъ луговъ, и въ послушаніи остался ожидать рѣшенія царскаго. Царь Дадонъ золотой кошель выслалъ звать его ко двору на чай и ужинъ, произвелъ въ военноначальники свои, губернаторы, сенаторы, генералы и кавалеры — но и только что Иванъ дался въ обманъ и пошелъ безъ подозрѣнія на зовъ царскій, какъ два наемные рѣзника съ кистенями, съ ножами, бросились съ остервенѣніемъ ему навстрѣчу; они имѣли повелѣніе обезоружить его, отнявъ палицу, и бросить его въ темницу. Велика Ѳедора да дура, а Иванъ малъ да удалъ: имъ было бы выждать, покуда онъ взойдетъ въ тѣсныя ворота дворцовыя, и захватить его сзади, а они, не поглядѣвъ въ святцы да бухъ въ колоколъ, поспѣшили, людей

насмѣшили, вышли рано, да сдѣлали мало. Теперь Иванъ въ послѣдній испыталъ коварство царя Дадона золотого кошеля и совѣтниковъ его правдолюбивыхъ; онъ выпустилъ войско свое, конное и пѣшее, навстрѣчу убійцамъ, обложилъ дворецъ и весь городъ столичный, такъ что лишь только нашедшая туча дождевая пронеслась въ недоумѣніи, ибо некуда было и каплѣ дождя кануть — и истребилъ до послѣдняго лоскутка, ноготка и волоска Дадона золотого кошеля и всѣхъ сыщиковъ, блюдолизовъ и потакалъ его. Человѣку нельзя же быть ангеломъ, говорили они въ оправданіе свое, но не должно ему быть и діаволомъ, отвѣчалъ онъ имъ—и Соломонъ и Давидъ согрѣшали— Давидски согрѣшаете, да не Давидски каетесь! Нѣтъ вамъ пардону! и по дѣломъ; они всѣ, по владыкѣ своему, на одинъ ладъ, на тотъ же покрой — всѣ наголо бездѣльники; каковъ попъ, таковъ и приходъ; куда дворяне, туда и міряне; куда иголка, туда и нитка.

Иванъ былъ провозглашенъ отъ народа царемъ земли той, а супруга его, благовѣрная Катерина, царевною; онъ былъ еще въ цвѣтущей молодости своей, да и она въ отсутствіе его не состарѣлась, ибо всѣ неимовѣрныя похожденія его съ Котышемъ-Нахаломъ и гуслями-самогудами дѣйствительно произошли въ продолженіе однѣхъ только сутокъ. Царь Иванъ много лѣтъ здравствовалъ и царствовалъ кротко и смиренно, милостиво и справедливо; пользовался мудрыми совѣтами супруги своей, благовѣрной Катерины, ратію своею несмѣтною держалъ во страхѣ и повиновеніи враговъ своихъ, и былъ благословляемъ народомъ. Празднуя же восшествіе свое и супруги своей на престолъ, заставилъ на пиршествѣ обильно ликовать народъ три дня и три ночи безъ отдыха; вина заморскія лились черезъ край; яствъ, какихъ только прихотливая душа

твоя пожелаетъ, вдоволь; скоморохи, выписные и доморощенные, игрища многоразличныя, горы, пляски, салазки и сказки, кулачные бои увеселяли народъ, со всѣхъ концовъ царства обширнаго собравшійся.

И я и сватъ Демьянъ тамъ были, куму Соломониду дома забыли, медъ и пиво пили, по усамъ текло, въ ротъ не попадало—кто сказку мою дослушалъ, съ тѣмъ подѣлюсь; кто нѣтъ—тому ни капли!

СКАЗКА ВТОРАЯ

о Шемякиномъ судѣ и о воеводствѣ и о прочемъ; была когда-то быль, а нынѣ сказка будничная.

КАРЛУ ХРИСТОФОРОВИЧУ КНОРРЕ.

Пробѣжалъ заяцъ косой, проказникъ замысловатый, по свѣжей порошѣ, напрыгался, налягался, крюкъ выкинулъ сажени въ три, подъ кочкою улегся, снѣжкомъ загребся, притаился, казалось бы его ужъ и на свѣтѣ нѣтъ—а мальчики-плутишки заутре по клюкву пошли и смѣются, на слѣдъ глядя, проказамъ его; экій увертливой, подумаешь, вѣдь не пойдетъ же прямымъ путемъ-дорогой, по людски, виляетъ стороной, черезъ пень, черезъ тынъ, узоры хитрые лапками по снѣжку выводитъ, на корточки сядетъ, лягнетъ, притопнетъ; петлю закинетъ—экій куцый проказникъ! Ну, а какъ бы ему еще да лисій хвостъ?—И долго смѣялись зайцу, а заяцъ ужъ Богъ вѣсть гдѣ! Слухомъ земля полнится, а причудами свѣтъ; это не сказка, а присказка, а сказка будетъ впереди. Шемяка, судія и воевода, напроказилъ, нашалилъ, и скрылся, какъ заяцъ нашъ, да слѣдъ покинулъ рыси своей лебединой-лап-

чатой; а русскій народъ, какъ извѣстно всему свѣту, необразованный, непросвѣщенный, такъ и радъ случаю придраться, голову почесать, бороду потрясти, зубы поскалить, и подымаетъ на смѣхъ бѣднаго Шемяку судію и понынѣ. Кто празднику радъ, тотъ до свѣту пьянъ; у меня кума жила на Волгѣ, Соломонида, бывало какъ вспомянетъ, что у свекрови на крестинахъ пономарь оскоромился, такъ и въ слезы; а въ Суздадѣ, сватъ Демьянъ, и на тризнѣ, да хохочетъ! Уговоръ лучше денегъ, кто въ куму Соломониду удался, ни сказки ни призсказки моей слушать не садись; сказка моя о похожденіяхъ слезныхъ, приключеніяхъ жалостныхъ Стоухана Рогоуховича и Бабарыки Подстегайловны лежитъ у меня подъ спудомъ; а присказка о косомъ и куцомъ зайцѣ и сказка о судѣ Шемякиномъ написана, къ быту приноровлена и поговорками съ ярмонки Макарьевской разукрашена, для свата Демьяна съ честными сотоварищи: всякому зерну своя борозда; на всѣхъ не угодить; шапка съ заломомъ, будь и бархатная, не на дворянскую голову шьется—а по мнѣ да по свату куцое платье, французская булка на свѣтъ не родись! Намъ подай зимою щи съ пирогомъ, кашу; лѣтомъ ботвинью, либо окрошку, тюрю, поставь квасу, да ржаного хлѣба ломоть, чтобы было, за что подержаться, да зубами помолоть — а затѣмъ просимъ свата Демьяна не прогнѣваться, небылицами коренными русскими потѣшиться, позабавиться; у насъ съ нимъ, какъ у людей, выше лба уши не растутъ!

Шемяка родился не воеводою, а мужиковъ. Не родись уменъ, не родись богатъ, а родись счастливъ. Край его былъ бѣдный, народу смыслящаго мало, письменнаго не много, а Шемяка у дьячка въ святцы глядѣть выучился, зналъ праздникъ, по примѣтамъ, отличать отъ буденъ, ходилъ въ тонкомъ кафтанѣ—а какъ на безрыбьи и ракъ рыба, а въ городѣ Питерѣ и ку-

рица птица, такъ міръ его и посадилъ въ старосты. Шемяка мужикъ смирный: когда спитъ, такъ безъ палки проходи смѣло; и честный, заговоритъ, такъ что твои краснобаи, душа на ладони и сердце на языкѣ; а что скажетъ, то и свято, гдѣ рука, тамъ и голова; лихоимства не зналъ, бывало Ѳедосей, покойникъ, царство ему небесное, вѣчная память, смышленъ и хитеръ на выдумки, на догадки, тороватѣй нѣмца иного — ему пальца въ ротъ не клади! Бывало и комаръ носу не подточитъ; да любилъ покойникъ, нечего грѣха таить, чтобы ему просители глаза вставляли серебряные; бывало стукнетъ по головѣ молотомъ, не отзовется-ль золотомъ? Да и самъ только тѣмъ правъ бывалъ, что за него и праведныя деньги молились. Шемяка нашъ простъ, хоть колъ на головѣ теши, да добръ и богобоязливъ; такъ мужики и надѣялись нажить отъ него добра, да и оскоромились. Не то бѣда, что растетъ лебеда, а то бѣды, какъ нѣтъ и лебеды!

Приходитъ къ старостѣ Шемякѣ баба просить на парня, что горшки побилъ. Парню, лежа на полатяхъ, соскучилось; поймалъ онъ клячу, а какъ онъ былъ не изъ самыхъ ловкихъ и проворныхъ, такъ не умѣлъ и сѣсть, покуда кума его не подсадила. Кляченка начала его бить, понесла, а на бѣду тутъ у сосѣдки на частоколѣ горшки сушатся — понесла, да мимо горшковъ; онъ, какъ пошелъ ихъ лбомъ щелкать, всѣ пересчиталъ, сколько ни было!

Судья Шемяка подумалъ, да и разсудилъ: чтобы кума заплатила протори, убытки и горшки сосѣдки, за то, что парня криво на клячу посадила.—Гдѣ судъ, тамъ и расправа; мы проволочки не любимъ! Деньги на столъ, кума, да и ступай домой!

Чтобы тебѣ быть дровосѣкомъ, да топорища въ глаза не видать, за такой судъ, подумалъ сватъ Демьянъ;

убилъ бобра! Заставь дурака Богу молиться, такъ онъ и лобъ расшибетъ!

Теперь подошла другая баба съ просьбою. Къ ней въ огородъ и во дворъ и въ сѣни повадился ходить сосѣдскій пѣтухъ; а поваженный, что наряженный, отбою нѣтъ; и такой онъ забіяка, что бьетъ безъ пощады ея пѣтуха и отгоняетъ отъ курицъ; а сосѣдка приберечь и устеречь его не хочетъ. Тогда судья Шемяка приказалъ поймать ей своего пѣтуха и принести, и повелѣлъ писцу своему очинить ему носъ гораздо потонѣе и поострѣе, на подобіе писчаго пера, дабы онъ могъ удобнѣе побивать пѣтуха сосѣдняго Но онъ скоро, и не дождавшись побѣды своей, исчахъ и умеръ голодною смертію. Чтожъ дѣлать; на грѣхъ мастера нѣтъ; и на старуху бываетъ проруха; конь о четырехъ ногахъ, да спотыкается, а у нашего пѣтуха, покойника, только двѣ и были!

Теперь еще пришла баба просить на мужика. Какъ квочки разкудахтались, сказалъ Шемяка,—визжать дѣло бабье! Ѣхали они вмѣстѣ, баба съ мужикомъ, на рынокъ; мужикъ сталъ про себя разсуждать: продамъ я курицу, продамъ яйца, да куплю горшокъ молока; а я, примолвила баба сдуру, я хлѣба накрошу. Тогда мужикъ, не медля ни мало, ударилъ ее въ щеку, и вышибъ у нея два зуба; а когда она спросила, зарыдавъ, за что? Такъ онъ отвѣчалъ ей: *«не квась молока.»*—Мужикъ съ бабой пришли къ Шемякѣ и просили другъ на друга; мужикъ, не запираясь ни въ чемъ, принесъ два зуба, которые у нея вышибъ, въ рукахъ.

— Квасить молоко чужое не годится, — сказалъ Шемяка просительницѣ;—на чужой коровай ротъ не разѣвай, а пораньше вставай, да свой затѣвай! Но и ты не правъ, землякъ: вина одна; съ чужимъ добромъ не носись, на утварь ближняго не посягай. Отдай бабѣ

сей же часъ оба зуба, сполна, да и ступайте, Господь съ вами! тутъ и безъ васъ тѣсно, и на брюхѣ прѣсно: сегодня еще ни крохи, ни капли въ глотку не попадало, а хлопотъ полонъ ротъ—въ головѣ, какъ толчея ходитъ; бьешься, бьешься, какъ слѣпой козелъ объ ясли! Либо одурѣешь съ этимъ народомъ, прости Господи, либо съ ума сойдешь, либо, за недосугомъ, когда-нибудь безъ покаянія умрешь!

За такія и иныя подобныя, хитрыя увертки и продѣлки нашего судіи правдиваго, старосты Шемяки, посадили его на воеводство, и стали уже отнынѣ честить-величать по батюшкѣ, Шемякою Антоновичемъ. Полюбится сатана лучше яснаго сокола; вечоръ Макаръ гряды копалъ, нынѣ Макаръ въ воеводы попалъ! Коси малину, руби смородину! Жилъ прежде, такъ сталъ поживать нынѣ; готовый столъ, готовый домъ, а челобитчиковъ, просителей, на крыльцѣ широкомъ, что локтемъ не протолкаешься! Шемяка возмечталъ о себѣ, и сталъ, какъ овсяная каша, самъ себя хвалить и воспѣвать: Я-де стараго лѣсу кочерга, меня не проведешь, и на кривыхъ оглобляхъ не объѣдешь; у меня чѣмъ аукнешь, тѣмъ и откликнется; судить да рядить я и самъ собаку съѣлъ; я и малаго грѣха, и малой неправды не потерплю ни въ комъ; отъ малой искры да Москва загорѣлась; вола и рѣзникъ обухомъ бьетъ, убей муху! А у меня, кто виноватъ, такъ виноватъ, хоть себѣ невидимка, хоть семи пядей во лбу будь!

А какъ бы сватъ мой Демьянъ его подслушалъ, такъ и подумалъ бы про себя: Ври на обѣдъ, да оставляй и на ужинъ! Охъ-ты гой еси добрый молодецъ, судія правдивый, Шемяка Антоновичъ, сынъ отца своего родного-кровнаго Антона Поликарповича. Ни ухо ты ни рыло, ни съ рожи, ни съ кожи, а судишь такъ, что ни мыто, ни катано, ни брито, ни стрижено; у тебя умъ за разумъ заходитъ, знать, черезчуръ

перевалилъ; а гдѣ тонко, тамъ, того и гляди, порвется! И сатана въ славѣ, да не за добрыя дѣла; а иная слава хуже поношенія. Ты богословъ, да не однословъ; мягко стелешь, да жестко спать; скажешь вдоль, а сдѣлаешь поперекъ; запряжешь и прямо, да поѣдешь криво!

Все это подумалъ бы онъ про себя, а сказать, не скажетъ ни слова. Кто Шемяку посадилъ въ воеводы, тотъ и отвѣчаетъ. Солдатъ солдата подъ бокъ толкаетъ: землякъ! куда ты идешь, гляди-тка, тутъ головы не вынесешь безъ свища!—Про то знаетъ тотъ, кто посылаетъ, проворчалъ старый служивый, не ты за свою голову отвѣчаешь; а ты знай иди, да съ ноги не сбивайся! Такъ и я; не наше дѣло, попово, не нашего попа, чужого. Моя изба съ краю, я ничего не знаю!

Пришелъ мѣщанинъ къ воеводѣ Шемякѣ Антоновичу просить на сосѣда. Сосѣдъ у него былъ убогій, по имени Харитонъ, отставной цѣловальникъ. Онъ бы поѣхалъ и на топорищѣ по дрова, да чай не довезетъ и до угла — такъ онъ и пришелъ просить у зажиточнаго хозяина кобылу. У меня, говоритъ, и дровни стоятъ наготовѣ, и кнутишко припасенъ, и топоръ за поясомъ, такъ за малымъ дѣло стало: лошадонки нѣтъ! не откажи, батюшка!

Такъ и кума моя, Соломонида, что на Волгѣ жила, не тѣмъ будь помянута, бывало о масленой пошлетъ внучку къ золовкѣ: приказала-де бабушка кланяться, собирается блины печь, такъ ужъ наставила водицы, натолкала и соли, припасла и сковородникъ, а велѣла просить: сковороды нѣтъ ли, мучицы гречневой, молока да масляца!

Ссудилъ сосѣдъ Харитона, отставного цѣловальника, кобылой, пришелъ тотъ къ нему и за хомутомъ; а какъ хомута лишняго у этого не случилось, такъ онъ ему и не далъ. Тогда убогій Харитонъ нашъ не

призадумался: онъ привязалъ кобылу просто къ дровнямъ за хвостъ и поѣхалъ по дрова: когда же, наваливъ возъ большой, возвращался изъ лѣсу домой, такъ былъ подъ хмелькомъ; онъ ворота отперъ, подворотню выставить позабылъ, а самъ кобылу стегнулъ плетью. Она бросилась черезъ подворотню и вырвала себѣ хвостъ весь, а дровни остались за воротами. Харитонъ приводитъ кобылу безъ хвоста, а хозяинъ, не принявъ ея, пошелъ на него просить.

Воевода Шемяка повелѣлъ кобылу ту привести и освидѣтельствовать, дѣйствительно ли она безъ хвоста! А когда сіе оказалось справедливымъ, и присяжные ярыги и думные грамотѣи въ очкахъ хвоста искали, искали, и не нашли, тогда воевода Шемяка судъ учинилъ и расправу и рѣшеніе такое: Какъ оный убогій мужикъ, Харитонъ, отставной цѣловальникъ, взялъ кобылу съ хвостомъ, то и повиненъ возвратить таковую жъ; почему и взять ему оную къ себѣ, и держать, доколѣ у нея не вырастетъ хвостъ.

— Ну, вотъ и съ плечъ долой,—сказалъ Шемяка про себя;—сдѣлаешь дѣло и душѣ-то легче! Премудрость быть воеводой! Вѣдь не боги же и горшки обжигаютъ!

Удалось смѣлому присѣсть нагишомъ, да ежа раздавить,—подумалъ сватъ Демьянъ;—первый блинъ да комомъ! Хоть за то спасибо, что не призадумается; отзвонилъ, да и съ колокольни! Чуть ли нашъ воевода не съ Литвы; а туда, говорятъ, на всю шляхту одинъ комаръ мозгу принесъ, да и тотъ, никакъ, дѣвки порасхватали, а на нашего брата не досталось, что шиломъ патоки захватить! Нашему воеводѣ хоть зубы дергай; человѣкъ другому услужилъ, а самъ виноватъ остался; бьютъ и Ѳому за Еремину вину! Ни думано, ни гадано, накликалъ на свою шею бѣду — не стучи, громомъ убьетъ. Кабы зналъ, да вѣдалъ, гдѣ упасть, тамъ бы соломы подостлалъ — не давать бы кобылы,

не ходить бы просить. Мое дѣло сторона; а я бы воеводѣ Шемякѣ сказалъ сказку, какъ слонъ-воевода разрѣшилъ волкамъ взять съ овецъ по шкурѣ съ сестры, а больше не велѣлъ ихъ трогать ни волоскомъ! Такой колоколъ по мнѣ хоть разбей объ уголъ! Поглядимъ, что дальше будетъ.

Приходитъ еще проситель, по дѣлу уголовному Сынъ везъ отца, больного и слѣпого, на салазкахъ, въ баню, и спустился съ нимъ, подлѣ мосту, на ледъ. Тогда тотъ же Харитонъ, отставной цѣловальникъ, у котораго и было ремесло, да хмелемъ поросло, шелъ пьяный черезъ мостъ, упалъ съ мосту, и убилъ до смерти больного старца, котораго сынъ везъ на салазкахъ въ баню. Харитонъ, подпавъ суду по дѣлу уголовному, немного струсилъ; а когда его позвалъ Шемяка судія, то онъ, ставъ позади просителя, показывалъ судіи тяжелую, тугонабитую кожаную кису, будто бы сулитъ ему великое множество денегъ. Шемяка Антоновичъ, судія и воевода, приказалъ и судъ учинить изволилъ такой: чтобы Харитону цѣловальнику стать подъ мостомъ, а вышереченному сыну убіеннаго прыгать на него съ мосту, и убить его до смерти. Долгъ платежомъ красенъ. Покойняку же отдать послѣднюю честь, и пристроить его къ мѣсту, т. е. отвести ему земли косую сажень, выкопать землянку, снять съ него мѣрку, да сшить на него деревянный тулупъ, и дать знакъ отличія, крестъ во весь ростъ. — Сватъ мой Демьянъ, услышавъ все это, замолчалъ, какъ воды въ ротъ набралъ, и рукой махнулъ. Теперь, говоритъ, дѣло въ шапкѣ, и концы въ воду; хоть святыхъ вонъ понеси! До поры, до времени, былъ Шемяка и простъ, да лихоимства не зналъ; а въ знать и силу попалъ, такъ и пустился во всякія художества: по бородѣ да по словамъ Авраамъ, а по дѣламъ — Хамъ; изъ рѣчей своихъ, какъ закройщикъ

модный, шьетъ, кроитъ, да выгадываетъ, по заказу, по деньгамъ, по людямъ, по лицу — что дальше, то лучше; счастливый путь!

Наконецъ приходитъ еще челобитчикъ. Тотъ же пьяный дуракъ Харитонъ выпросился къ мужику въ избу погрѣться. Мужикъ его пустилъ, накормилъ, и на полати спать положилъ. Харитонъ оборвался съ полатей, упалъ въ люльку и убилъ ребенка до смерти. Отецъ привелъ Харитона къ судьѣ, и, будучи крайне огорченъ потерею дитяти своего, просилъ учинить судъ и правду. Береза не угроза, гдѣ стоитъ, тамъ и шумитъ! Харитонъ цѣловальникъ зналъ уже дорогу къ правосудію: сухая ложка ротъ деретъ, а за свой грошъ вездѣ хорошъ. Онъ опять показалъ Шемякѣ, изъ-за челобитчика, туго набитую кожаную мошну, и дѣло пошло на ладъ.

Ахъ ты окаянный Шемяка Антоновичъ! Судья и воевода и блюститель правды русской, типунъ тебѣ на языкъ! Лукавый самъ не соберется разсудить безпристрастнѣе и замысловатѣе твоего; — а кто хочетъ знать да вѣдать послѣдній приговоръ судіи Шемяки, конецъ и дѣлу вѣнецъ, тотъ купи, за три гривны, повѣствованіе о судѣ Шемякиномъ, съ изящными изображеніями, не то суздальскаго, не то владимірскаго художника, начинающееся словами: «*Въ нѣкоторыхъ Палестинахъ два мужа живаше* — и читай — у меня и языкъ не поворится пересказывать; а я, по просьбѣ свата, замѣчу только мимоходомъ, что изображеніе суда Шемякина, церемоніала шествія мышей, погребающихъ кота, и симъ подобныя, неосновательно называются обыкновенно лубочными: это, говоритъ Демьянъ, показываетъ невѣжество, и унизительно для суздальцевъ; изображенія сіи искусно вырѣзываются на ольховыхъ доскахъ, а не на мягкомъ и волокнистомъ лубкѣ. Но сватъ меня заговорилъ, и я отбрелъ

отъ кола; началъ, такъ надобно кончить. Кто въ кони пошелъ, тотъ и воду вози; не дочитавъ сказки, не кидай указки!

Итакъ, по благополучномъ рѣшеніи и окончаніи трехъ уголовныхъ дѣлъ сихъ, Шемяка послалъ повѣреннаго своего требовать отъ Харитона платы, которую онъ ему во время суда сулилъ и показывалъ въ кисѣ кожаной. А Харитонъ цѣловальникъ отвѣчалъ: это не киса у меня, а праща; лежали въ ней не рубли, а камни; а еслибы судія Шемяка меня осудилъ, такъ я бы ему лобъ раскроилъ! Тогда Шемяка Антоновичъ, судія и воевода, перекрестясь, сказалъ: слава Богу, что я не его осудилъ: дуракъ стрѣляетъ, Богъ пули носитъ; онъ бы камень бросилъ и, чего добраго, зашибъ бы меня! Потомъ, разсудивъ, что ему пора отдохнуть и успокоиться послѣ тяжкихъ трудовъ и хлопотъ, на службѣ понесенныхъ, разстроившихъ здоровье его, такъ что у него и подлинно уже ногти распухли, на зубахъ мозоли сѣли, и волоса моль съѣла,—поѣхалъ, для поправленія здоровья своего, на службѣ утраченнаго, за море, на теплыя воды. А Харитонъ, цѣловальникъ отставной, какъ пошелъ къ челобитчикамъ требовать по судейскому приговору исполненія, такъ и взялъ, на мировую, отвяжись-де только, съ одного козу дойную, съ другого муки четверти двѣ, а съ третьяго, никакъ, тулупъ овчинный, да корову — всякаго жита по лопатѣ, да и домой; а съ міру по ниткѣ, голому рубаха, со всѣхъ по крохи, голодному пироги! Всякъ своимъ умомъ живетъ, говоритъ Харитонъ; старайся всякъ про себя, а Господь про всѣхъ; хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ; не ударишь въ дудку, не налетитъ и перепелъ; зимой безъ шубы не стыдно, а холодно, а въ шубѣ безъ хлѣба и тепло, да голодно!

Вотъ вамъ и всѣмъ сестрамъ по серьгамъ, и вся-

кому старцу по ставцу! Шемяка родилъ, жену удивилъ; хоть рыло въ крови да наша взяла; Господь милостивъ, царь не всевидящъ—бумага терпитъ, перо пишетъ, а напишешь перомъ, не вырубишь топоромъ! Нашего воеводу голыми руками не достанешь; ему бы только рыло свиное, такъ у него бы и сморчокъ подъ землей не схоронился!

Чтожъ сказать намъ про Шемяку Антоновича, какъ его чествовать, чѣмъ его потчевать? Послушаемъ еще разъ, на прощанье, свата Демьяна, да и пойдемъ. Онъ говоритъ: Удалося нашему теляти да волка поймати! Простота хуже воровства, въ дуракѣ и царь не воленъ; по мнѣ ужъ лучше пей, да дѣло разумѣй: а кто начнетъ за здравіе, а сведетъ на упокой, кто и плутъ и глупъ, тотъ — на вѣдьму юбка, на сатану—тулупъ!

Кланяйся, сватъ Демьянъ, кумѣ Соломонидѣ, разскажи ей быль нашу о судѣ Шемякиномъ, такъ она тебѣ, горе мыкаючи, въ волю наплачется; скажетъ: Нынѣ на свѣтѣ, батюшка, все такъ; бѣда на бѣдѣ, бѣдой погоняетъ, бѣду родитъ, бѣдою сгубитъ, бѣдой поминаетъ! За грѣхи тяжкіе, Господь насъ караетъ; нынѣ малый хлѣбъ ѣстъ, а крестнаго знаменія сотворити не знаетъ—а большой, правою крестится, а лѣвую въ чужіе карманы запускаетъ! А мы съ тобою, сватъ, соловья баснями не кормятъ, гдѣ сошлись, тамъ и пиръ; новорожденнымъ на радость, усопшимъ на миръ—поѣдимъ, попьемъ, да и домой пойдемъ!

СКАЗКА ТРЕТЬЯ

о Рогволодѣ и Могучанѣ царевичахъ, равно и о третьемъ единоутробномъ ихъ братѣ, о славныхъ подвигахъ и дѣяніяхъ ихъ, и о новомъ княжествѣ и княженіи.

КАТЕНЬКѢ МОІЕРЪ и МАШЕНЬКѢ ЗОНТАГЪ.

Здравствуйте, тѣни милыя! Здравствуйте, родныя, отечественныя видѣнія! Вы одногнѣздники со мною, земляки мнѣ, по Богу и по Днѣпру, по Дону и по Невѣ—но вы язычники и поклоняетесь идоламъ росту исполинскаго и кумирамъ искаженнымъ, по желанію и самовольной прихоти созидаемымъ! Они являются и пугаютъ васъ, жалуютъ и виры налагаютъ, мучатъ безчеловѣчно, братаются и снова кары насылаютъ страшныя; вы заговариваете ихъ и умаливаете, то завѣтомъ, то обѣтомъ откупаетесь—волхвы и шаманы и кудесники сохраняютъ связи ваши съ вѣдьмами, съ домовыми и съ русалками и съ богами высшими—сводятъ съ ними и разводятъ васъ;—мы дивимся вамъ и богатырскимъ вашимъ подвигамъ; наши дни текутъ однообразные — чародѣйства и въ завѣтѣ нѣтъ; вѣки тьмой непроницаемой налегли на житъ и бытіе ваше;

отголоски слабые въ преданіяхъ изустныхъ отзываются и замираютъ — станьте ещежды, тѣни прадѣдовъ, станьте въ доспѣхахъ своихъ ратныхъ, богатырскихъ, и протеките надо мною медленно: я вдохновенъ и увижу васъ, увижу невидимокъ; я знаю грамотѣ россійской скорописной и предамъ память вашу потомству, и избавлю васъ отъ забвенія!

И славолюбивые предстали и протекли чредою медленной, благообразной!

Начинается сказка чудная: о Рогволодѣ и Могучанѣ царевичахъ, о славныхъ подвигахъ и дѣяніяхъ ихъ и о новомъ княжествѣ; излагаются въ ней доблести и прозвища помянутыхъ рыцарей-близнецовъ и третьяго единоутробнаго ихъ брата. А кто читать станетъ, просимъ не прогнѣваться: у меня сказочникъ парень незадорный; ѣстъ пряники писаные, а говоритъ рѣчи безграмотныя; быль-небылицъ стариннаго вѣка наслушавшись, мелетъ, не такъ какъ слово къ слову пригоняютъ, на безменъ прикидываютъ, на аршинъ примѣриваютъ — упаси Богъ! За этакимъ письмомъ промаявшись, когда-нибудь безъ покаянія умрешь!—Нѣтъ, онъ мелетъ спроста, съ плеча!

Сказка написана во здравіе и утѣшеніе Катеньки Моіеръ и Машеньки Зонтагъ; писатель кланяется и бьетъ челомъ; маленькой рыбкѣ малое плаваніе, а выростете велики, читайте были высокоумныя, да меня со сватомъ Демьяномъ лихомъ не поминайте. Сказки и преданія предтечи лѣтописей.

Сказка отъ начала начинается, до конца читается, въ срединѣ не перебивается. Сказка моя такъ сложена, что добрымъ дѣточкамъ въ руки дается, а отъ недобрыхъ бѣгаетъ, какъ жеребенокъ молодой лягается, сѣрой кошкой перекинется, невидимкой скроется.

Уставьте же, дѣти, свои ушенки, какъ молодые зайченки, сидите и слушайте!

За полями, за лѣсами, за морями дальними, отъ нашего отечества въ разстояніи такомъ неизмѣримомъ, что глазомъ не окинуть и пядью не перемѣрить, властвовалъ князь—не скажу и имени его, для того, что онъ былъ князь недобрый, лихой, брюзгливый, неприступный и завистливый. Онъ по жеребью сыскалъ и супругу по себѣ; придворные, шутя, звали его *Сенькою*, а супругу его, которая, скрывая низкій, уродливый ростъ свой — ибо она была не выше русскаго букваря, только потолще—всегда носила пресмѣшную бобровую шапку, называли запросто *Шапкою*; отъ чего впослѣдствіи и произошла пословица: *по Сенькѣ шапка*. Жили они жили, князь Сенька со княгинею Шапкою, соскучились безъ дѣтища и заслали вѣдьму чалоглазую, за море за Варяжское, въ тридесятое государство, во страну невѣдомую, гдѣ у царя тройни родились красоты и доблести рѣдкой, такъ что слухами о себѣ и славою преисполнили вселенную. Украла чародѣйка злая мальчиковъ трехъ у несчастнаго невѣдомаго царя варяжскаго, понесла ночью темною по лѣсамъ и по горамъ и уронила, потеряла одного малютку, а донесла только двоихъ и вручила ихъ повелителямъ страны своей. Они выдали близнецовъ за своихъ: не было родинъ, вдругъ двое крестинъ! Малютки-близнецы, милые, пригожіе, ни въ отца ни въ мать, ни въ семейную стать; ну такъ, что дивились имъ повивальная бабка, гости именитые, придворные и весь народъ. Они росли не по днямъ, а по часамъ: привлекали и плѣняли неимовѣрною миловидностію и юнымъ мужествомъ своимъ всѣхъ, ихъ окружавшихъ. Князю Сенькѣ съ княгинею Шапкою, ложнымъ родителямъ ихъ, стало теперь это завидно, и начали они придумывать способъ, какъ бы бѣдныхъ пріемышей своихъ извести

или съ рукъ сжить. Не думай, не гадай, а испортить отдай, сказала мать —и стали дѣтей встрѣчному и поперечному показывать, и заставляли хвалить ихъ и удивляться красотѣ и здравію ихъ; ибо въ тогдашнее необразованное время, а этому уже очень давно, вѣрили еще тому, что, если недобрымъ глазомъ кто на кого взглянетъ, или нечистымъ языкомъ похвалитъ, такъ испортитъ или сглазитъ. Но бодливой коровѣ Богъ рогъ не даетъ; съ иного сорвалъ бы и голову, такъ не ухватишь и волоса; норовишь сосѣду въ бровь, а попадешь себѣ же въ глазъ! Малютки росли да потягивались, живы, здоровы, а у князя на лбу расцвѣла шишка съ крымскій огурецъ, а княгиня, будто бы на полъ-локтя въ землю ушла, сдѣлалась еще ниже прежняго! Праведный гнѣвъ овладѣлъ теперь княземъ; онъ созвалъ мудрый совѣтъ свой, людей великихъ и опытныхъ, и приказалъ имъ, скоро на скоро, со стула не вставая и глазъ съ мѣста не сводя, придумать-пригадать и на дѣлѣ указать, какъ извести князьковъ неодолѣваемыхъ. Между судьями княжескими, блюстителями правды, былъ нѣкто *Бѣлоусъ переметная сума*, который всегда и во всемъ князю потакалъ, много исполнялъ дурныхъ его приказаній, и славился при томъ пронырствомъ своимъ, смѣтливостію, узорчатымъ умомъ и тороватыми выдумками. Иной хомякъ не успѣлъ бы и напойку табаку ухватить, какъ онъ дѣло придумалъ, приладилъ, пригадалъ и шопотомъ князю пересказалъ; князь до того обрадовался этому, что послалъ всему совѣту своему по стакану сбитню, по муромской сайкѣ, и велѣлъ первому придворному скомороху и цимбалисту своему сыграть имъ по плясовой на брата. Кошкѣ смѣшки, а мышкѣ слезки; кто скачетъ, а кто и плачетъ!

На утро, ни свѣтъ ни заря, Бѣлоусъ переметная сума встаетъ раньше тетерева, садится въ ладью

рыбацкую, беретъ съ собою бочку дубовую чистой отдѣлки, съ мѣдными литыми обручами; закупорена, засмолена и закрашена кругомъ, пазамъ и слѣду нѣтъ, только Богъ одинъ вѣдаетъ-знаетъ, что злодѣи думаютъ, что гадаютъ!—Ударили гребцы-молодцы, волною взлелѣянные, въ весла, выгребли на вѣтеръ, поставили парусъ волнистый, бѣлокрылый, и полетѣла ладья, не поспѣетъ волна слѣдъ заливать!

Черезъ часъ мѣста Бѣлоусъ переметная сума воротился и доложилъ князю, что дѣло сдѣлано, и травой поросло. Князь его произвелъ въ первые придворные орѣходавы свои, приказалъ носить кафтанъ на изнанку, и дозволилъ походя спотыкаться на каждомъ шагу—знаки отличнаго благоволенія! Что городъ, то норовъ; что деревня, то обычай; что земля, то проказы!

Но когда Бѣлоусъ переметная сума возвращался съ моря, ладья его шла легко, подымалась высоко и летала по волнамъ; тяжелой бочки съ мѣдною оковкою не было; онъ скинулъ ее въ море, пустилъ во глубину неизмѣримую—если Ивана Великаго тремя саженями наставить, и макушка не выкажется изъ воды, мѣрнымъ аршиномъ въ високосный годъ не перемѣрять; лучшему водолазу, безъ жернова на шеѣ, дна не достать! Сохрани насъ Богъ и помилуй, дѣтки; вздумаешь, такъ голова кружится! Ты, Маша, на Черномъ морѣ живучи, видывала, какъ китъ-рыба ныряетъ, по безмѣрной и необъятной средѣ свѣтлой гуляетъ; а ты, Катя, по Юрьевской мостовой похаживая, до поры, до времени, въ долгъ повѣрь!

Но догадались ли вы, что было въ бочкѣ этой? Близнецы княжескіе, коимъ завидовали самозванцы отецъ и мать, ибо боялись, чтобы народъ ихъ не полюбилъ болѣе родителей; у кого совѣсть не чиста, тому и тѣнь кочерги висѣлица. Два брата невинныхъ жертва коварнаго властолюбія и зависти; одинъ назы-

вался Рогволодъ сизокрылый орелъ, другой Могучанъ богатырская поступь,—имена, данныя имъ крестнымъ отцомъ, волхвомъ, знаменитымъ Людохраномъ, по прозванію громовой отводъ, прорицали будущую славу ихъ, величіе и могущество; но теперь — погибло все! Бочка тяжелая семь лѣтъ ко дну идетъ, дна не достанетъ; Могучана царевича поступь богатырская скована, Рогволода царевича крылья соколиныя не выносятъ! Лѣниваго дошлешься, сонливаго добудишься, а мертваго—никогда! Возьмите песку горсть, да посѣйте по твердому камню—когда песокъ тотъ взойдетъ, опушкой зеленой порастетъ, тогда воротятся царевичи изъ невольнаго похода своего! Недобрый князь, недобрый Бѣлоусъ сума переметная—Богъ вамъ судья!

Итакъ, близнецы наши семь лѣтъ уже путешествуютъ среди неба и земли, отрѣшенные отъ свѣта, отъ людей, отъ всего живого, отъ помощи и пособія, одни, заключенные, носимые буйными волнами по безднамъ океана! Далъ Богъ ротикъ, дастъ и кусочекъ; лежи и жди, сказалъ Рогволодъ нетерпѣливому Могучану, и оба улеглись снова. Скоро сказка сказуется, не скоро дѣло дѣлается; семь лѣтъ не семь часовъ; а посидите-ка, дѣтки, и семь часовъ на одномъ мѣстѣ, такъ по ногамъ мурашки заползаютъ!

Семь лѣтъ миновались. Настала роковая ночь. Крестный отецъ царевичей, Людохранъ, громовой отводъ, приказалъ закладывать парадную карету свою; а карета у него была безъ оконъ, безъ дверей, безъ кровли, безъ помосту, ни колеса, ни полоза, ни дышла, ни оглобли—закладывается попросту, безъ затѣй, ѣздитъ по землѣ и по морю, со звѣзды на звѣзду перескакиваетъ, сама себѣ пути новые пролагаетъ.

Лишь провѣдала о томъ вѣдьма чалоглазая Карга Ѳоминична, по прозванію рѣдечная тёрка, для того, что у нея, въ молодости, черти на рожѣ въ свайку

играли, отъ чего у нея слѣды рябые и до старости еще не изгладились,—лишь провѣдала она о намѣреніи непріятеля своего закоснѣлаго, Людохрана, сѣла тотчасъ въ возокъ свой. А возокъ у нея былъ буднишній,—черепокъ битый, а праздничный,—плошка; подъ черепкомъ тряпица, въ черепкѣ Карга птица, чернымъ лоскутомъ завѣшена, четыре филина въ упряжкѣ, два въ корню, два подъ выносомъ — поросенокъ за фалетора[1]), сычъ за кучера, сова на запяткахъ, змѣи летучіе—скороходы и вожатые.

Полетѣли молодцы, близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли — Людохранъ, громовой отводъ, выше лѣсу стоячаго, ниже облака ходячаго — вѣдьма чалоглазая, Карга Ѳоминична, по прозванію рѣдечная тёрка, ниже травы, тише воды — съѣхались надъ моремъ-океаномъ, среди неба и земли; сталъ Людохранъ доставать со дна морского царевичей, налегла ему на руку вѣдьма чалоглазая, зубами веревку перегрызла. Замахнулся Людохранъ громовымъ отводомъ своимъ, и пословица: часомъ изъ дубины выпалитъ, — сбылась. Вѣдьма полетѣла въ море, застонала, берега вторили реву ея, утесы каменные содрогнулись, рыба спасалась на глубину, филины замахали крыльями своими отъ ужаса, и Людохранъ, оглушенный, самъ палъ безъ чувствъ.

И тотчасъ сестра родная Карги Ѳоминичны, почуявъ голосъ знакомый, пустилась на помощь. Баба-Яга, костяная нога, въ ступѣ ѣдетъ, пестомъ упираетъ, помеломъ слѣдъ заметаетъ. Вѣдьма чалоглазая сочла ее, впотьмахъ, за непріятеля своего Людохрана и стала на нее насылать огненныхъ змѣй своихъ, стала сама полетомъ совинымъ налетывать. Баба-яга пестомъ и помеломъ обороняется, угорѣлой кошкой метается, — и началась битва ужаснѣйшая, какой по-

---

[1]) Прошу извинить: моему сказочнику *Форрейтера* и не выговорить!

добной не было съ тѣхъ поръ, какъ свѣтъ на трехъ китахъ стоитъ, въ сравненіи съ которою морское сраженіе подъ Навариномъ было одною только пустою ошибкою!

Проказитъ бѣсъ на свою голову; сатана за все берется, да и сатанѣ не все удается! Вѣтры неслыханные взвыли со всѣхъ концовъ вселенной, налегли на море, море застонало, пѣна воздвиглась до небесъ, молнія камни подводные крошила вдребезги, дно морское съ чудовищами своими, отъ роду вѣковъ свѣту Божьяго невидившими, обнажилось; и близнецы царскіе, въ дубовой бочкѣ своей, съ мѣдными обручами, исторженные изъ вертеповъ подводныхъ, летали по верхамъ валовъ. Это было въ полночь; солнце взошло и освѣтило тихое, какъ зеркало, море и спокойно на берегу лежащую бочку.

Бочка эта теперь походитъ на яйцо орлицы: ни слуху, ни духу, заковано, законопачено, пазамъ и слѣду нѣтъ — а придетъ время, тряхнетъ крыльями орленокъ молодой, и скорлупа раздастся!

— Благослови, братъ любезный, потянуться,—сказалъ Могучанъ Рогволоду: — кости слежались, какъ сельди голландскія, спину свело дугой ямщицкой, руки, ноги сплелись валдайскимъ барашкомъ!—Полно сидѣть на корточкахъ,—сказалъ Рогволодъ:—до Бога высоко, до царя далеко—намъ просить о помощи некого. Потянись, братъ любезный, въ одинъ конецъ, я потянусь въ другой!

Потянулись братья-близнецы-богатыри, раздалась бочка дубовая съ обручами мѣдными, полетѣли осколки за тридевять земель, въ тридесятое государство. Встали молодцы, оправились, отряхнулись, какъ орлики молодые изъ гнѣздышка, оглянулись на всѣ четыре стороны, порадовались свѣту бѣлому, и пошли промышлять себѣ жительства, яства и питія. Познали себя

на островѣ чудесномъ, гдѣ всякихъ кореньевъ питательныхъ и вкусныхъ, фруктовъ, овощей и винограду хоть лопатой загребай; пастила, въ латочкахъ, на деревьяхъ растетъ, медъ липецкій густымъ потокомъ клубится, хрусталь сахарный берега его устилаетъ, квасъ малиновый рѣкой судоходной протекаетъ, калачи горячіе московскіе паромъ своимъ воздухъ согрѣваютъ, мороженое, тридцати пяти сортовъ, на подносикахъ золотыхъ дѣвушки русокосыя разносятъ.

«Не хочу и рая, сказалъ Могучанъ, буду здѣсь жить и умирать.» Накинулъ кольчугу чеканную, шеломъ съ летучимъ зміемъ и гривою косматою, поднялъ щитъ, какъ солнце ясный, и мечъ-кладенецъ. Оглянулся на Рогволода—на немъ латы изъ-подъ молотка; шеломъ заморскій выведенъ напередъ львинымъ рыломъ, глаза вставлены алмазные, яхонтами осыпаны, въ рукѣ щитъ тульской работы, съ прописью не славянскою; копье булатное хвостомъ касаточкинымъ выведено, кистями шелковыми разукрашено. Сердце у нихъ такъ стучало, что латы серебряныя звенѣли!

— Еще ли хочешь здѣсь жить и умирать?—спросилъ Рогволодъ Могучана. — Нѣтъ, братъ любезный, стыдно, семь лѣтъ проспавши, добраго ничего не сдѣлавши, на восьмой нѣжиться-лелѣяться, въ меду, какъ въ маслѣ сыръ, кататься; пойдемъ, куда стопы понесутъ богатырскія, поищемъ приключенія, похожденія и судьбы. Мы не на щитахъ возлелѣяны, не подъ шеломами повиты, не концомъ копія воскормлены, а стоимъ и такихъ. Пойдемъ, покажемъ рыси своей. — Разошлись парни, поклонились въ поясъ братъ брату, положили по поклону отцу и матери, родителямъ невѣдомымъ, помолились и пошли. — Слушай ты богатырскаго посвиста моего, я буду слушать твоего. Будемъ стоять горой братъ за брата. Прощай.

Разошлись добрые молодцы въ разныя сторо-

нушки—какъ же намъ быть? на-двое не разорваться, а покинуть одного жаль! Богъ вѣсть, когда съ другимъ опять свидишься!

Могучанъ богатырская поступь, пяти шаговъ не прошелъ, жеребецъ удалой его нагоняетъ; ржетъ, паръ изъ ноздрей; бьетъ копытами мать сыру землю; сѣдло кабардинское, подъ попоной малиновой, подпругами золотыми пристегнуто; уздечка сафьяновая, вязаная, бляшками серебряными съ чеканью вороненой разукрашена. Улыбнулся Могучанъ счастью своему сиротскому, ухватился лѣвою рукою за гриву, занесъ ногу въ стремя—видитъ, батракъ, въ бронѣ кожаной, въ шишакѣ, съ предлиннымъ перомъ индюшечьимъ, огромный мечъ при бедрѣ, на широкомъ черномъ ремнѣ съ пряжкою оловянною, усы четверти въ полторы—подаетъ ему стремя.—Ты кто таковъ?—Тришка, по прозванію Боровикъ, вѣрный слуга твой. — Мнѣ дядьки не надобно, — сказалъ Могучанъ: — меня выносило въ утробѣ своей море синее, валъ гремучій пѣстовалъ на лонѣ своемъ, на рукахъ носилъ вѣтеръ ревучій, а гроза и буря убаюкивали! Собирайся, Боровикъ, въ походъ идти, расклянийся на всѣ четыре стороны, ступай, ищи самъ себѣ приключеній, похожденій и судьбы!—Самъ взвился и сѣлъ. Конь захрапѣлъ подъ сѣдокомъ. — Терпи, казакъ, атаманъ будешь, — сказалъ Могучанъ, ударилъ коня пятами по крутымъ бедрамъ, свистнулъ богатырскимъ посвистомъ, опустилъ забрало рѣшетчатое и поскакалъ, только пыль столбомъ. Такъ онъ скакалъ, давъ волю коню своему, аргамаку неутомимому, отъ полночи на полдень, три дня и три ночи. Видѣлъ во снѣ Баянъ соловей, пѣснопѣвецъ затѣйливый, какъ скакалъ Могучанъ царевичъ, богатырская поступь, и сложилъ именемъ его пѣсню:

Пѣснь о Могучанѣ царевичѣ, богатырской поступи, и о летучемъ борзомъ конѣ, аргамакѣ неутомимомъ.

Лишь смеркается день, и привѣтливо тѣнь
И вблизи и вдали устлалась на земли —
Я взвился на конѣ, и помчалъ онъ меня,
Какъ легокъ вѣтерокъ, мой соколъ черезъ долъ!

И потокъ поперекъ ли, ручей ли съ полей,
Безъ разбору я мчусь, безъ оглядки несусь —
Чуетъ конь, гдѣ огонь, гдѣ вода, гдѣ бѣда,
Выплывалъ изъ воды, изъ огня, изъ бѣды!

Я дороги не зналъ — я скакалъ, въ перевалъ,
Отъ зари до зари — ночь и день черезъ пень.
И о плиты копыты стучатъ и звенятъ,
По полямъ, по кустамъ, черезъ тернъ, черезъ дерзъ!

А потокъ гдѣ широкъ, гдѣ рѣка глубока,
Я сѣдло покидалъ, я за гриву хваталъ
Жеребца-удальца — на тотъ край выплывай,
Выноси, удалой, ѣздока ты съ собой!

«Стой!» заревѣлъ ужасный голосъ — и Могучанъ узналъ того же злодѣя, у котораго нѣкогда Вадимъ отбилъ княжну кіевскую. Тотъ же ростъ огромный, та же стать исполинская—кожа медвѣжья за спиною, дубина стопудовая на плечахъ. Онъ счелъ, видно, Могучана за Вадима, и хотѣлъ отмстить обиду; рука отрубленная прикована была къ плечу желѣзнымъ ободомъ. Могучанъ не разсудилъ ему рубить руки, чтобы не растревожить старой раны, а принялъ плечомъ богатырскимъ ударъ дубины, и мечъ-кладенецъ запустилъ исполину въ пѣнящійся зѣвъ, по самую рукоять. Столѣтніе дубы выворачивалъ съ одного маху палицей своей, валялъ по сотнѣ конныхъ и пѣшихъ витязей — а Могучану царевичу и синяка не означилъ на плечѣ богатырскомъ. Вотъ какъ наши поправляются! Знать, не на того наскочилъ!

Прошло опять дней и ночей нѣсколько, ѣдетъ царевичъ нашъ шагомъ, потупилъ взоры передъ себя, досадуетъ, что некому развеселить богатырской души его, скучаетъ безъ похожденья. Вдругъ видитъ, стоитъ надъ дорогой мельница — крылья сами ходятъ, мѣшки таскаютъ, сами на жерновъ высыпаютъ; мѣшки изъ рядна небѣленаго, а рядно парчевое; зерна пшеничныя золотыя, ржаныя серебряныя, сыплется мука жемчужная, сама на выборъ по ниткамъ нижется, по пасмамъ раскладывается, а никого не видать. Могучанъ, возвыся голосъ молодецкій, сталъ призывать хозяина. Трынка-волынка-гудокъ и супруга его, Прялка-моталка-валекъ, оба отозвались: Трынка-волынка-гудокъ сидитъ на семи куляхъ въ углу и куетъ золотыя колечки, а Прялка-моталка-валекъ прядетъ шелкъ да нижетъ жемчужныя ожерелья. — Продайте мнѣ нитку жемчугу, люди добрые! сказалъ Могучанъ. — Жемчуги наши не продажные, не даровые, а завѣтные, — отозвалась Прялка-моталка. — А что завѣту на нихъ? спросилъ царевичъ. — На каждое мое ожерелье мужъ мой куетъ по колечку обручальному, а кольцо обручальное опять завѣтное. На него для добраго молодца, каковъ ты, три завѣта. Браться не браться, любо и вольно; а возьмешься снять завѣты, да не сможешь, прошу не прогнѣваться: если роду ты не холопьяго, а княжескаго, будешь у насъ семь лѣтъ батракомъ служить. Не давъ слова, крѣпись, а давъ слово, держись. Первый завѣтъ, — показать силу и искусство тѣлесныя, найти замокъ пловучій, семибашенный, да освободить малиновку-заключенницу изъ-подъ плѣну безсрочнаго. Второй — показать силу и свойства душевныя, нравственныя, сдѣлать доброе дѣло и не похвалиться имъ, не искать, не ожидать и не просить награды. Третій — отличиться свойствами и качествами умственными, показать умъ да разумъ свой, загадать такую загадку-

самодѣльщину, чтобы Трынка-волынка-гудокъ и Прялка-моталка-валекъ надъ нею призадумались, и въ трои сутки не разгадали.

Пустился въ путь царевичъ искать замка пловучаго, семибашеннаго. Карга Ѳоминична, вѣдьма чалоглазая, по прозванію рѣдечная тёрка, тотчасъ дала знать объ этомъ брату своему, гремячему Змѣю Горинычу стоглавоту, чудовищу непобѣдимому — а тотъ и сталъ подсылать подчиненныхъ своихъ навстрѣчу царевичу, затруднять путь ему, съ дороги сманивать, чтобы не нашелъ онъ замка пловучаго, семибашеннаго. Сталъ лѣшій передъ нимъ мелкимъ бѣсомъ разсыпаться, кошкой черной въ сумеркахъ черезъ дорогу перекидываться — покинулъ царевичъ дорогу битую, пошелъ по полямъ, по кочкамъ, стороною, лѣсомъ — потеряла кошка царевича, пошла, сѣла на перекрестокъ выжидать другого прохожаго. Сталъ лѣшій филиномъ пучеглазымъ налетывать, крыльями совиными своими царевича обмахивать — навелъ онъ, среди темной ночи, яркій, какъ солнце, щитъ свой, на филина полуночнаго — испугался филинъ свѣта и убоялся и пропалъ.—Сталъ лѣшій съ травою, съ лѣсомъ ровняться, заслонять дорогу, ложнымъ посвистомъ богатырскимъ насвистывать, въ чащу глухую лѣса витязя заманивать.—Нѣтъ, — сказалъ Могучанъ: — не таковъ посвистъ молодецкій брата моего, орла сизокрылаго; у него, съ посвиста, у звѣря волосъ дыбомъ, а у дуба листья осыпаются! Сталъ лѣшій плакать жалостно малюткою, хохотомъ рѣзкимъ по лѣсу разсыпаться — но царевичъ идетъ да идетъ путемъ своимъ, куда глаза глядятъ, куда стопы несутъ богатырскія, за каждымъ шагомъ къ терему приближается. Видитъ, наконецъ, Змѣй летучій Горинычъ, чудовище стоглавое, непобѣдимое, что послы его съ пути сбить царевича не возмогли, а указали ему только дорогу ко

гнѣзду его и жилищу, къ терему семибашенному, въ открытый бой съ нимъ вступаетъ.—Стоитъ на озерѣ обширномъ теремъ семибашенный, пловучій, безъ приступу, безъ воротъ; выплываютъ изъ семи башенъ по семи кораблей, на каждомъ кораблѣ по семи батарей, на батареѣ по семи самострѣловъ, на каждомъ самострѣлѣ по семисотъ стрѣлъ. Осыпали стрѣлы царевича, такъ что свѣту Божьяго не взвидѣлъ: солнце затмилось тучами ихъ.

И не птица, а летаю,
Но крылами не машу—
Клевъ булатный; настигаю—
Какъ вопьюсь, такъ задрожу!
Я летаю, не виляю,
Не пою я, а свищу!

Но поступь богатырская пронесла его мимо гибели, и невредимый сталъ онъ у стѣнъ крутыхъ досчатыхъ. А стѣны крутыя досчатыя, съ верху до низу струнами унизаны громозвучными; что шагъ, то загудятъ, заиграютъ, близость непріятеля хозяину, Змѣю Горинычу, возвѣщаютъ. Шагнулъ царевичъ еще разъ богатырскою поступью своею, не коснулся пятою ограды зачарованной, ни вершины стѣны семибашенной, и попралъ стопами старшаго дѣтища сатаны, Змія Гориныча, огненнаго, стоглаваго, непобѣдимаго. Стоитъ среди озера свѣтлаго островокъ съ локотокъ; на томъ островѣ растетъ береза золотые сучья, на тѣхъ сучьяхъ сидятъ птицы райскія, поютъ пѣсни царскія; на самой на макушкѣ виситъ клѣтка воздушная изъ проволоки-невидимки;—а проволока та свита изъ однихъ чистыхъ поцѣлуевъ дѣвственныхъ, переплетена лучами взоровъ очей карихъ и голубыхъ—въ той клѣткѣ сидитъ-порхаетъ малиновка-узникъ, въ плѣну безсрочномъ горюетъ. Высвободилъ Могучанъ

царевичъ, не плѣняся пѣснями райскими, сладостными, усыпительными, малиновку-заключенницу изъ плѣна завѣтнаго, безсрочнаго; малиновка взвилася на крылышкахъ яхонтовыхъ, перекинулась красною дѣвою и исчезла въ синемъ морѣ неба вѣчнаго. Грянулъ громъ, и замокъ зачарованный, семибашенный, со всѣми причудами своими, исчезъ, какъ не бывалъ; и среди поля чистаго остался одинъ царевичъ съ думою своею.

Ты ли, суженая, поманила мнѣ,
Бытіемъ неземнымъ повѣяла?
Ты ль на ясную душу молодца,
Развеселую, разудалую,
Богатырскую, неповинную,
Ты ли грусть на нее накликала?
Ты ли, суженая, поманила мнѣ,
Бытіемъ неземнымъ повѣяла?

— Не ожидаетъ ли теперь Трынка-вольшка-гудокъ и супруга его, Прялка-моталка-валекъ, чтобы я воротился къ нимъ за жемчугомъ? Нѣтъ, не придастъ мнѣ жемчугъ и золото ни спокойствія, ни довольствія, и домогаться его, за дѣянія свои, есть дѣло недостойное Могутчана царевича! У меня въ груди проснулось сокровище: безкорыстное влеченіе дѣлать добро и сохранять чистую совѣсть. Она меня наградитъ по достоинству за дѣла и поступки мои, не вознесетъ пустословіемъ, не уронитъ оговоромъ и клеветою. — Но едва успѣлъ царевичъ предаться такимъ образомъ влеченію новыхъ, пробудившихся въ немъ чувствъ и мыслей, какъ симъ самымъ исполнилъ второй завѣтъ. Онъ позналъ себя передъ тою же мельницею: крылья сами ходятъ, сами мѣшки таскаютъ, мѣшки изъ рядна небѣленаго, а рядно парчевое; зерны пшеничныя золотыя, ржаныя серебряныя, сыплется мука жемчужная, сама на выборъ по ниткамъ нижется, по пасмамъ

раскладывается; Трынка-волынка и Прялка-моталка вышли къ нему навстрѣчу и, принявъ слово, рекли:— Охъ ты гой еси добрый молодецъ, Могучанъ царевичъ богатырская поступь! Первые два завѣта тобою исполнены во всей строгости; но теперь обязанъ ты приступить и къ третьему: увѣнчаться стяжаніемъ достоянія единственнаго или подпасть на семь лѣтъ подъ плѣнъ и рабство намъ и наслѣдникамъ нашимъ. Теперь, царевичъ, думай да загадывай загадку-самодѣльщину, чтобы мы вдвоемъ, призадумавшись, въ трои сутки ея не разгадали. Могучанъ царевичъ въ карманъ не полѣзъ за нею. Ѳома не купитъ ума, свой продаетъ; разгадайте же мою загадку!

ЗАГАДКА

Наша шайка луга любитъ зеленые.
На разбой ночной не по дубравамъ ходитъ.
Въ нашей шайкѣ житъ и быть заповѣдные—
Атаманъ съ собой артель свою выводитъ.
Въ нашей шайкѣ атамановъ то четыре;
Не велики мы, а рожа рожи шире!
Носимъ красныя рубахи, голубыя, —
А кафтаны, всѣ въ одинъ на насъ, рябые,
И артелей, по атаманамъ, четыре;
Знамена свои, значки заповѣдные!
Намъ пардону нѣтъ, пардону мы не просимъ,
А двойной комплектъ головъ въ запасѣ носимъ!
Подъ казенной содержались мы печатью —
Чортъ ли вольницу удержитъ, нашу братью!
Атаманъ у насъ одинъ уже клейменый!
При огняхъ заповѣдныхъ, на лугѣ зеленый,
По ночамъ на разбой мы идемъ условной —
Нѣтъ поживы съ насъ палатѣ уголовной!
Атамановъ двое рыжихъ, два чернавыхъ;
Стерегитесь, люди добрые, лукавыхъ!
Королей, царицъ, царевичей плѣняли,

Кого шутомъ, кого нищимъ покидали!
Атаманъ очередной и бьетъ и рубитъ,
Больше всѣхъ насъ чередной артелью губитъ!
Крѣпостные мы; за деньги рады драться;
Кто насъ купитъ, за того идемъ стараться:
Покупать — такъ намъ же въ руки отдаваться —
Не дадутъ ни посмотрѣть, ни торговаться!
А привяжемся, добромъ не отвязаться,
Полно думать, Трынка, какъ не догадаться!

Но Прялка-моталка и Трынка-волынка надъ этою загадкою такъ призадумались, что у нихъ было и мельница стала! Тогда Могучанъ царевичъ вошелъ и выбралъ себѣ золотое колечко и къ нему ожерелье любое —Царевичъ,—сказалъ теперь Трынка,—я твой слуга и вся моя семья; что прикажешь, то будемъ дѣлать, твои рѣчи ловить, твою службу служить; колечко ты взялъ неоцѣненное; колечко, надѣляющее тебя рукою и сердцемъ русской княжны Милонѣги, изъ дому Гостомыслова; той самой, которая, зачарованная, подъ завѣтомъ сидѣла малиновкою, среди замка семибашеннаго, въ клѣткѣ-невидимкѣ на березѣ золотой; она теперь твоя.—Не сбылось еще великое, сказалъ царевичъ, до русской земли еще далеко, далеко — дорога моя лежитъ туда, прямо съ полуночи на полдень!

Витязь прошелъ опять три дня, три ночи, сталъ снова скучать-горевать отъ бездѣлья, накликать похожденья. Вдругъ, видитъ, зашелъ въ дичь такую непроходимую, что ни взадъ, ни впередъ, ни въ бокъ ни въ другой; терновниками превысокими заглохло все кругомъ, такъ что скрябкой не продерешься; слѣзаетъ Могучанъ царевичъ съ коня своего молодецкаго, поступью богатырскою шиповники колючіе попираетъ, путь-дорогу новую себѣ пролагаетъ. Ночь застигла его темная; не видать ни зги; прутья въ глаза продираются, ноги княжескія подсѣкаютъ—дождь льетъ ливмя, градъ

сѣчетъ, буря валяетъ деревья, молнія летаетъ какъ змѣи огненные, скороходы-вожатые Карги Ѳоминичны, волки голодные, завываютъ, добычу свою поджидаютъ. Видно, Перунъ на посидѣлки ушелъ,—подумалъ царевичъ,—а ребята отъ бездѣлья добрались до снарядовъ его—погоди, воротится, такъ онъ васъ!

Но погода не унималась, градъ билъ еще сильнѣе, громъ рыкалъ безпощадно, деревья сплетались сучьями рука съ рукой; — негдѣ преклонить головушки отъ буйной непогодушки! Подломились колѣна богатырскія, упалъ Могучанъ царевичъ ожидать разсвѣту. Вдругъ земля подъ нимъ разступилась—блѣдный свѣтъ разноцвѣтныхъ огней поразилъ изумленный взоръ его, благозвучіе чудное слухъ: — онъ сидитъ на колесницѣ, выдѣланной изъ одной жемчужины, подъ нею китайскія колесы огненныя, олени заморскіе въ упряжкѣ, отроки, отроковицы цвѣтами путь посыпаютъ, пѣсни лестныя напѣваютъ—по обѣ стороны, на липкахъ горлинки воркуютъ, бѣлки прыгаютъ, орѣшки погрызываютъ—подъ ними въ зелени шелковой пушистой зайчики играютъ, путниковъ провожаютъ; ребятишки за ними вслѣдъ гоняются; а одинъ плутишка зануздалъ косого васильковымъ вѣночкомъ, гонцомъ передъ колесницею скачетъ; музыка роговая, голосомъ играетъ-выговариваетъ, похожденія Могучана царевича воспѣваетъ.

Подвезли олени колесницу жемчужную подъ крылечко бѣломраморное; сорокъ сороковъ столповъ хрустальныхъ сведены сводомъ изумруднымъ; солнце алмазное, вмѣсто люстры, на цѣпи серебряной виситъ посрединѣ, яхонты какъ звѣзды по своду разсыпаны, луна на закатѣ, господа всякихъ чиновъ и званій подъ сводомъ тѣмъ прохаживаются, на качеляхъ святочныхъ качаются; пьютъ, да гуляютъ, да пѣсенки попѣваютъ, вѣчная имъ масленица! Облачка подъ тѣмъ сводомъ

искони вѣка не видывали, ненастья не вѣдаютъ, бури назвать не умѣютъ! Встрѣтили царевича дѣвушки прихожія, изъ колесницы жемчужной высадили, цвѣточками закидали, повели /въ обитель мира, дали выпить зелья забвенія суеты: съ царевича прошлое какъ рукой сняло; будто снова на свѣтъ народился; сталъ веселиться, забавляться, яствами разными наслаждаться; вдругъ видитъ, и глазамъ богатырскимъ не вѣритъ, видитъ - познаетъ въ толпѣ батрака своего, Тришку Боровика; онъ подъ ручку съ блинницей прохаживается, въ рукахъ кружка ведерная съ медомъ, въ зубахъ осетрины кусочекъ, съ коровій носочекъ, подъ мышкою окорокъ цѣлый. Шила въ мѣшкѣ не спрячешь; Тришку Боровика въ толпѣ знать, какъ пугало въ горохѣ!—Ты какъ сюда попалъ? спросилъ его царевичъ. Несказанно обрадовался онъ, увидѣвъ господина своего, и бросился обнимать колѣни его. — Гора съ горой не сходится, сказалъ онъ наконецъ опомнившись, а горшокъ съ горшкомъ столкнется! Разставшись съ витяземъ на островѣ волшебномъ, пошелъ онъ, по повелѣнію его, искать себѣ похожденія, приключенія и судьбы, но не нашелъ; видно, несчастливъ выходъ былъ, или не хорошо порогъ переступилъ, или заяцъ дорогу перебѣжалъ, но только не встрѣчалъ я ни бабы съ пустыми ведрами, ни попа. Иду, иду, говоритъ, вдругъ вижу, стоитъ избушка на куриныхъ ножкахъ. Я слыхивалъ съ мала, отъ бабки, какъ съ нею заговаривать: избушка, избушка, обернись ко мнѣ передомъ, къ лѣсу задомъ, стань передо мной, какъ листъ передъ травой! Сказалъ разъ, и другой, и третій,—нѣтъ, не ворочается избушка моя! Я взошелъ, такъ анъ не избушка на куриныхъ ножкахъ, а, запросто сказать, питейный домъ. Нечего дѣлать; на грѣхъ лукавый натолкнулъ, выпилъ вина полугарнаго крючокъ и пошелъ. Встрѣчаю троихъ пѣшеходцевъ; съ перваго взгляду узналъ, что ребята

теплые! Они задаютъ мнѣ загадку: Шло ихъ трое, нашли они пять рублей: семеро пойдутъ, много ли найдутъ?—Разгадаю, находку пополамъ; а нѣтъ, такъ идти куда пошлютъ. Я думалъ, думалъ, безъ счетовъ не сложилъ, пришлось идти по посылу. Стой, не шатайся, иди, не спотыкайся, гляди, не оглядайся, ври, не завирайся, а согрѣшишь—покайся! Дали подзатыльника и отпустили на произволъ судьбы. Ходилъ бы я теперь, не спотыкался, еслибъ не попалъ сюда; раздумалъ я искать судьбы, видно, жить и умирать безъ нея; забылъ я про бѣлый свѣтъ, сосватался я, Тришка Боровикъ, съ блинницею Василисою, по прозванію Сыроѣжкою...

Въ это мгновеніе царевича поразило что-то необычайное: пѣніе знакомое райскихъ птицъ раздалося, какъ далекій призывный голосъ, и заревомъ прозрачнымъ окруженный ликъ, душѣ его знакомый, возрастая отъ свѣтлой точки до естественной величины и лѣпоты своей, носился передъ нимъ какъ сонъ мечтательный. Онъ стоялъ, уповая душею въ созерцаніи сладостномъ...

Свистъ раздался въ ушахъ Могучана царевича, онъ узналъ посвистъ богатырскій брата-близнеца, Рогволода, орла сизокрылаго, шагнулъ исполинской поступью своею и предсталъ на помощь завѣтную. Два богатыря въ борьбѣ изрыли землю пятами: шишаки сбиты, доспѣховъ бранныхъ, сокрушенныхъ, обломки на травѣ; обнаженными руками, напирая другъ на друга, ухватились они, каждый за желѣзную грудь противника, и латы измятыя въ пяти пальцахъ трещали. Они стояли недвижимо. Витязь бросился на помощь брату и оцѣпенѣлъ: Который изъ васъ?—воскликнулъ изумленный, окидывая бѣглымъ взоромъ обоихъ, бросился въ средину и рознялъ ихъ. Они походили другъ на друга, какъ двѣ капли воды.

Тройни долго стояли другъ противъ друга, не могли собою надивиться, нарадоваться. Рогволодъ и Могучанъ теперь только узнали, что у нихъ былъ третій братъ, котораго вѣдьма чалоглазая, Карга Ѳоминична, уронивъ, потеряла, а Русалка Пересвѣта, дочь кудесника Людохрана громового отвода, подняла, вскормила, вспоила и для дѣлъ великихъ наставила и сберегла. Она пролетѣла теперь надъ тройнями и подала имъ съ улыбкою доспѣхи новые: на трехъ щитахъ, славянскою прописью, чеканною золотою насѣчкою, выбиты были имена; на одномъ: *Рюрикъ*, на другомъ: *Синавъ*, на третьемъ: *Труворъ*. Она же привела къ ногамъ ихъ посольство богатое; послы пали на колѣна и рекли: «земля наша велика и обильна, а порядку въ ней нѣтъ: идите владѣть и княжить ею, и творите судъ и правду.»—Тройни сложили три руки правыя вкупѣ, и, съ обнаженными главами, призывали Перуна, славянскаго бога, который спасъ ихъ отъ гибели, и далъ имъ новое отечество и княжество Аще Богъ съ нами, никто же на ны. Что нужды въ имени, Онъ надъ вами!

Пришедъ въ столицу свою, поклонились они праху вотчима и мачехи, по обряду земли своей. Ихъ давно уже не было на свѣтѣ. Бѣлоусъ, переметная сума, спотыкаясь по милости царской, разбилъ себѣ носъ; а, шатаясь по всѣмъ угламъ за поживой, попалъ наконецъ къ мужику на волчій капканъ. Онъ просилъ у царевичей милости и пощады.—Лапти плетешь, а концовъ хоронить не умѣешь, сказалъ Рогволодъ;—воровать какъ кошка, а трусливъ какъ заяцъ! Признайся же, что ты бездѣльникъ!—Кто Богу не грѣшенъ, царю не виноватъ,—отвѣчалъ Бѣлоусъ:—блаженъ человѣкъ, иже милуетъ и скоты!—Его освободили; но онъ уже сталъ спотыкаться поневолѣ, ибо былъ объ одной ногѣ. Когда же и этого урока ему было мало, и онъ, съ чест-

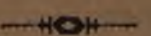
ными товарищами, началъ проказничать попрежнему, тогда царевичъ собралъ ихъ всѣхъ въ кучу, посадилъ на ладонь, да другою ударилъ, только мокренько стало! Вѣдьма чалоглазая Карга Ѳоминична, по прозванію рѣдечная тёрка, услышавъ о счастливомъ прибытіи царевичей, хотѣла удавиться отъ злости: семь разъ вѣшалась, семь разъ обрывалась; ни одна веревка ея не сдержала, но и петля съ шеи не сымалась; она ходитъ и понынѣ съ семью обрывками на шеѣ! Совы стали пугаться ея, щелкали носомъ и махали крыльями; поросенокъ покинулъ отъ страха Филина, верхового и подручнаго, честь и мѣсто фалеторское, замоталъ хвостикомъ, захрюкалъ и побѣжалъ! Сычъ соскочилъ съ козелъ и полетѣлъ; словомъ, экипажъ куріозный разстроился весь. Прялка-моталка-валекъ и Трынка-волынка-гудокъ были призваны въ царство новое, гдѣ мололи жемчугъ и низали ожерелья, ковали кольца обручальныя на всѣхъ молодыхъ, украшали дѣвицъ русокосыхъ. Тришку Боровика и Василису Сыроѣжку взяли ко двору въ дураки. Братья царевичи поженились, взяли по невѣстѣ славянской, а Могучана сердцевѣщунъ не обмануло: освобожденная имъ изъ неволи боярская дочь Милонѣга, роду княжескаго, сдѣлалась его супругою. А сватала за нихъ невѣстъ Русалка Пересвѣта, дочь кудесника Людохрана, и дала невѣстамъ всѣмъ тремъ приданое несмѣтное, напримѣръ: сарафанъ узорчатый парчевой, вѣковѣчный, носится на обѣ стороны, сколько разъ ни выворачивай, иной цвѣтъ, иной покрой, иная кайма съ бахрамой; къ нему такая же душегрѣя, кокошникъ и весь приборъ. Подарила кукушку съ хохолкомъ; сколько перышковъ въ хохолкѣ, столько разъ кукукнетъ въ часъ; а что кукукнетъ, то подаритъ гривною золота! Ѣхать подъ вѣнецъ дала уютную паровую англійскую карету, съ музыкой и съ пружинами; вмѣсто колесъ, двѣ пары

сапоговъ-самоходцевъ, безъ дышла, безъ упряжи, посрединѣ скатерть-хлѣбосолка, на ней чарка пивоварная; по бокамъ, въ бархатѣ малиновомъ, перья самописчики, трубы слуховыя, стекла подзорныя, сами устанавливаются, сами глядятъ, сами вѣсти даютъ! Могучанъ царевичъ привезъ невѣстѣ своей ожерелье жемчужное, кольцо обручальное; и другіе братья-царевичи невѣстъ своихъ на похожденіяхъ не забыли.

Три брата царевичи узнали теперь настоящія имена свои и приняли ихъ вмѣсто прозвищъ: Рюрикъ, Синавъ и Труворъ. Они приняли княженіе и раздѣлили царство между собою; а если хотите, дѣти, знать да вѣдать, какъ они жили да поживали, такъ читайте отнынѣ повѣствованіе лѣтописцевъ; — жилъ былъ въ древности глубокой благочестивый инокъ; онъ описалъ дѣянія, жизнь и подвиги царевичей нашихъ и потомковъ ихъ. Слава уступила имъ достояніе и имя свое; богатыри наши, въ теченіе временъ грядущихъ, утратили многословныя прозванія свои, но потомки ихъ и донынѣ просто и коротко называются *славянами*.

А засимъ сказка моя кончается; а отъ сказки въ лѣтописяхъ быль правдивая, истина святая начинается. Давно чудовища побиты стоглавыя; богатыри не родятся величавые и кудесники могучіе — утонули замки пловучіе, погорѣли змѣи летучіе! А царевичи доблестные нарождаются, за властію, за царствами не гоняются; братья родные, какъ наши витязи, другъ другу царства уступаютъ, по завѣту предковъ честь и славу раздѣляютъ, судъ и правду подданнымъ учиняютъ! Пойте, баяны-соловьи, пойте царевичей своихъ, въ струны златыя ударяйте, славу славянскую, подвиги доблестные прославляйте! Кто гораздъ и силенъ языкомъ роднымъ и бесѣдуетъ съ вѣками прошлыми, завѣщаетъ намъ двѣнадцать толстыхъ книгъ лѣтописныхъ, полныхъ правды русской, краснорѣчія; иной

соловьемъ голосистымъ щелкаетъ, птицей райской насвистываетъ, громомъ по поднебесью раскатывается, пѣсни чудныя слагаетъ о Свѣтланѣ, о Вадимѣ и поетъ во станѣ русскихъ воиновъ; тотъ Руслана и Людмилу воспѣваетъ, и царя Бориса житіе слагаетъ—а иной и радъ бы въ рай, да грѣховъ много; котъ и видитъ молоко, да у кота рыло коротко! Не всѣмъ въ златыя струны ударять, баяномъ-соловьемъ насвистывать, отголоски накликать громозвучные — были-небылицы прошлыхъ лѣтъ не поношены тряпицы, не подъ лавку слѣдъ: ихъ-то слогомъ не кудрявымъ, буднишнимъ, разсказалъ я моимъ дѣточкамъ — уставили дѣти свои ушенки, какъ молодые зайченки, тихо и смирно читали, сказки моей не перебивали, зато она имъ и въ руки далася, кошкою не перекидывалась, пташкою не подлетывала, не лягалась жеребеночкомъ! Не заснули-ль мои дѣточки?



СКАЗКА ЧЕТВЕРТАЯ

Новинка-диковинка или невиданное чудо, неслыханное диво.

Н. ЯЗЫКОВУ

И ВСѢМЪ ТОВАРИЩАМЪ НАШИМЪ ПРОФЕССОРСКАГО ИНСТИТУТА ПРИ ДЕРПТСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТѢ.

Диво—бѣлый воробей; чудо—высѣвки въ рѣшетѣ: дыръ много, а выскочить некуда; чудо чудное, диво дивное, черная коровка да бѣлое молочко! — Но это все чудеса буднишнія, обношенныя, пошлыя, обветшалыя; я вамъ скажу сказку про чудо невиданное, диво неслыханное, сказку новую какъ пуговку, модную какъ гнутыя оглобли, затѣйливую какъ пудель въ шароварахъ, что за комедіантомъ ходитъ; а сватъ Демьянъ да кума Соломонида по присказкѣ прикинутъ: — Русская рубаха безъ цвѣтныхъ ластовокъ не живетъ! Сказка моя недолга: сказуется скоро; стриженая дѣвка косы заплести не успѣетъ!

Не подбивайтеся подъ нашего брата, грамотѣи велемудрые, соглядатаи, мытари, оцѣнщики, браковщики, орѣхогрызы неутомимые! Гладки взятки съ насъ, какъ

съ козла ни шерсти, ни молока. Не насупливайте бровей, какъ нагорѣлыя свѣчи, не глядите на меня комомъ, глядите розсыпью, не молвьте топоромъ, молвьте исподволь! Не шумите, не учите всѣ въ одинъ голосъ, у семи нянекъ дитя безъ глазу — а горланить хотите, ступайте по лѣсу облавою. — Скажете: долга сказка? Сватъ Демьянъ говоритъ: долга стѣна китайская! Скажете: коротка? Коротокъ воробьиный носъ! Скажете: непригожа? Была пригожа, да вы же сглазили! А станете разбирать по своимъ по примѣтамъ, причудамъ, повѣрьямъ—такъ онъ вамъ скажетъ: толкуй Ѳетинья Саввишна про ботвинью давишню! Пришелъ не званъ, поди же не гнанъ; не твоимъ перомъ писано, не твоей указкой склады перебирать; не стой надо мной, какъ чортъ надъ душой, мыль свою бороду, чеши свою голову, ходи въ баню по субботамъ — а когда ѣсть нечего, не криви душой, поди подъ окно, я же подамъ и кума подастъ, да и ступай домой, сказки моей не суди, не осуживай — я безъ долговъ, ты безъ толковъ—пѣшій конному не товарищъ! Гряди съ миромъ со своимъ клиромъ, я свою семью и самъ прокормлю.

— Чудны дѣла твои, Господи! завопила кума Соломонида на поминкахъ, которыя по обычаю правили мы 40 дней по смерти одного волжскаго 90-лѣтняго казака, слывшаго знахаремъ, такъ что въ смертный часъ надлежало, по собственному завѣщанію его, отодрать три доски изъ потолка, надъ смертнымъ одромъ его, иначе мученіямъ его не было бы конца; — чудны дѣла твои, Господи, дивно потворствуешь врагу твоему, попускаешь замыслы его нечестивые! Сказать ли вамъ, мои кормилицы, отчего покойникъ Ѳедосей сталъ знахаремъ? Наканунѣ воробьиной ночи [1])—продолжала

[1]) Осеннее равноденствіе.

она, утерши губы,—собиралась, какъ и всегда въ этотъ вечеръ, буря; еще все было тихо; вдругъ вихорь, отколь ни возьмись, поднялъ пыль и погналъ ее по селу, по улицѣ, столбомъ; закрутились, завертѣлись былинки, какъ бѣсы тьмы окромѣшной—и завылъ вѣтеръ низовой и погналъ густой столбъ противъ хода тучъ. Тутъ случись, родимые мои, сосѣдней деревни, нашего приходу, не тѣмъ будь помянутъ, старикъ, и забыла какъ прозывался, упокой Господь душеньку его, прими земля косточки его, онъ уже лѣтъ тому 50 сосланъ, сказываютъ, не то казненъ; случись онъ тутъ, на бѣду, и настрой мальчишку: бѣги, говоритъ, догоняй столбъ, это вѣдьма вѣнчается, да кинь ножъ въ самую середину, чтобы концомъ сталъ, какъ свайка, въ землю. Малый что разумѣетъ? Дѣтское дѣло глупое; сказано, сдѣлано! Ножъ-этъ подняли ребята, кончикъ въ крови, а вихорь въ ту ночь всѣ до одной кровли въ селѣ пораскрывалъ! Народъ всполошился, за судъ да за расправу; а мать ребенка того и докажи на старика: онъ-де нечистую силу прогнѣвилъ, онъ научилъ, вечоръ, какъ вѣдьма вѣнчалась, по ней ножомъ пустить! Старика того священникъ отрѣшилъ отъ святой трапезы, не допустилъ къ причастію, наложилъ на него эпитимію, а онъ, на другое лѣто, изомстилъ бабѣ за это: народъ весь былъ въ полѣ, онъ заберись къ ней въ избу, поднялъ подъ кутникомъ, гдѣ она съ мужемъ сыпала, половицу, да и схоронилъ туда этотъ ножъ окаянный. Никто о томъ и не вѣдалъ; а у бабы первая дочь родилась — вѣдьма! Сватья и кума и бабка видѣли, что ребенокъ съ хвостомъ родился, а хвостъ настоящій мышиный, прости, Господи, согрѣшеніе мое! Когда же дѣвка эта выросла, такъ ослѣпила навожденіемъ парня, нашего кривого Луки дѣда, покойника Ѳедосея, вотъ что схоронили о Петровкахъ да нынѣ поминаемъ—услыши, Господи, мо-

литвы наши грѣшныя, не изрыгай земля праха его!— онъ то взялъ ее за себя, да и самъ такому же добру отъ нея научился! Вотъ, отцы родимые, кормилицы мои, какимъ случаемъ покойникъ нашъ Ѳедосей, не тѣмъ будь помянутъ, сталъ знахаремъ!

— На покойника была, правда, не разъ поклепа за худыя дѣла и прочія художества, —подхватилъ кумъ Иличъ,—да все напраслина! Онъ, лѣтъ тому будетъ 60, благое дѣло сдѣлалъ. Тогда у насъ, старики помнятъ, былъ моръ, и на людей и на скотину. Дѣдъ мой, не послушавшись ни стараго, ни малаго, а разума своего темнаго, мужичьяго, вышелъ въ поле на работу, въ такой праздникъ святой, въ который и птица гнѣзда не вьетъ — въ самое Благовѣщеніе. За нимъ было батраковъ человѣкъ пятнадцать; вдругъ надъ нимъ небо тучами затмилось и налетѣла, зашумѣла крыльями чума. Дѣдъ сказывалъ, что самъ ее видѣлъ, сама какъ утка, голова и хвостъ змѣиные! Кто успѣлъ молитву сотворить, того Господь помиловалъ—кто нѣтъ—тутъ же душу отдалъ! Моровая язва эта хвостъ уронила здѣсь, а сама потянулась противъ солнышка—и до самаго того мѣста, гдѣ положила голову свою змѣиную, и народъ, и скотъ, все вымерло! Тогда нашъ старикъ, покойникъ Ѳедосей, кривого Луки дѣдъ, зная всякое слово, и отъ чего какое слово годится, и всякое зелье и снадобье, нашептывалъ подъ печью, надъ черепкомъ, и ножъ тотъ, которымъ поранили вѣдьму подъ вѣнцомъ, выкопалъ изъ подполья, понесъ ночью и кинулъ на распутьи, гдѣ прилегла моровая язва головою — и такимъ дѣломъ онъ избавилъ народъ и скотъ отъ всякой дальней гибели и отъ порчи.

— Въ тѣ поры, — подхватилъ сватъ Демьянъ, — сказывали, что чума ходитъ ночью; бабы вѣдьму подслушали подъ заборомъ, да и сказали мнѣ, что очередь

пришла моей избѣ. Я зажегъ елей подъ кивотомъ, самъ легъ на прилавку, да положилъ подлѣ боку топоръ и шашку. Около полуночи поднялся вихорь, и вдругъ дверь сама отперлася! Я тихомолкомъ за топоръ: глядь—топоръ безъ топороща! а я наканунѣ насадилъ его самъ, да еще и на кленовое, суковатое! Погоди, подумалъ я, меня, стараго воробья, на мякинѣ не проведешь! И ухватилъ шашку — а шашкой этой запорожскій казакъ, въ семисотыхъ годахъ, тридцати-тремъ некрещенымъ туркамъ головы рубилъ! Рябая собака, сука, выла, выла подъ окномъ, да вдругъ и вбѣжала въ избу. Я топоръ въ ноги ей, она на него заглядѣлась, а я какъ свистну съ прилавки по ней шашкою, такъ переднюю лапу ей и отрубилъ, какъ кочерыжку! На другой день, на краю села, вытащили старуху изъ-за печи: одна рука отрублена!

Всѣ крестились отъ ужаса, и никому не пришло на умъ сказать свату Демьяну то, что я ему молвилъ на ухо: плутъ ты плутъ, сватъ, гдѣ врали, и ты тутъ! Ври не завирайся, а назадъ оглядывайся—ври сегодня, покидай и на завтра! Когда дѣдъ кума Ивлича согрѣшилъ неумѣстнымъ трудолюбіемъ своимъ, а покойный знахарь Ѳедосей чуму уморилъ, тогда отецъ твой еще кромѣ соска ѣды не зналъ: а ужъ ты круто и лихо съ вѣдьмами рубился! Молодецъ! Но мы съ нимъ смигнулись, и я его не выдамъ! Рука руку моетъ.

— Въ тѣ поры,—промолвилъ слѣпой старикъ на полатяхъ,—стращали народъ, что свѣту конецъ, и скоро преставленіе будетъ, да Господь помиловалъ!

— Не вѣдаетъ народъ, о чемъ толкуетъ; отпусти имъ, Господи, грѣхи ихъ,—сказалъ старовѣрческаго монастыря отшельникъ, который попалъ на тризну нашу, какъ котъ подъ лавку: онъ мимоходомъ послышалъ духъ постнаго стола нашего, стерляжьей ушицы!—А придетъ скоро время,—продолжалъ онъ:—будетъ моръ,

голодъ, война: будутъ младенцы сосать груди матерей своихъ, труповъ; будетъ народъ лыки жевать, вмѣсто хлѣба насущнаго, пойдутъ всѣ цари христіанскіе, всѣ земли крещеныя, войною на невѣрныхъ, будутъ воевать Царьградъ и Іерусалимъ, Іерусалимъ бо есть пупъ земли, и возьмутъ его и заспорятъ между собою зѣло, кто своимъ войскомъ завоевалъ святую землю и кому надлежитъ честь и слава, и завраждуютъ вельми между собою. Тогда явится сущій Антихристъ, ожидаемый евреями пророкъ, вызовется царей христіанскихъ мирить и будетъ показывать лживыя чудеса; евреи первые ему поклонятся; потомъ всѣ иновѣрцы, одинъ по одному, и будетъ онъ класть имъ клейма, на чело и на рамо десное—этимъ будетъ и хорошо и привольно и сытно; а прочимъ будетъ худо, будутъ терпѣть нужду и голодъ необычайные, будутъ терпѣть всякія поруганія, будетъ ихъ Антихристъ мучить и истязать. Послѣдніе, вѣрные своему служенію, пребудутъ старовѣры, непокорные, строптивые, твердо вѣрующіе. Антихристъ будетъ ихъ сгонять всѣхъ въ ямы, засыпать соломою, жечь и допрашивать: Обращаются ли они? Кто эту пытку перенесетъ, будетъ святъ, какъ угодникъ Миръ-Ликійскихъ. Теперь низойдутъ на землю Илія Пророкъ и Іоаннъ Златоустъ, взятые заживо на небо, которыхъ Господь пасетъ на этотъ часъ, ибо имъ, какъ живымъ, надлежитъ возвратиться еще на землю, — и будутъ они изобличать Антихриста въ неправдѣ, въ изувѣрствѣ, въ самозванствѣ, въ беззаконіи; изобличивъ его въ три дня, отрубятъ ему голову; кровь его прольется въ три ручья на землю, земля отъ нея займется, загорится, будетъ горѣть, горѣть, покуда не выгоритъ вся, со всѣми твореніями, со зданіями, быліями и каменными горами — и свѣту конецъ! Вотъ насъ, старовѣровъ, что ожидаетъ!—промолвилъ онъ со вздохомъ

глубокимъ.—А праведнымъ останется тотъ только изъ насъ, кто вытерпитъ всѣ муки и пытки и пребудетъ вѣренъ и непоколебимъ!

— Такъ ты однимъ старовѣрамъ сулишь вѣчное блаженство?—спросилъ мой Демьянъ:—не хорошо, отецъ, дѣлаешь; учись у насъ: мы, на Волгѣ, стерляжьей ушицей всякаго кормимъ, и православныхъ, и вашего брата, случается и татаринъ астраханскій табунъ на ярмарку коренную гонитъ, да забредетъ, и нѣмецъ, сарептянинъ, приворачиваетъ; Волга широкая рѣка, Волга разгульная рѣка — это гостиница Господня — орошаетъ, безъ одной, десять губерній русскихъ, стоитъ на ней 40 городовъ, а селамъ, деревнямъ, такъ и счету не дашь—всѣхъ поитъ, всѣхъ кормитъ! Преставленіе свѣта твое, отецъ, не чудо; нынѣ это и малый и великій знаетъ, что рано ль, поздно ль, а этого не миновать — диво бѣлый воробей, чудеса въ рѣшетѣ, дыръ много, а выскочить некуда; чудо чудомъ, диво дивомъ, черная коровка, да бѣлое молочко, да и это все чудеса буднишнія, обношенныя, пошлыя обветшалыя; я вамъ сказку скажу про новинку-диковинку, про неслыханное чудо, невиданное диво; сказку новую, какъ пуговку, модную, какъ гнутыя оглобли, затѣйливую, какъ шавка въ шароварахъ, что за комедіантомъ ходитъ!—Да уговоръ дороже денегъ — кто сказку мою перебьетъ, за тѣмъ считаю пятакъ; кто усомнится въ истинѣ неслыханнаго чуда, невиданнаго дива, да не повѣритъ сказкѣ моей, за тѣмъ два! Слушайте!

Въ нѣкоторомъ царствѣ, за тридевять земель, въ Загишпанскомъ государствѣ, жилъ-проживалъ и обрѣтался купецъ, по имени Макафлоръ. Онъ былъ богатъ златомъ заморскимъ и серебромъ, какъ донской

казакъ послѣ поживы; тароватъ, какъ блаженныя памяти царица, и красовались чертоги его шпалерами золочеными, сводами расписными, картинами живописными въ маховую сажень и утварью лучшаго издѣлія заморскаго, какъ въ Москвѣ хоромы Пашкова — словомъ, чего хочешь, того просишь, развѣ только одного птичьяго молока не доставало! Но честной господинъ, купецъ Макафлоръ, встосковался однажды, на одиночество свое глядя, и подумалъ про себя такъ: сосѣди мои женятся, сосѣди роднятся, сосѣди умираютъ—одинъ я, какъ Сивка-бурка, вѣщая каурка, живу, живу, а легче нѣтъ! Родиться дважды нельзя въ нашемъ царствѣ, умирать—не охота, дай, оженюсь! И не медля ни мало, заслалъ онъ свахъ задорныхъ, Камиллу Киргизовну, Степохлесту Перехватовну, да еще третью, такую же, къ одному чужеземному гостю, у котораго съ прошедшей весны расцвѣла и славилась красотою дочь, по имени Макарона; а какъ отца ея, онаго гостя, звали Перероемъ, то у насъ бы и совѣсть не зазрѣла называть прекрасную невѣсту, что нынѣ въ супругахъ, Макароною Перероевною; но какъ въ тѣхъ весьма отдаленныхъ отъ насъ западныхъ Загишпанскихъ странахъ благого обычая такого, по невѣдѣнію, не держались, то — кума Соломонида всплеснула руками и ахнула отъ ужаса! Не называть дѣтей по отцу! И подлинно это неслыханное святотатство! Но сватъ Демьянъ утѣшилъ и успокоилъ ее, повторивъ, что сіе дѣлалось по невѣдѣнію,—прости имъ, Господи, согрѣшенія ихъ, не вѣдаютъ бо, что творятъ, сказалъ инокъ—и упокой душеньку ихъ, промолвила Соломонида, и прими земля косточки ихъ—то и называли запросто Макароною, докончилъ наконецъ сватъ Демьянъ. Отецъ прекрасной этой дѣвицы, иноземный гость Перерой, держалъ свахамъ купца Макафлора такой отвѣтъ: милостивыя государыни мои! Хотя дѣйствительно

честной купецъ Макафлоръ во всѣхъ отношеніяхъ достоинъ есть руки дочери моей возлюбленной, прекрасной дѣвицы Макароны, и пора пришла пріискивать ей жениха, а мнѣ зятя, но какъ она объявила, что, слѣдуя внушенію одного пророческаго сна, не иначе пойдетъ за мужчину, какъ если онъ обяжется доставить ей *новинку* и *диковинку*, до которыхъ она искони страстная охотница, то и предстоитъ нынѣ честному и достопочтенному искателю ея разрѣшить сіе затрудненіе; тогда я съ своей стороны дамъ немедленно отцовское благословеніе свое и приглашу гостей честнымъ пиркомъ да на свадебку!

Макафлоръ такому отвѣту весьма изумился. Онъ по ночамъ не ѣдалъ, по днямъ не спалъ, все только думалъ да угадывалъ, какою новинкою-диковинкою бы услужить будущей нареченной своей? Тогда подошелъ къ нему вѣрный спутникъ его на морѣ и на сушѣ, въ торговыхъ оборотахъ, въ дѣлахъ и въ бѣдахъ, Мирошка дурачекъ, и, начавъ жалобно выть собакою, объявилъ вознегодовавшему на то купцу рѣшительно, что перестанетъ выть собакою не прежде, какъ когда узнаетъ причину горести его. Макафлоръ наконецъ разсмѣялся и подѣлился съ нимъ кручиною своею. Твои бабы,—сказалъ тогда Мирошка дурачекъ,—воду пьютъ, въ водѣ полощатся—это гуси; пошли меня на сватовство, хозяинъ, я тебѣ невѣсту Перероевну высватаю, что собака куцому зайцу хвоста оборвать не поспѣетъ!—И когда хозяинъ далъ на то согласіе свое, и Мирошка дурачекъ, объявивъ, что принесъ залогъ на новинку-диковинку, былъ допущенъ къ прекрасной дѣвицѣ Макаронѣ, то, подавъ ей кольцо обручальное отъ имени хозяина своего, принялъ онъ слово и рекъ такъ: Многопрекрасная и всепобѣдоносная дѣвица Макарона, дщерь всюду славнаго и златосіятельнаго негоціанта Перероя! Будущая повелительница наша! Не

гнѣвайся на меня, пресмыкающагося, дерзнувшаго вознести зеницы очесъ своихъ на тебя — глядитъ бо и котъ на царя—а я пришелъ къ тебѣ съ дѣломъ немаловажнымъ: я принесъ тебѣ вѣрный залогъ для полученія отъ хозяина моего, а твоего нареченнаго, новинки и диковинки, до которыхъ ты столь лакома; если примешь залогъ сей, то новинка и диковинка твоихъ рукъ не минуютъ; ибо новинка будетъ заключаться для тебя въ новомъ супружескомъ санѣ твоемъ, а диковинкою будетъ то, что вамъ Господь пошлетъ живыхъ ребятишекъ, по подобію и образу своему и твоему и отца-супруга созданныхъ; развѣ это не диковинка? Вотъ истинное значеніе пророческаго сна твоего, коего темный и глубокій смыслъ оставался для тебя недоступнымъ!

Это понравилось дѣвицѣ Макаронѣ чрезвычайно; не прошло недѣли, какъ пѣсенники, балалайка, бубны и рожокъ гремѣли цѣлую ночь напролетъ во дворцѣ иноземнаго гостя Перероя; это была свадьба дочери его Макароны съ купцомъ Макафлоромъ. Но время не ждетъ ни пьянаго, ни горбатаго, не длитъ часовъ радости и веселія, не сокращаетъ годинъ напасти и горести. Осень и зима пролетѣли, настанетъ весна, и молодымъ нашимъ пора разставаться, купцу Макафлору пора грузить корабли и отправляться за море. И кто это выдумалъ, пропадай онъ, чтобы молодымъ супругамъ весной разставаться! Весной, когда трава какъ мотокъ пробивается, жаворонки и ласточки слетаются и ветюшни воркуютъ!

Нагрузивъ корабль богатыми товарами, спросилъ Макафлоръ супругу свою, прекрасную Макарону, что она прикажетъ привезти себѣ изъ-за моря, какого гостинца желаетъ? У насъ, отвѣчала она, благодаря Подателя, всего вдоволь и по уши, и никакимъ гостинцемъ не можешь ты мнѣ угодить, какъ только если потѣшишь

старую прихоть мою, которую имѣла я, еще когда была въ дѣвкахъ; я охотница до новинокъ и диковинокъ: привези ты мнѣ, муженекъ мой, соколъ, изъ-за моря новинку-диковинку, *невиданное чудо, неслыханное диво*! Супругъ поцѣловалъ ее въ чело высокое, въ уста сахарныя и въ перси бѣлоснѣжныя, и приказалъ ей пребыть ему вѣрной, а самъ сѣлъ на корабль свой и пустился въ бурливое море. Не намъ за нимъ дни и часы считать, не намъ по морю путь его, колею зыбкую, измѣрять — ее давнымъ-давно волнами смыло и загладило; довольно того, что, прибывъ въ городъ небывалый, а въ сказкѣ именуемый невѣдомымъ, не узналъ на дѣлѣ того, что накладъ съ барышомъ, какъ купцы говорятъ, дворъ обо дворъ стоятъ и на однихъ саняхъ ѣздятъ, ибо распродалъ весь товаръ свой весьма съ великою выгодою, нагрузилъ снова корабль свой разнымъ товаромъ заморскимъ, и сталъ доискиваться теперь невиданнаго чуда, неслыханнаго дива, въ гостинецъ супругѣ своей. Это, правда, стоитъ того, что поймать мѣсяцъ за рога! Но какъ показаться на глаза возлюбленной супругѣ своей, прекрасной Макаронѣ, безъ гостинца? Но Мирошка дуракъ опять выкупилъ его. Прогуливаясь по городу, подошелъ онъ однажды къ толпѣ народа, стоявшей около вновь выстроеннаго храма съ колокольнею неимовѣрной вышины. Одинъ изъ толпы сказалъ: Куда теремъ-этъ хитро сгороженъ!—Не то хитро сгороженъ, подхватилъ другой, да какъ крестъ вколоченъ?—Какъ вколоченъ?—спросилъ Мирошка дуракъ,—а нагнули да и воткнули! У народа, какъ гдѣ въ кучу собьется, горло хоть и одно, да преширокое; зареветъ, такъ ревмя; захохочетъ, такъ бока надсадитъ; полюбилъ народъ Мирошку дурака за глупые толки его, и выискался какой-то проказникъ, пролазъ, что спознался и побратался съ нимъ и повелъ его въ харчевню для корабельщиковъ иностранныхъ, по обычаю земли той,

на общій счетъ гулять. Здѣсь Мирошка дурачекъ, и кто живой съ нимъ былъ, подгуляли, и давай всякъ своимъ добромъ хвалиться.—У меня,—сказалъ молодой мѣщанинъ, охарашиваясь:—молодая, пригожая и вѣрная жена есть! Это что за диво, — примолвилъ Мирошка:—и мы съ бариномъ покинули дома такую же!—У меня,—сказалъ другой:—птица есть, что весь божій день разговариваетъ, со всѣми болтаетъ, безъ умолку, безъ отдыху!—У насъ ихъ до чорта, — отвѣчалъ Мирошка:—только вся и разница, что твоя въ перьяхъ ходитъ, а наши въ юбкахъ!—У меня,—сказалъ какой-то третій пройдоха: — есть вещь удивительная: невиданное диво, неслыханное чудо! «Держи ухо остро,—подумалъ Мирошка:—нашей тони севрюга плыветъ!»—Видите ль, ребята, гуся на дворѣ?—продолжалъ разсказчикъ. — Видимъ. — Гусь, поди сюда. — Гусь пришелъ. — Гусь, ложись на сковороду! — Гусь легъ. — Тогда онъ поставилъ сковороду съ гусемъ въ печь, и, зажаривъ его, подалъ на столъ и просилъ всѣхъ гостей поѣсть съ нимъ жаренаго гуся, но костей не кидать по нашему, подъ столъ, а складывать въ кучу на столѣ. И когда они того гуся съѣли до косточекъ, то незнакомецъ, собравъ кости, завернулъ ихъ въ скатерть, бросилъ на полъ и молвилъ: — гусь, встряхнись, и поди на дворъ! Гусь встряхнулся и пошелъ!—Подлинно, что это новинка и диковинка, чудо невиданное, диво неслыханное!—сказалъ Макафлоръ.—Не велика штука, да мотовата, — подхватилъ Мирошка, и кто живой съ нимъ былъ, единогласно подтвердили то же. Макафлоръ приторговалъ и купилъ за великія деньги того гуся, прибылъ благополучно на родину свою, облобызалъ жену, прекрасную Макарону, и представилъ ей гостинецъ. Она радовалась безконечно возвращенію любимца души своей и супруга, разсказывала, какъ просиживала, въ отсутствіи его, ночи и

горько плакала по немъ, а теперь тѣшилась несказанно подаркомъ и гостинцемъ сожителя своего. Въ одинъ день, когда купецъ Макафлоръ пошелъ, по обыкновенію своему, ходить по дѣламъ и торговымъ оборотамъ, находился у жены его одинъ молодой и прекрасный, той страны, изъ рядовъ, сидѣлецъ, навѣщавшій иногда подругу юности своей, прекрасную Макарону, охотницу до новинокъ и диковинокъ. Она вздумала попотчевать его между прочимъ новопривезеннымъ заморскимъ жаркимъ и позвала гуся со двора въ избу. Гусь пришелъ. Гусь, ложись на сковороду! Но гусь не слушался ея и не ложился на сковороду, а гагакалъ во все гусиное горло. Тогда купчиха Макарона, разсердясь, ударила его сковородникомъ и увидѣла чудо невиданное, диво неслыханное! Сковородникъ присталъ однимъ концомъ къ гусю, а другимъ къ купчихѣ, и она не могла оторвать руки. Въ испугѣ позвала она на помощь гостя своего, но—бѣда не по лѣсу ходитъ, а по людямъ; бѣда никогда не живетъ одна, а бѣда бѣду накликаетъ, какъ крикуша утокъ—и гость, какъ ухватился только за сковородникъ, прильнулъ къ нему какъ клещь за уши; всѣ усилія ихъ, всѣ попытки были тщетны, и гусь, это восьмое чудо, привелъ чету, прекрасную Макарону и сидѣльца, ея милаго дружка, на сковородникѣ, какъ пару гончихъ на сворѣ, къ хозяину, купцу Макафлору! Приказчики, бросившіеся разнимать колодниковъ, всѣ также прильнули къ сковороднику, какъ приросли, и свалка началась бы преужасная, еслибы самъ купецъ не подоспѣлъ, и, разнявъ ихъ, не послалъ бы послушнаго гуся домой. Теперь увидѣлъ честной купецъ Макафлоръ новинку-диковинку любимую жены своей, а она, когда мужъ взялъ ее въ руки и сталъ учить да проучивать порядкомъ, не разъ слыхивала отъ него слова: вотъ тебѣ невиданное чудо, неслыханное

диво! которыя онъ всегда при этомъ случаѣ приговаривалъ.

А я, Демьянъ, да сватъ мой Луганской, изъ-за тридесять земель въ Загишпанское государство глядя, смекнули такъ: У кого новинка-диковинка есть доморощенная, тотъ за чудесами заморскими не гоняйся; считай звѣзды, а гляди въ ноги, да води усами во всѣ четыре стороны; не тотъ писарь, что хорошо пишетъ, а тотъ, что хорошо подчищаетъ!—Женѣ вѣрь, покуда подлѣ боку, жена безъ мужа и вдовы хуже, а за море поѣхалъ, такъ домашнее прогулялъ и поминай, какъ знали!

Это сказано для честного господина купца Макафлора; а о купчихѣ скажемъ, что она безъ новой новинки - диковинки вѣка не проживетъ. Женскій стыдъ—до порога; переступила, такъ и забыла! Вора хоть золотомъ засыпь, такъ ему некраденый кусокъ пріѣстся скоро; поваженный, что наряженный—красна пава перьями, а добрая жена мужемъ; красна дѣвка до замужества, а женился, глядь—какъ на льду обломился! Жена не лапоть, обносивши не скинешь, либо гляди самъ глазами, либо свахъ засылай порасторопнѣе, посмѣтливѣе, понадежнѣе Мирошки! жаль кулака, а ударить было дурака за то, что высваталъ невпопадъ невѣсту Перероевну! Онъ всему причиной, Мирошка дуракъ, да и дѣло въ шляпѣ!

Вотъ вамъ и сказка про новинку-диковинку, чудо невиданное, диво неслыханное! Сказка новая, какъ пуговка, модная, какъ гнутыя оглобли, затѣйливая, какъ шавка въ шароварахъ! Что твое преставленіе свѣта, отецъ, что ваши вѣдьмы и домовые! Подноси-ка, кумъ Ивличъ, подноси за упокой Ѳедосея; вишь, кума Соломонида боится, чтобы не всталъ! Подноси еще, Ивличъ, знай, подноси—такъ ужъ, встанетъ ли, нѣтъ ли Ѳедосей покойникъ, а мы съ тобою—врядъ ли встанемъ!

СКАЗКА ПЯТАЯ

о похожденіяхъ чорта-послушника, Сидора Поликарповича, на морѣ и на сушѣ, о неудачныхъ соблазнительныхъ попыткахъ его и объ окончательной пристройкѣ его по части письменной.

однокашникамъ моимъ,

ПАВЛУ МИХАЙЛОВИЧУ НОВОСИЛЬСКОМУ

и

НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ СИНИЦЫНУ.

Идетъ рыба на блевку, идетъ и на блесну—кто наѣлся былей сытныхъ, приторныхъ, тотъ, поди, для праздника, перекуси небылицей тощей, да пряною, рѣдькой, лукомъ, стручковатымъ перцемъ приправленною! Истина нахальна и безстыдна; ходитъ, какъ мать на свѣтъ родила; въ наше время какъ то срамно съ нею брататься. Правда — собака цѣпная; ей только въ конурѣ лежать, а спусти, такъ уцѣпится, хоть за кого! Быль — кляча норовистая; это кряжъ-мужикъ; она и рѣдко шагаетъ, да твердо ступаетъ, а гдѣ станетъ, такъ упрется, какъ корни пуститъ! Притча — дѣло

любезное! Она неряхою не ходитъ, разинею не прикидывается, не пристаетъ какъ съ ножомъ къ горлу; она, въ праздникъ, выйдетъ, снарядившись, за ворота, сядетъ отъ бездѣлья на завалинку—кланяется прохожему всякому смѣло и привѣтливо — кто охочъ и гораздъ, узнавай окрутника; кому не до него — проходи, какъ мимо кружки, будто не видишь, что люди по пятаку кидаютъ! Вольному воля, а спасеному рай; а чужая совѣсть — могила, за каждой мухой не угоняешся съ обухомъ, и мой окрутникъ за тобою не погонится!

Въ Олонецкой губерніи, сказываютъ, много камня дикаго и много болота мокраго—тамъ вышелъ однажды мужикъ попахать. Пустилъ онъ соху по низовью, подъ скатомъ, такъ попалъ было въ топь такую, что насилу вылѣзъ; выдрался съ сохой онъ на горку, такъ напоролъ и вызубрилъ сошникъ о булыжникъ неповоротливый; а когда догадался поискать суходолья, такъ вспахалъ его и засѣялъ. Это не сказка, а присказка, а сказка будетъ впереди!

Сатана, не самый старшій, всегда лично въ первопрестольномъ градѣ своемъ царствующій, а одинъ изъ приспѣшниковъ и нахлѣбниковъ его, одинъ изъ чертей-послушниковъ, праздновалъ именины свои; а звали того чорта Сидоромъ, и Сидоромъ Поликарповичемъ. На пирушкѣ этой было народу много, всѣ веселились честно и добропорядочно; плясали пляски народныя и общественныя, не какъ у насъ, на ногахъ, а скромно и чинно, на головѣ; играли въ карты и выѣзжали всѣ на поддѣльныхъ очкахъ; расплачивались, по курсу, фальшивыми ассигнаціями, самой новой, прочной англійской работы, неуступающей добротою настоящимъ; но все это дѣлалось, говорю, мирно и ужиточно. Вдругъ входитъ человѣкъ, въ изодранномъ форменномъ сюртучишкѣ — кто говорилъ, что это хорунжій, отставленный три раза за пьянство и буянство; кто го-

ворилъ, что это небольшой классный чиновникъ; а кто увѣрялъ, что это отставной клеркъ, унтеръ-баталеръ, а можетъ быть и подшкиперъ. Не успѣлъ онъ почтить собранія присутствіемъ своимъ, какъ въ тотъ же мигъ ввязался въ шашни миролюбивыхъ посѣтителей и, не откладывая дѣла и расправы, ударилъ на нихъ въ кулаки. Люблю молодца за обычай! Да и не дѣтей же съ ними крестить стать! Чортъ-именинникъ, какъ хозяинъ, сунулся было разнимать, но какъ, отъ перваго русскаго леща, у него въ ушахъ раздался трезвонъ въ семь колоколовъ съ перезвономъ, на языкѣ и горько и кисло стало, а изъ глазъ искры посыпались градомъ, такъ онъ присѣлъ и присмирѣлъ. Гости расползлись по домамъ, по вертепамъ своимъ, и храбрый воитель и побѣдитель нашъ остался пировать одинъ, какъ тетеревъ на току.

Дуракъ ты,—сказалъ настоятель, сатана-староста, Сидору, когда этотъ пришелъ къ нему плакаться на бѣду свою,—дуракъ круглый и трусъ, и худой, какъ я вижу, намъ слуга, когда жалѣешь для службы нашей шкуры своей и пары-другой зубовъ! Тебя, вижу я, надобно въ черномъ тѣлѣ держать! ты бы обрадовался находкѣ да послѣдилъ ее; я давно вамъ, неизворотливымъ, сказывалъ, что мнѣ чиновные озорники и пройдохи почетные нужны, чтобы вы ихъ сманивали да зазывали, а вы, знай, ходите, поджавши хвосты, какъ смиренники! Вы у меня какъ то всѣ отъ рукъ отбились; погоди, я васъ пригну къ ногтю! Изволь ты у меня отправиться на землю, извѣдать на дѣлѣ суть и глубь и бытъ гражданскій и военный, и взять осѣдлость тамъ, гдѣ для оборотовъ нашихъ окажется повыгоднѣе; да прошу, безъ всякихъ отговорокъ, служить, какъ люди служатъ, не для поживы и личныхъ выгодъ, а для блага и пользы общей нашей, не щадя ни живота, ни крови.

Сидоръ Поликарповичъ вылѣзъ изъ преисподней, сталъ ногами на твердую землю, и оглядывался кругомъ на просторѣ; съ него еще паръ валилъ, какъ съ московскаго банщика, и онъ все еще не сбилъ оскомину послѣ вчерашней перекваше́нной русской закуски, а сверхъ того сплечился немного въ задней лѣвой ногѣ, когда выбирался изъ пропасти преисподней, а потому прихрамывалъ и сѣлъ отдохнуть.

— Плохое житье наше,—подумалъ онъ про себя;— съ тѣхъ поръ, какъ нашего брата съ неба спихнули, всѣ обижаютъ; всякій ярыга дулю подноситъ и по ушамъ хлещетъ! Свались только ты, такъ и подобьютъ подъ ноги, а станешь вставать, оправляться, такъ подзатыльниковъ и не оберешься! Народъ умудряется и просвѣщается со дня на день, и безхвостое это племя за все берется, во все ввязывается: подъ землю подрывается, бороздитъ по морю, креститъ по воздуху,— не присвой я себѣ жару, огня яраго, такъ бы и не было у меня своего краснаго уголка, нечѣмъ было бы передъ ними похвалиться! Бьешься, бьешься, какъ рыба объ ледъ, а поживы мало; часомъ и харчи не окупаются!

Онъ оглянулся кругомъ, поводилъ рыломъ во всѣ стороны,—а онъ, какъ добрый гончій, искалъ верхнимъ чутьемъ, — вздохнулъ горько и сказалъ: идти добро промышлять отселѣ подальше — здѣсь, въ этой землѣ, за причетомъ нашимъ, и босымъ, и постриженнымъ, приступу нѣтъ; они и безъ нашего брата управятся!

Онъ всталъ и пошелъ на востокъ, ибо вылѣзъ изъ земли на самомъ крайнемъ западѣ, на взморьѣ, подъ крутымъ берегомъ, гдѣ конецъ свѣта, и выдался мыскомъ въ море крайній клокъ земли, нашей части свѣта. Шелъ онъ, шелъ, долго ли, коротко ли, ведромъ ли, погодкой ли, а дошелъ до страны отъ насъ западной, пригишпанской, королевства задорнаго; а обитаютъ въ ко-

ролевствѣ томъ люди неугомонные, неужиточные, родятся въ нихъ замыслы несбыточные. Тамъ то Сидоръ нашъ встрѣтилъ отрядецъ солдатъ на привалѣ. Солдаты тѣ пришли изъ странъ сѣверныхъ, необозримыхъ, пространствомъ морю прилежащему, ледовитому, равныхъ; перешли путемъ земли многоязычныя и отдыхали отъ трудовъ и утомительнаго перехода. Чортъ подсѣлъ къ нимъ, и началъ разспрашивать ихъ: куда, ребятушки, идете?

— Идемъ мы, куда Макаръ телятъ не гоняетъ, куда воронъ костей твоихъ не занесетъ; идемъ подъ Стукаловъ монастырь, пить да гулять, а не сиднемъ сидѣть, играть въ мяча чугуннаго, грызть орѣхи каленые-ядреные; идемъ хлѣбомъ-солью гостей чествовать, сажать бокомъ-ребромъ на прилавки желѣзные, узкіе-граненые; за скатерти браныя травчатыя муравчатыя, за столы земляные, поить до упаду, хмельнымъ-багрянымъ виномъ, опохмелять закусками ручными-орѣховыми; приговаривать: не ходи одинъ, ходи съ батюшкою; припѣвать: не тебѣ, супостату, на орла нашего сизаго, на царя нашего бѣлаго, руку заносить окаянную! Кому пиръ, а кому миръ — а кому суждено, разбредемся-сляжемъ по землянкамъ даровымъ, не купленнымъ, по зимовьямъ не просторнымъ, низенькимъ; — нашему брату жизнь—копѣйка, голова—наживное дѣло! Идемъ пожить весело, умереть красно!

— И гладко строгаетъ, и стружки кудрявы! — подумалъ чортъ, Сидоръ Поликарповичъ. — Дай, еще съ нимъ потолкую, авось, не будетъ ли поживы!

— А что, служивый, чай, здѣсь житье ваше привольное, хорошее?

— Въ гостяхъ хорошо, а дома лучше,—отвѣчалъ гренадеръ.

— Здѣсь дѣвушки хороши,—намекнулъ чортъ.

Гренадеръ Много хорошихъ, да милыхъ нѣтъ!

Чортъ. Хороши, да не милы! Сбыточное ли это дѣло?

Гренадеръ. У насъ не по хорошу милъ, а по милу хорошъ!

Чортъ. Такъ что же вы милыхъ покинули, а зашли къ немилымъ?

Гренадеръ. Не пилъ бы, не ѣлъ, все на милую глядѣлъ — да слезою моря не наполнишь, кручиною поля не изъѣздишь, а супостата вашего крестомъ да молитвою не изведешь; стало быть, садиться казаку на коня, а нашему брату браться за пищаль, да за щупъ!

Чортъ. Да вы, господа кавалеры, волей или неволей сюда зашли?

Гренадеръ. Наша воля — воля царская; за него животы наши, за него головы!

Чортъ. Поглядишь на вашего брата, такъ жалость донимаетъ! Кабы на мою немудрую голову — что бы, кажись, за радость въ такой веригѣ ходить! Покинулъ бы честь и мѣсто, да и поминай, какъ звали меня самого!

— А тебя самого—распазить, да навозъ возить! — отвѣчалъ ему гренадеръ. — Какой этотъ сторожкой! — подумалъ чортъ, Сидоръ Поликарповичъ; пойду къ другому! Дай пристану тутъ къ заносному племени этому; къ нимъ и ходить далеко, и проживать холодно. Здѣсь, во странѣ пригишпанской, западной, сручнѣе будетъ мнѣ съ ними побрататься; а тамъ — чѣмъ отзовется, попытаюсь, съ ними вмѣстѣ, и до ихъ земли добраться!

Нашъ новобранецъ, изъ вольноопредѣляющихся, присталъ, служилъ и ходилъ подъ ружьемъ, терпѣлъ всю бѣду солдатскую, перемогался, но — крѣпко морщился! Ему въ первыя сутки киверомъ на лбу мозоль намяло пальца въ полтора; отъ желѣзнаго листа, въ воротникѣ, шея стала неповоротливѣе, чѣмъ у сѣраго

волка; широкою перевязью плеча отдавило, ранцемъ чуть не задушило, тесакомъ икры отбило! Солдату, говоритъ, три деньги въ день, куда хочешь, туда ихъ и дѣнь; вѣниковъ много, да пару нѣтъ, а мылятъ, такъ все на сухую руку! У солдата шило брѣетъ, а шубы нѣтъ, такъ палка грѣетъ! — Эти поговорки пріѣлись мнѣ, какъ сухой ячмень беззубой кобылѣ, уходили меня, какъ кающагося грѣхи; это не по мнѣ! Семь недѣль, какъ въ великій постъ, голодомъ сиди, семь недѣль мозоли сбивай, покуда разъ, да и то натощакъ, угодишь подраться да поживиться! Что мнѣ за неволя въ такомъ хомутѣ ходить! Стану жить я по своему.

Сказано, сдѣлано. Полкъ вышелъ къ смотру, у всѣхъ и ранцы и амуниція исправны, а у нашего Сидора ни кирпичика форменнаго, ни ваксы сухой, ни воску, ни лоску, пуговицы не чищены, нитокъ въ чемоданчикѣ, на показъ, ни сѣрыхъ, ни бѣлыхъ! Сидоръ Поликарповичъ думалъ переиначить всю службу по своему, да и опростоволосился крѣпко! Ему это отозвалось такъ круто и больно, что онъ, забывъ всѣ благіе совѣты и наставленія старосты-сатаны, бросилъ все: и службу, и ранецъ, и ружье, и суму, проклялъ жизнь и сбѣжалъ. Онъ удиралъ трои сутки безъ оглядки, набилъ плюсны и пятки, и присѣлъ наконецъ подъ липку перевести духъ. Не успѣлъ онъ еще опамятоваться, какъ вдругъ увидѣлъ передъ собою человѣка невысокаго росту, въ низкой треугольной шляпѣ безъ пера, въ разстегнутомъ сѣромъ сюртукѣ, длинной жилеткѣ, въ ботфортахъ, который стоялъ, сложивъ руки на груди и выставивъ лѣвую ногу впередъ, и разглядывалъ поочереди всѣ отдаленныя, черезъ долъ и лѣсъ пролегающія дороги, и былъ, казалось, въ нерѣшимости, которую ему избрать. Чортъ Сидоръ подошелъ, обнюхалъ незнакомца кругомъ, въ одно ухо ему влѣзъ въ другое вылѣзъ, и узналъ такимъ обра-

зомъ всѣ помышленія и замыслы его. Въ это время вдругъ подлетѣлъ латникъ съ косматымъ шлемомъ, и, указывая назадъ, донесъ, что онъ опять уже видѣлъ, мелькомъ, пики на красныхъ и синихъ древкахъ и нагайки. Тотъ кинулся на коня и помчался стрѣлой; и нашъ Сидоръ, смекнувъ и разгадавъ дѣло, едва успѣлъ сунуть ему за пазуху письмо, которое онъ, пригнувшись на корточкахъ, за заднею лукою сѣдла всадника, написалъ, и которое, *при сей вѣрной оказіи*, вздумалъ отправить во тьму окромѣшную, къ командиру своему, сатанѣ-старостѣ, чтобы извѣстить его о плохихъ успѣхахъ своихъ и проситься домой. Сидоръ не колдунъ, да угадчикъ; письмо его запоздало нѣсколько, это правда, но оно, застрахованное, дѣйствительно дошло наконецъ до мѣста и передано всадникомъ, съ рукъ на руки, старостѣ-сатанѣ, настоятелю Стопоклепу Живдираловичу; вотъ оно, отъ слова до слова:

Письмо отъ чорта-послушника, Сидора Поликарповича, къ сатанѣ-старостѣ, Стопоклепу Живдираловичу, писанное на землѣ, во странѣ пригишпанской, западной, и отправленное во тьму окромѣшную при вѣрной оказіи, съ человѣкомъ невысокаго росту въ треугольной шляпѣ безъ пера.

Старостѣ нашему, Стопоклепу Живдираловичу, отъ послушника его и нахлѣбника, Сидора Поликарповича, нижайшій поклонъ; супругѣ его, Ступожилѣ Помиловнѣ, отъ усерднаго поклонника ея, Сидора Поликарповича, многая лѣта и нижайшій поклонъ; тещѣ его, вѣдьмѣ чалоглазой, Каргѣ Ѳоминичнѣ, по прозванію рѣдечной тёркѣ, нижайшій отъ насъ же поклонъ и всякая невзгода мірская; равномѣрно и сожительницѣ нашей, драгоцѣнной Василисѣ Утробовнѣ, поклонъ и супружеское наше приказаніе, заднимъ числомъ со

дня отлучки нашей, пребыть намъ вѣрной; дѣткамъ нашимъ, сыновьямъ: Кулаку, Зарѣзу и Запою, дочерямъ: Мохнашкѣ и Сивухѣ, родительское наше проклятіе, навѣки нерушимое, и поклонъ; брату нашему: Искусу Поликарповичу и сожительницѣ его, Чумѣ Цареградовнѣ, дядѣ нашему, Тузу бубновому подъ крапомъ и сожительницѣ его, Кралѣ червонной золотообрѣзной, а равно и всей преисподней, нижайшій поклонъ нашъ и всякая неправда мірская и нечистыя дѣла и соблазны — желаемъ имъ всякое наитіе замысловъ нечестивыхъ и успѣхъ и воздаяніе сторицею, за понесенные труды и бѣды—а о себѣ скажемъ, что мы, благодаря ходатайству старосты нашего, Стопоклепа Живдираловича, и процвѣтающимъ въ краяхъ здѣшнихъ глупостямъ и вздорнымъ пакостямъ людскимъ, еще въ живыхъ и здравствуемъ, хотя всѣ посильныя наши попытки доселѣ еще мало понесли за собою плодовъ, и много мы бѣдствій земныхъ на себѣ испытали, и осталася за нами одна только надежда, что новое предпріятіе наше принести намъ долженствуетъ успѣхъ вящшій и жатву обильную, душегубительную. А вышли мы изъ преисподней, во странѣ, бѣдной науками, художествами и просвѣщеніемъ, гдѣ блаженствуютъ наши, и босые и постриженные, на краю свѣта, — почему и сочли мы за лишнее основать здѣсь пребываніе наше, а отправились черезъ горы высокія, снѣжныя, на востокъ, и обрѣли тамъ людей, наклонныхъ къ дури и пакостямъ, самодовольныхъ и безсовѣстныхъ; почему, разсудивъ также, что оные люди рукъ нашихъ не минуютъ, раздавали мы имъ только значки, трехцвѣтные и бѣлые, для основанія междоусобій; а потомъ и намѣревались держать путь свой еще далѣе на востокъ, какъ дошло до насъ свѣдѣніе, что нахлынули, отъ странъ сѣверныхъ, люди, дюжіе тѣломъ и крѣпкіе духомъ, имъ же нѣсть

числа, а страна ихъ ледовита и ими любима; и заложилъ, во время оно, преставившійся Царь ихъ, а нашъ первѣйшій врагъ, столицу свою въ землѣ непріятельской, и довершили ее наслѣдники Царя того и потомки, вопреки стараніямъ и покушеніямъ нашимъ; а древнюю столицу свою, до которой нѣтъ намъ приступу отъ великаго множества церквей, коихъ числится сорокъ сороковъ,—отстояли они нынѣ снова и подняли на дымъ, дабы не досталось въ руки иноплеменникамъ двадесяти языковъ, подъ предводительствомъ подручника нашего, на царя и землю ихъ покусившихся; и уморили они тѣхъ иноплеменниковъ захожихъ голодомъ и холодомъ, и уходили и извели оружіемъ, и написали сказку: О безпечной воронѣ, попавшейся во щи гостей голодныхъ; и слѣдили того предводителя до земли и столицы его, гдѣ мы нынѣ обрѣтаемся, и побивали его нещадно на каждомъ шагу. А посему и сочли мы за лучшую пакость подбиться къ симъ, ненавистнымъ намъ, доблестнымъ и смиреннымъ воителямъ и искусить ихъ къ совращенію съ пути повиновенія и благочестія. Но сія попытка, несмотря на то, что, усердствуя ко благу наш общему, не щадили мы ни плечъ своихъ, ни шкуры, обошлась намъ весьма несходно, и понесли мы отъ нея накладу болѣе, чѣмъ барышей. Есть у нихъ, напримѣръ, обычай военный, что не спрашивается: *откоть взять*, а говорится только: *чтобъ было;* глядишь— и есть; а чуть прогуляешь, проглядишь, такъ тотчасъ за расправу, а это вовсе не по насъ! И пуще всего не взлюбили мы у нихъ той музыки, что стучатъ въ глухіе бубны, безъ бубенчиковъ, да подыгрываютъ въ два смычка безъ канифоли, на кожаной скрипкѣ; — испытали мы при томъ жизнь холодную и голодную, такъ что часомъ и уведешь гдѣ-нибудь быка, да негдѣ изжарить, некогда съѣсть; а по всему этому и разсу-

дили мы наконецъ предоставить ихъ участи своей, покинуть и сбѣжать. Они же, воители тѣ, царей своихъ чтятъ свято, за землю обширную, отчасти ненаселенную и дикую, стоятъ всѣмъ оплотомъ, дружно и норовисто, а посему успѣха намъ еще ожидать должно мало. Такимъ дѣломъ извѣдали мы бытъ ихъ на сушѣ, а нынѣ намѣрены, при помощи отца-настоятеля и старосты нашего, сѣсть на корабли ихъ, здѣсь обрѣтающіеся, и держать путь, вмѣстѣ съ ними, чинно и тихо, до земли ихъ, и осмотрѣться тамъ, на мѣстѣ, не упуская удобнаго случая взять осѣдлость свою, какъ наказано намъ было, тамъ, гдѣ окажется повыгоднѣе и попривольнѣе. О чемъ, здравствуючи, будемъ не оставлять васъ своими увѣдомленіями; а васъ просимъ усердно находить насъ таковыми же. А писано сіе письмо къ вамъ, черезъ самого того, земли пригишпанской, западной, повелителя, нашего подручника, которому срокъ на землѣ нынѣ вышелъ уже давнымъ давно и слѣдуетъ ему явиться къ старостѣ Стопоклепу Живдираловичу, во тьму окромѣшную; но, по мнѣнію нашему, востребуется послать дюжину-другую разночинцевъ и послушниковъ, нашей братьи, дабы они могли уловить и увлечь съ собою того подручника нашего и представить въ преисподнюю; ибо самъ онъ, употребляя во зло долготерпѣніе наше, день за день просрочиваетъ и явиться къ мѣсту откладываетъ. А засимъ, испрашивая отъ старосты нашего и настоятеля и всей братіи послушниковъ, всякую невзгоду и проклятіе небесное и земное, остаемся, усердствующимъ ко соблазну общему служителемъ и послушникомъ вашимъ

Чортомъ Сидоромъ Поликарповымъ.

Приписка. Еще увѣдомляемъ васъ и о томъ, что оныя сѣверныя страны повелитель, лишь только пер-

вый на міродавца того руку наложилъ и отстоялъ земли и народы веси своя и избилъ всю заморскую рать его, и отобралъ все оружіе и до тысячи огнеметныхъ литыхъ орудій, то и всѣ земли крещеныя, доселѣ міродавцу тому раболѣпствовавшія, очнулись и оперились и противу него возстали, завопили, и начали витіи велерѣчивые священнодѣйствовать и писать воззванія доблестныя и пѣсни ободрительныя войскамъ своимъ и всему народу; а понеже той сѣверной страны повелитель даровалъ милость и пощаду всѣмъ на него посягавшимъ и карать ихъ болѣе не пожелалъ, а требуетъ отъ нихъ мира и дружбы, каковое изумительное великодушіе поразило и враговъ и новыхъ союзниковъ его, то и не худо бы намъ заранѣ разослать въ тѣ иныя земли послушниковъ нашихъ, дабы соблазнить всѣ народы и земли крещеныя забыть, что скорѣе, то лучше, таковое имъ оказанное безпримѣрное благодѣяніе, и заставить ихъ въ безсиліи своемъ и немощи обносить оговорами и клеветою сѣверной той страны обитателей и властителей ихъ, и мстить имъ за вышереченное благодѣяніе всякимъ навѣтомъ злымъ и словомъ и дѣломъ и гдѣ чѣмъ прилучится. О чемъ и прошу довести до свѣдѣнія старосты нашего и настоятеля, Стопоклепа Живдираловича: ибо замѣчено нами на пути нашемъ, что наклонность къ таковымъ намъ любезнымъ пакостямъ и злодѣяніямъ таится уже въ сѣменахъ раздора многоязычныхъ племенъ тѣхъ.

Отправивъ письмо это, соскочилъ Сидоръ съ задней луки сѣдла и чуть было не повисъ въ торокахъ! — Долго ль до бѣды,—подумалъ онъ;—о сѣрникъ споткнешься, затылкомъ грянешься, а лобъ расшибешь!— Онъ присѣлъ; а какъ было уже довольно поздно, и Сидоръ нашъ уморился крѣпко, то и легъ, свернулся, на утро всталъ, стряхнулся, совершилъ походъ въ одинъ переходъ, и сѣлъ на корабль у взморья.

— Фортуна бона,—подумалъ чортъ, Сидоръ Поликарповичъ,—а онъ думать научился по-французски—фортуна бона,—подумалъ онъ, когда извѣдалъ службу нашу на морѣ;—я, хоть языкамъ не мастеръ, а смекаю, что тютюнъ, что кнастеръ, мои губы не дуры, языкъ не лопатка, я знаю, что хорошо, что сладко! Здѣсь жизнь разгульная и всякаго добра разливное море! Каждый день идетъ порція: водка, мясо, горохъ, масло; подъ бакомъ сказки, пляски, играютъ въ дураки и въ носки, въ рыбку и въ чехарду — рядятся въ турокъ и верблюдовъ, въ жидовъ и въ лягушекъ—спятъ на койкахъ подвѣшенныхъ, какъ на качеляхъ святочныхъ, — одна бѣда, простору мало, да работы много!

Онъ надѣлъ на себя смоленую рабочую рубаху, фуражку, у которой тулья шла къ верху уже, а на околышѣ были выметаны, цвѣтными нитками, зубцы и узоры; опоясался бечевкой, привѣсилъ на ремнѣ ножъ въ ножнахъ кожаныхъ, свайку, насовалъ къ карманы шароваръ каболки, тавлинку, кисетъ — вымазалъ себѣ рожу и лапы смолою, взялъ въ зубы трубченку безъ четверти въ вершокъ, и, проглотивъ подзатыльника два отъ урядника, за то, что сѣлъ было курить на трапѣ, примостился смиренно къ камбузу, гдѣ честная братія сидѣла въ кружкѣ, покуривала корешки и точила лясы.

— Что скажешь, куцый капитанъ общипанной команды, повѣренный пустыхъ бочекъ?—спросилъ марсовой матросъ трюмнаго;—каково твои крысы поживаютъ?

— Приказали кланяться, не велѣли чваниться!—отвѣчалъ тотъ

— Не бей въ чужія ворота плетью, — замѣтилъ старый рулевой насмѣшнику,—не ударили бы въ твои дубиной! Вѣкъ долга недѣля, не узнаешь, что будетъ; можетъ быть доведется еще самому со шваброй ходить!

— Не доведется, Миронычъ,—отвѣчалъ первый,—съ форъ-марсу на гальюнъ не посылаютъ! Безъ нашего брата на марса-реѣ и штыкъ-боутъ не крѣпится!

— Не хвалися, горохъ, не лучше бобовъ,—проворчалъ третій;—а кто намедни разъ пять шкаторину изъ рукъ упускалъ, покуда люди не подсобили?

— Упустишь, когда изъ рукъ рветъ — отвѣчалъ опять тотъ;—вѣдь не брамсельный дулъ, а другой рифъ брали!

— У добраго гребца и девятый валъ весла изъ уключины не вышибетъ,—сказалъ урядникъ съ капитанской шестерки,—не хвали меня въ очи, не брани за глаза, не любуйся собой, такъ и будешь хорошъ!

— Запѣвай-ка повеселѣе какую, Сидорка,—сказалъ нашему Поликарповичу сосѣдъ его;—что ты сидишь—надулся, какъ мышь на крупу! Ты волей присталъ къ намъ, такъ и зазнаешься; а у насъ, вишь, неволя скачетъ, неволя пляшетъ, неволя пѣсни поетъ!

— Не свайкой пѣть, когда голосу нѣтъ!—отвѣчалъ Сидоръ, оскаливъ зубы, какъ мартышка.—Запѣвай-ка ты свою:

Здравствуй, милая, хорошая моя,
Чернобровая, похожа на меня!

— На тебя? — спросилъ урядникъ; — надо быть, хороша была! Неужто и съ тобой какая ни есть слюбилась?

— Нѣтъ такого мерзавца, чтобы не нашелъ своей сквернавки,—отвѣчалъ Сидорка.—Кабы люди не сманили, и теперь бы со мной жила!

— Кабы нашего сокола вабило не сманило, сто лѣтъ бы на мѣстѣ сидѣлъ,—подхватилъ марсовой;—а какая твоя любка была, Сидорка, чернавка, или въ тебя, бѣлянка?

— Была бѣлобрысая, была и черномазая,—отвѣчалъ

Сидорка,—было, да быльемъ поросло! Нашему брату за вами, въ бубновыхъ платочкахъ, не угоняться!

— Да мы таки постоимъ за своихъ,—подхватилъ тотъ же марсовой,—и поспоримъ, хоть съ кѣмъ, что противъ нашей, ниже у косноязычнаго француза, не найдешь ни одной! Бывало, моя, какъ пріодѣнется, да пріумоется, такъ хоть водицы испить!

— Чистоплотенъ больно!—примолвилъ Миронычъ,—что за дворянинъ! Когда горохъ въ котлѣ, такъ стало быть и чистъ, брюхо не зеркало, что въ зубахъ, то и чисто!

— Горохъ горохомъ, — отозвался кокъ за камбузомъ,—а я въ разсолѣ изъ-подъ солонины, ребята, нечего грѣха таить, наудилъ нынѣча угрей!

— Эка невидаль,—отвѣчалъ Миронычъ,—будто то и черви, что мы ѣдимъ: по моему, такъ то черви, что насъ ѣдятъ! Смазной, да затягивай хоть ты, сдуру, пѣсню свою, про червяка черемховаго!

— Погоди, — отвѣчалъ Смазной, — вишь, трюмный нашъ, Спирька, задремалъ, такъ чтобъ не потревожить!

— Чего тутъ годить: на посулѣ, что на стулѣ, посидишь, да и встанешь,—сказалъ опять первый.

— Встанешь, пройдешься, да и опять присядешь,—отвѣчалъ тотъ — посуленое ждется; что я тебѣ за пѣсенникъ дался? Много ли васъ тутъ охочихъ до пѣсенъ моихъ? Я меньше, какъ при двѣнадцати, зубовъ не оскалю и голосу не подамъ!

— И дѣло,—подхватилъ марсовой;—у насъ былъ, въ Касимовѣ, мѣщанинъ; какъ началъ торговать, такъ бывало на пятакъ въ день уторгуетъ, да еще два гроша сдачи дастъ—а расторговался, поднялся съ мелочного на оптовой-валовой, такъ въ ниткахъ пасмы не разбиваетъ, въ варганахъ полудюжины не рознитъ!

Дудка просвистѣла на шканцахъ, и осиплый голосъ прокричалъ въ форъ-люкъ: *пошелъ всѣ наверхъ*! Всѣ кинулись, кто въ чемъ сидѣлъ, и Сидора Поликарповича нашего, подлѣ трапу, семь разъ съ ногъ сбивали. Онъ вылѣзъ послѣднимъ, и вахтенный урядникъ, сказавъ ему, что онъ скоръ какъ байбакъ, поворотливъ какъ байдакъ, спросилъ, не угодно ли прописать боцманскихъ капель?—Не все линькомъ, отвѣчалъ Сидоръ, можно и свисткомъ!—Да, можно, ворчалъ тотъ, засядете подъ бакомъ, такъ васъ оттолѣ калачемъ не выманишь, ломомъ не выломишь, шиломъ не выковырнешь! Пошелъ на марса-фалъ! Сидоръ кинулся на марса-фалъ, а его въ шею. За что? Не трекай! Опять по шеѣ. За что? Иди ходомъ, лежи валомъ, не дергай! Кричатъ: на брасы, на правую! А Сидора въ шею. За что? Не тяни безъ слова! Опять въ шею; отдай, говорятъ; отдалъ—тяни! Ну, словомъ, замотали бѣднаго Сидорку нашего до того, что онъ и не зналъ, куда дѣваться; куда ни суньcя—урядникъ; за что ни ухватись — линекъ! Изъ бухты вонъ! раздалось съ юту—и Сидоръ нашъ, который еще не зналъ ни бухты, ни лопаря, оглянуться не успѣлъ, какъ боцманъ отдалъ пертулинь; якорь полетѣлъ, потащилъ за собою канатъ, а съ канатомъ Сидорку, который не успѣлъ выскочить изъ свернутыхъ оборотовъ каната, изъ бухты, и Поликарповича, въ полтрети мига, вмѣстѣ съ канатомъ, прошмыгнуло въ обитый свинцомъ клюзъ, выкинуло подъ гальюномъ, передъ носомъ карабля! Онъ вынырнулъ, ухватился за водорѣзъ, за ватерштаги, вылѣзъ на бушпритъ и стоялъ долго, почесывая затылокъ и оглядываясь кругомъ—такихъ проказъ онъ и во снѣ не видалъ! Онъ не могъ опамятоваться. Что за нелегкая меня сюда принесла! подумалъ онъ, присѣвъ подъ кливеромъ, у эзельгофта; тутъ замотаютъ такъ, что съ толку своротишь, изъ ума выбьешься! Попалъ я, никакъ, изъ огня, да въ

воду! Какъ ни ладишь, ни годишь, а не приноровишься никакъ къ этой *поведеніи*, къ морской *заведеніи*! Не дотянешь — бьютъ; перетянешь—бьютъ; а что и всего хуже, работа въ прокъ нейдетъ; тяни, тяни, да и отдай! Тяни, изъ шкуры лѣзь, тяни—да и отдай! что это за каторга? По моему бы, выдранлъ въ струнку, одинъ разъ, на шабашъ, закрѣпи, да и не замай! А тутъ, не успѣлъ навернуть на планку либо битенгъ, опять сымай, трави, отдавай—а тамъ—опять тяни! На это не станетъ и силъ; у меня руки въ плечахъ оттянуло такъ, что лапы въ полъ-икры болтаются; это не шутка! А глядишь — завтра то же, послѣ завтра опять то же... служи самъ настоятель, сатана-староста, когда лакомъ больно, а не я! Не охота лапъ мочить, а то бы соскочилъ сейчасъ, да и пошелъ! Терпѣть, видно, до перваго якоря, а тамъ — и чортъ не слуга!

Разсудилъ какъ размазалъ и не сталъ работать; отнѣкивался, во ожиданіи первой якорной стоянки, а между тѣмъ сталъ бурлить тихомолкомъ, задумалъ всполошить всю команду. Свистятъ: *Первую вахту наверхъ!* Сидорка забился на кубрикѣ гдѣ-то, сидитъ, духъ притаилъ. Кричатъ: *Авралъ, авралъ!* и подавно то-же: Сидорка и самъ не идетъ, и другихъ не пускаетъ! Какъ тутъ быть? Капитанъ хватился за умъ. Онъ догадался, что все это проказы заморскаго выходца, новобранца нашего, Сидора, и вздумалъ повернуть дѣломъ покруче. Свистать къ вину! закричалъ онъ вахтенному уряднику. Урядники собрались всѣ вокругъ гротъ-люка, просвистали рѣзко и согласно къ вину, вся команда вышла, и чортъ, Сидоръ Поликарповичъ, также вылѣзъ. Тогда капитанъ приказалъ его схватить и, какъ перваго зачинщика, растянулъ его на люкъ и вспоролъ, да такъ, что съ него, съ живого, сухая пыль пошла, что, какъ говорится, и чер-

тямъ тошно стало! А самъ приговаривалъ: Я тебя взялъ на службу государеву, одѣвалъ и кормилъ тепло и сытно, а ты умъ свой съ концовъ обрѣзалъ, да и въ середкѣ ничего не оставилъ, вздумалъ проказить на свою голову — закорми чушку, такъ будетъ плакаться на пролежни; — трунилъ ты надо мной, потѣшусь и я надъ тобой; проведу и я свою борозду, поставлю надъ тобою примѣръ, чтобы у тебя, сдуру, молодецъ какой-нибудь, не вздумалъ перенимать; передній заднему дорога; не задай остраски, такъ, чего добраго, черниговскаго олуха какого-нибудь и оплетешь! Не я бью, самъ себя бьешь; кнутъ не мука, а впередъ наука—одинъ битый семерыхъ небитыхъ стоитъ! Это тебѣ въ задатокъ; а если расплачиваться на чистую съ тобою доведется, такъ знай, что дѣло пойдетъ въ ростъ! Тогда не пеняй!

Чортъ Сидоръ Поликарповичъ, вырвавшись отъ жару такого, какого и у себя дома, въ преисподней, не видывалъ, кинулся со всѣхъ ногъ черезъ кранбалку и уцѣпился за одну лапу якоря, который только что былъ отданъ и летѣлъ въ воду, пошелъ съ нимъ ко дну и впился мертвымъ зубомъ въ илистый, вязкій, подъ плитнякомъ, грунтъ морской;—а когда, на другой день, судно стало сыматься съ якоря, а чорта нашего сдва было не достали со дна морского, то онъ, въ бѣдѣ неминучей, перегрызъ зубами канатъ, у самаго рыма, и боцманъ съ баку закричалъ: Палъ шпиль! лопнулъ канатъ, щебнемъ перетерло и конецъ измочалило! Чортъ съ нимъ, и съ якоремъ, подумалъ баковый матросъ, котораго выпороли заодно съ Сидоркою, у нашего царя якорей много, всѣхъ не переломаешь! По крайней мѣрѣ избавились отъ новобранца этого неугомоннаго, что пришелъ изъ странъ пригишпанскихъ, западныхъ, и сѣлъ кстати, какъ вахлакъ на мослакъ!

Такимъ образомъ, чортъ Сидоръ Поликарповичъ пропалъ, вторично, безъ вѣсти, считался годъ со днемъ въ бѣгахъ и наконецъ изъ списковъ по сухопутному и морскому вѣдомству выключенъ. Поминаютъ объ немъ старослуживые, съ тремя шевронами, поминаютъ, какъ Даря Гороха да Ивашку, бѣлую рубашку! Чортъ Сидоръ пропалъ, концы схоронилъ, и слѣдъ простылъ! Какія приключенія и похожденія проходилъ и извѣдалъ онъ на днѣ морскомъ, мореплаватель ли какой, со всѣмъ причетомъ и пожитками своими, моремъ хладнымъ объятый и во мракѣ багровомъ, до искупленія своего, по дну морскому крейсирующій, или другой кто, приняли-пріютили, наставили и научили Сидорку нашего—этого я и не зналъ, да позабылъ; а у меня память такая куриная, что, чего не знаешь, того и не помнишь! Знаю только, что вскорѣ послѣ того, какъ сбылось съ Сидоркою разсказанное въ сказкѣ нашей приключеніе и похожденіе, сталъ показываться оборотень какой-то въ кудрявыхъ и прописныхъ Азахъ, коими расчеркиваются чиновные и должностные наши. Онъ, Сидорка, то рога выставитъ, то ногой лягнетъ; то когти покажетъ, то языкъ высунетъ, то хвостомъ, какъ мутовкой, пыль взобьетъ,— а самъ, съ той поры, никогда и никому болѣе въ руки не дается и на глаза не показывается; удавалось, правда, изрѣдка сбить ему рогъ, такъ выраслалъ опять новый, покруче перваго; посадили ему было, какъ-то, языкъ въ лещедку, такъ онъ за перо; — и видѣлъ его, цѣлкомъ, одинъ только сватъ мой Демьянъ, да и то во снѣ! Сидитъ, сказывалъ, лоскутъ краснаго, чернилами испятнаннаго сукна подостлавши, затираетъ чернильные орѣшки съ купоросомъ, съ камедью—чинитъ перья скорописчики—ножички подтачиваетъ, смолку, на подчистку, изготовляетъ;—сватъ Демьянъ подошелъ было къ нему, сдуру, во снѣ, хотѣлъ поглядѣть на него,

такъ тотъ накормилъ его палями, напоилъ чернилами, да началъ было на него писать, на листѣ форменнаго формата, доносъ; такъ мой Демьянъ отъ него отрекся, отчурался; я, говоритъ, не воръ, не пьяница, въ домостроительствѣ не замѣченъ, такъ во мнѣ, для тебя, хоть ты двадцать стопъ испиши, ни русла, ни ремесла; человѣкъ я маленькій, полуграмотный, шкурка на мнѣ тоненькая, да и та казенная—пишу я по казацки, супостата шашкою по затылку, коня донского нагайкою по ребрамъ; такъ ты отвяжись и не пятнай доброй славы моей, чтобы всякъ могъ говорить и нынѣ, какъ говаривали встарь:

Казакъ, душа праведная,
Сорочки немае —
Коли не пье, такъ воши бье,
Таки не гуляе!

Чортъ Сидоръ Поликарповичъ задалъ еще, никакъ, острастку кумѣ Соломонидѣ—а впрочемъ остался при хлѣбномъ и тепломъ ремеслѣ своемъ и при мѣстѣ—онъ выписалъ изъ преисподней супругу свою, Василису Утробовну, сыновей: Кулака, Зарѣза и Запоя, дочей: Мохнашку и Сивушку, и живетъ съ ними припѣваючи. Онъ доходами и самъ сытъ и подушное, за себя, и за всю семью свою, по послѣдней ревизіи, сатанѣ-настоятелю, Стопоклепу Живдираловичу, уплачиваетъ, а супругу его, Ступожилу Помеловну, дарилъ неоднократно, къ праздникамъ, камачею, камкою, ожерельями и платками; мѣста же своего покинуть не думаетъ, а впился и въѣлся такъ, что его теперь уже не беретъ ни отваръ, ни присыпка.

Вотъ намъ сказка гладка; смекай, у кого есть догадка; кто *охочъ*, да *не гораздъ*, тотъ поди, я съ нимъ, глазъ на глазъ, еще потолкую; — а кто *гораздъ*, да не *охочъ*, тотъ прикуси языкъ, да отойди прочь!

СКАЗКА ШЕСТАЯ

про жида вороватаго, про цыгана бородатаго.

Дѣтки, дѣтки, покиньте игрушки, да идите ко мнѣ на вотрушки; а вотрушка моя не жареная, не печеная, мучицей не подсыпана, маслицемъ не подправлена; сыру въ ней нѣтъ, и тѣста не бывало — вотрушка моя, сказочка-скороспѣлочка, писана, переписана, да и мастеромъ печатнымъ на бумагу тиснута; сватъ Демьянъ ее сказывалъ, кума Соломонида слушала, да придакивала; а я, благословясь, уснулъ, да и проспалъ, во снѣ видѣлъ жида вороватаго, цыгана бородатаго; люди добрые писали, печатали, да листъ къ листу подбирали, одинъ подъ одинъ подшивали—скажите же мнѣ спасибо, дѣтки, что я тихо и смирно спалъ, сказочника Демьяна не перебивалъ, а то бы вамъ не было и сказки: онъ сердитъ; кто разъ его перебьетъ, тому во вѣки вѣковъ, не то сказки, и присказки не согнетъ! Слушайте жъ вы, не то спите смирно, спокойно; сказки нашей не перебивайте, мнѣ со сватомъ не докучайте

ПОХОЖДЕНІЕ ПЕРВОЕ.

Ѣхалъ жидъ вороватый изъ города Шклова въ городъ Бердичевъ. Хотѣлось ему тамъ, на ярмаркѣ, уторговать рублей на сотню; а сказалъ бы онъ спасибо и за десятокъ, не прогнѣвался бы и тысячѣ. Нашъ жидъ вороватый норовомъ таковъ: лапу протягиваетъ за карбованцемъ, за цѣлковымъ, не отступится отъ червонца, не побрезгаетъ и гудзикомъ, т. е. оловянной пуговкой. Ѣхалъ онъ въ Бердичевъ, и спрашиваетъ дорогою батрака своего — а у него батракъ былъ мужичекъ, хохолъ: «А что, Иванъ, нѣтъ ли тутъ по пути гайдамаковъ, по нашему разбойниковъ?» — Какъ не быть, есть,—отвѣчаетъ ему батракъ Иванъ,— и злые; богатыхъ жидковъ рѣжутъ, да прикалываютъ, а нашего брата по головкѣ гладятъ, за то, что жидковъ подвозимъ. — «Какъ же быть», спросилъ опять жидъ вороватый, Ицька Гобель, «какъ же быть намъ, сердечный дружище Иванъ?» — А какъ быть? — отвѣчалъ Иванъ, помахивая кнутикомъ своимъ;—ты самъ же сказывалъ, что у тебя нѣтъ ни гроша съ собой, что въ мошнѣ звенятъ одни черепки, да битыя стекла; а у меня и подавно, опричь порожняго гаманца да голой кошули, не найдешь ничего; такъ намъ съ тобою и бояться нечего. — «Оно бы и такъ», сказалъ жидъ вороватый, «и истинно такъ, потому что у меня, кромѣ битыхъ стеколъ, да муравленыхъ черепковъ, дѣткамъ на игрушки, которыми я намедни брякнулъ невзначай, нѣтъ ни шелега ни дома, ни при себѣ, ни за собой, ни за женой; да только, сердце мое милое, Иванъ, Яне ты мой, у меня семья большая, дѣти, жена и мать и теща, и свекровь и золовка, и бабка и внучата; если я пропаду, сгинетъ со мною сто душъ: подумай объ этомъ, Иванъ, мое золото ненаглядное.

Я тебя велю накормить *ложшанами*, наготовитъ хозяйка моя тебѣ *юшки*, *кулей*, *мановъ* и *лапшердаковъ*, поднесу я тебѣ въ первой корчмѣ горѣлки и вишневки и терновки и смородиновки, только заступись ты за меня, не давай меня въ обиду гайдамакамъ!» — Хорошо,--отвѣчалъ Иванъ,—полѣзай же ты въ мѣшокъ; я тебя завяжу, а ты лежи смирно; если гайдамаки придутъ, такъ я скажу имъ, что везу битое стекло на ярмарокъ, и они отступятся безъ грѣха; на кой прахъ имъ твои черепки? — «Умная голова!» приговаривалъ Ицька Гобель, и полѣзъ на корачкахъ въ мѣшокъ; «умная голова!» А Иванъ завязалъ его, уклалъ въ бричку, сѣлъ и погналъ тройку въ шлейкахъ. Недалеко онъ проѣхалъ, какъ вздумалъ надъ жидкомъ вороватымъ погулять; закричалъ не своимъ голосомъ: «Стой! куда ѣдешь?» а потомъ самъ отвѣчалъ: «ѣду я въ Бердичевъ на ярмарокъ; а вамъ, честнымъ бурлакамъ, отъ меня поживы не будетъ, нѣтъ со мною добра никакого». — А что у тебя въ мѣшкѣ? — спросилъ онъ опять самъ себя чужимъ, сиповатымъ, грознымъ голосомъ, и отвѣчалъ не запинаясь: «жидовское стекло; одни черепки да битыя бутылки; везу, не купитъ ли кто, въ Бердичевъ, на стеклянные заводы, на переплавку». — Коли такъ, побьемъ, съ горя, жидовское стекло,—сказалъ онъ опять тѣмъ же притворнымъ голосомъ, ухватилъ кнутовище, и давай лупить бѣднаго жида въ мѣшкѣ на всѣ четыре корки. А жидъ лежитъ, не шелохнется, будто у него спина да бока и бебехи на прокатъ взяты, и только приговариваетъ за каждымъ разомъ, что Иванъ его кнутовищемъ погладитъ: *дзынь* — Иванъ его ударитъ, а онъ *дзынь* — Иванъ еще разъ, а онъ *дзынь*—Иванъ и въ третій, и въ пятый, и въ десятый, Ицька *дзынь*, да и только! Наконецъ, когда Иванъ нашъ натѣшился—а и въ немъ сердце не поливанный кувшинъ, ему хозяина своего

жаль стало, тогда онъ сказалъ голосомъ гайдамаковъ: «Полно, кинемъ жидовское стекло въ ровъ, да и въ воду, чтобъ его и духу не было!» Самъ взялъ бѣднаго Ицьку, спихнулъ его съ брички въ лужу и, переваливая мѣшокъ съ боку на бокъ, приговаривалъ: «эхъ, мелка канава, воды мало; ну, хоть утопить мы стекла жидовскаго не утопимъ, да пусть же по крайности оно воды наберется, да и такъ, чтобы и на огнѣ не расплавилось». — Долго же мнѣ кататься по лужѣ,—подумалъ жидокъ вороватый.

Погулявши вдоволь надъ бѣднымъ жидкомъ, отошелъ Иванъ, громко притопывая ногами, въ сторону, въ лѣсъ, тихонько воротился, перемолчалъ немного, и сталъ прислушиваться, что жидъ въ мѣшкѣ дѣлаетъ? Этотъ, слыша, что все затихло, и гайдамаки убрались, сталъ шопотомъ звать Ивана. «Живъ ли ты, Ицька?» спросилъ Иванъ, развязывая мѣшокъ.—Живъ, живъ,— отвѣчалъ тотъ, доставая башмаки и ермолку изъ грязнаго мѣшка; — а зачѣмъ же ты меня далъ въ обиду, Иванъ, ты бы заступился; меня избили, какъ ледащую кобыленку на пристяжи! — «Хвались», отвѣчалъ Иванъ, «мнѣ хуже твоего досталось, да я молчу; вѣдь я же тебя собой заслонилъ, боковъ своихъ не жалѣя: кнутовище орѣховое по мнѣ самой середкой ходило, а тебя оно только концомъ прихватывало!» — Ну, — сказалъ Ицька, жидъ вороватый, потрепавъ Ивана братски по плечу:—ну, сердце мое, садись да поѣдемъ: слава намъ съ тобой, что ладно гайдамаковъ-злодѣевъ обманули!—«Какъ намъ съ тобой?» закричалъ Иванъ: «ты лежалъ, какъ зарѣзанный баранъ, да отмалчивался, я тебя схоронилъ, я и выпустилъ, я гайдамаковъ обманулъ; что бы ты, байковый жилетъ, сдѣлалъ безъ меня?»—Нѣтъ, Иванъ, — промолвилъ жидъ вороватый, ставъ одной ногой на приступокъ брички и погрозивъ Ивану пальцемъ:—нѣтъ, Иванъ, не грѣши;

былъ ты хитеръ, когда вздумалъ сказать, что въ мѣшкѣ жидовское стекло; а кто бы тебѣ повѣрилъ, еслибы я не сталъ приговаривать за каждымъ ударомъ: *дзынь!* Гайдамакамъ показалось, что звенитъ битое стекло, и они отступились!

ПОХОЖДЕНІЕ ВТОРОЕ.

На бердичевскую ярмарку съѣзжаются жиды и поляки, цыгане и москали, татары и калмыки; съѣзжаются съ Подолу и съ Украйны, съ Крыму и съ Черноморья, съ Волги и съ Днѣпра, съ Дону и съ подъ-Московья, изъ Бессарабіи и съ Литвы, изъ пограничной нѣметчины, изъ Галиціи, изъ города Львова, что по ихнему Лембергъ. А продаютъ тамъ всякую всячину, какъ говорятъ: и ветчину, и ржавчину; и покупаютъ тоже, и воруютъ тоже всякую всячину, а именно: что попадется. Пріѣхалъ туда верхомъ на краденой кобыленкѣ цыганъ бородатый. Онъ родясь на своихъ лошадяхъ не ѣзжалъ для того, что у него своихъ не бывало. «Мнѣ», говаривалъ онъ, «не изъ чего обзаводиться своими лошадьми, да и хлопотъ съ ними много; а ворованную не такъ жаль, хоть и безъ корму день-другой простоитъ, да и продать то ее можно посходнѣе; за купленною надобно ходить, надо ее беречь, и холить и кормить, да и деньги выручить—она не въ примѣръ дороже краденой обойдется!» Итакъ, онъ пріѣхалъ на ярмарку на краденой кобыленкѣ верхомъ, съ сыномъ вдвоемъ, продалъ ее и поглядывалъ: не будетъ ли еще гдѣ поживы? Жидъ вороватый, оставивъ рано утромъ батрака Ивана стеречь брыку свою, надѣлъ праздничный черный халатъ, который прозывался: латка на латкѣ, латкой погоняетъ; надѣлъ черныя короткія лосиныя панталоны, кото-

рыя единовѣрецъ его, скорнякъ Берка, выдѣлалъ ему цѣликомъ изъ телячьей шкуры; натянулъ нитяные чулки, стоптанные башмаки, ермолку, изъ которой добывалъ на выварке, по два раза въ годъ, фунтовъ по пяти сала, нахлобучилъ мохнатую шапку, плисовый верхъ которой давнымъ-давно моль съѣла и крысы на гнѣзда растаскали; вырубилъ фейеру, закурилъ краковскую деревянную трубку, взвалился на куцую клячу и повелъ пару, рыжую да чалую, въ поводахъ, на водопой. А цыганъ бородатый за нимъ, за нимъ, давай улаживать и вглядываться въ клячъ жидовскихъ, будто которая изъ нихъ ему по масти, не то по статьямъ приглянулась. «Что ты на чужое добро заришься», спросилъ жидъ, «завидно что ли тебѣ?» — Продай!—сказалъ цыганъ. «Купи», отвѣчалъ жидъ: «у меня, для добраго парня, каковъ ты, завѣтнаго нѣтъ, продамъ, пожалуй, и раввина!» Другой жидъ, подслушавъ со стороны послѣднія слова Ицьки, сталъ его за это бранить; «по крайней мѣрѣ», говорилъ онъ, «не вслухъ такія рѣчи говори; если отецъ Авраамъ услышитъ это, такъ онъ подъ землею перевернется!— *Ницъ не шкодзи*, отвѣчалъ Ицька,—пусть его; завтра ты продашь и меня самого, и раввина, и себя, если кто тебѣ посулитъ за насъ всѣхъ, гуртомъ, три копы, враздробъ по полтинѣ, и тогда отецъ Авраамъ снова перевернется, а стало быть опять ляжетъ себѣ попрежнему на спину! Между тѣмъ цыганъ бородатый подошелъ къ Ицькѣ, жиду вороватому, сталъ смотрѣть въ зубы клячамъ его; божился, что одна сапатая и съ мокрецомъ, другая запалена и разбита на переднія ноги, третья на заднія, а самъ той порой положилъ куцой кляченкѣ, на которой жидъ вороватый сидѣлъ, чесноку въ уши; отъ этого кляча начала жида бить, замотала головой, начала лягать задомъ и передомъ и понесла. Жидъ вороватый скорчился, какъ

заяцъ въ логовищѣ, прижался къ клячѣ, словно приросъ, оплелся ногами и руками, глаза зажмурилъ и скоро по чистому полю и съ клячею своей изъ виду ушелъ. Тогда цыганъ бородатый поймалъ одну изъ клячъ жидовскихъ, которыхъ жидъ велъ въ поводу и со страху упустилъ изъ рукъ, сѣлъ на нее, гналъ, сломя голову, по всѣмъ улицамъ Бердичева, вплоть до табора своего цыганскаго, и здѣсь принялся передѣлывать жидовскую клячу по-своему, чтобы ея никто не могъ признать. Онъ подковы содралъ и схоронилъ въ мѣшокъ свой, на старое желѣзо, на ломъ; хвостъ обрубилъ вплоть по самую рѣпицу и продалъ жидамъ на гренадерскіе султаны; щетки и уши остригъ, копыта подчистилъ, смочилъ правый окорокъ водою, взъерошилъ шерсть и поставилъ теплымъ желѣзомъ фальшивое тавро, на подобіе того, какъ наши барышни, бывало, кудри завивали, — а потомъ свалилъ ее, счистилъ терпугомъ зубы, на которыхъ черныя чашечки означали побольше двѣнадцати годовъ, и поставилъ жегаломъ, раскаленнымъ желѣзомъ, новыя, которыя показывали шесть. Потомъ надѣлъ онъ на клячу новую сыромятную обротку или недоуздокъ, посадилъ на нее сына и повелъ на ярмарку продавать. Здѣсь бѣдный жидъ вороватый уже похаживалъ, затылокъ почесывалъ и торговалъ лошадей; ему надо было ѣхать домой и прикупить третью клячу, вмѣсто той, которую цыганъ у него увелъ. А цыганъ бородатый, выхваливая товаръ свой, щелкалъ мальчика, сына своего, который сидѣлъ на клячѣ, бичомъ по ногамъ, такъ что тотъ ревѣлъ, что коза на привязи, а самъ цыганъ приговаривалъ: «Вотъ добро золотое, вотъ добро! Мой конь и въ воду и въ огонь; видите, люди добрые, мальчикъ плачетъ, слезами заливается, съ конемъ своимъ дорогимъ прощается! Эхъ, жаль батьки, да везти на погостъ; жаль коня, да копѣйка

нужна!» А жидъ вороватый уши развѣсилъ и бороду распустилъ; думаетъ: «вотъ чалая кляченка, на мою похожа, пара моей рыженькой, хоть и не подъ масть; дай, куплю»; переглядѣлъ ее, перещупалъ кругомъ, нашелъ по зубамъ шести годовъ и заплатилъ цыгану бородатому за нее 50 злотыхъ, по нашему 30 рублей чистыми денежками. Цыганъ положилъ денежки въ гаманецъ, побожился, что дешево продалъ, подалъ жиду изъ полы въ полу сыромятный поводъ, заставилъ сына еще поплакать по клячѣ, да и былъ таковъ. А жидъ пріѣхалъ къ брыкѣ своей и приказалъ батраку Ивану закладывать лошадей.

ПОХОЖДЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

Иванъ заложилъ тройку свою, жидъ вороватый посадилъ въ брыку два-сорока жидовъ, жидовокъ, жиденковъ, завалилъ ихъ перинами, подушками, мѣшками и сундуками, и отправился обратно въ Шкловъ. Дорогою батракъ Иванъ сказалъ хозяину своему, жиду вороватому: «Ну, счастливъ твой Богъ, Ицька, что ты клячу свою нашелъ; я такъ уже думалъ, что пропала!»—Нашелъ? нашелъ? Кто ее нашелъ, Иванъ? Я самъ чуть живъ остался, насилу справился съ кобылкою, на которой самъ сидѣлъ, а чалая моя пропала; я, видишь, подобралъ ей подъ масть, прикупилъ опять чалую же. Тогда Ванюха ему сказалъ: «Дурень ты, дурень, Ицька: молодецъ ты съ возъ, а ума въ тебѣ и съ накопыльникъ нѣту; это твоя кляча и есть; видишь, хромаетъ она на правую заднюю, да на лѣвую переднюю, и крива на лѣвый глазъ, да только у нея хвостъ обрубленъ, да зубы поддѣланы, такъ что она ни клока сѣна, ни зерна овса не угрызетъ!» — Чтобъ ему моими деньгами подавиться, чтобъ ему вѣкъ

дырявый гаманъ носить! — сказалъ тогда жидокъ вороватый:—чтобъ на него нашелъ черный день, чтобъ крыльцо его бурьяномъ поросло, и никто по немъ тропы не торилъ, пути не прокладывалъ!—«У него и хаты не бывало, не то, что крыльца», сказалъ разсмѣявшись Иванъ; «онъ проживаетъ тамъ, куда легкая нога его занесетъ; полдничаетъ, гдѣ съ легкой руки лакомый кусокъ стянетъ; ночуетъ подъ тѣмъ тыномъ, гдѣ ночь настигнетъ, да сонъ одолѣетъ; а тропу самъ во всѣ четыре стороны прокладываетъ!»

— Фуръ, фуръ,—сказалъ жидъ вороватый батраку Ивану: — пошелъ, пошелъ: намъ надобно поспѣть до заката солнца въ корчму пріятеля моего, Израиля, чтобы не зашабашевать въ дорогѣ.

А вы знаете, что жиды празднуютъ не воскресенье, а субботу, что это называется у нихъ *справлять шабашъ*, *шабашевать*, и что они тогда ничего въ руки не берутъ, ни къ какому дѣлу не приступаются и дорогою ѣхать не могутъ; а начинается шабашъ въ пятницу, съ вечера, лишь только солнышко закатится, а оканчивается съ закатомъ же солнца въ субботу.

Иванъ погналъ клячъ своихъ и съѣхался вдругъ съ другою жидовскою брыкою, которая была биткомъ набита кладью и жидами всякаго калибра, отъ мала до велика, и ѣхала встрѣчу первой, изъ Шклова въ Бердичевъ. На козлахъ также сидѣлъ батракъ-хохолъ и кричалъ нашему Ивану: *сторонись!* Иванъ ему отвѣчалъ: *сторонись*, а самъ не сворачивалъ. Съѣхавшись вплотную, стали оба кучера другъ друга бранить и кричать: *сворачивай!* а сами не трогались съ мѣста. Жиды, всего-на-все счетомъ въ двухъ брыкахъ $49^1/_2$ человѣкъ, высунули головы въ мохнатыхъ шапкахъ во всѣ стороны и кричали всѣ въ одинъ голосъ. Это кучерамъ ихъ надоѣло и наскучило; тотъ,

который ѣхалъ встрѣчу, соскочилъ съ козелъ, подошелъ къ брыкѣ Ицьки Гобеля и началъ длиннымъ бичомъ стегать зря по жидамъ. Иванъ нашъ глядѣлъ, глядѣлъ и, вознегодовавъ наконецъ на такое беззаконіе, сказалъ: «А за что ты моихъ жидовъ бьешь? Пойду же и я твоихъ бить!» И самъ слѣзъ съ козелъ, подошелъ къ другой брыкѣ и началъ тоже, не щадя конскаго волоса, которымъ недавно навилъ плеть свою, стегать въ крестъ и въ переплетъ жидовъ своего противника.

«Спасибо тебѣ, Иванъ, мое сердце», сказалъ жидъ вороватый, когда наконецъ послѣ этой перепалки брыки разъѣхались, «спасибо, что за насъ постоялъ; я за это дамъ тебѣ стаканъ наливки и кусокъ сала.» А Иванъ поклонился, да сказалъ спасибо; онъ, какъ хохолъ, былъ большой охотникъ до сала и до водки.

ПОХОЖДЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Иванъ доставилъ брыку свою къ Израилевой корчмѣ засвѣтло, и какой то проѣзжій весельчакъ подошелъ и началъ считать жидовъ въ брыкѣ, указывая на нихъ пальцемъ: одинъ, два, три, четыре и проч. Этого жиды страхъ не любятъ; они всѣ какъ шмели зашумѣли и начали вылѣзать и валиться съ брыки во всѣ стороны, чрезъ край и чрезъ верхъ.

«Израиль», сказалъ Ицька, жидъ вороватый, корчмарю, и положилъ кусокъ мяса, который привезъ съ собою, на лавку: «говори мнѣ скорѣй, какъ ты готовишь битки, которые я у тебя намедни ѣлъ? Говори скорѣй, а я буду записывать, чтобы успѣть изготовить ихъ до шабаша: сказывай!»

Израиль позвалъ жену свою Рахиль, дочь Сузьку и тещу Эстеръ, и стали онѣ всѣ въ голосъ говорить Ицькѣ: сколько надобно положить перцу, сколько соли,

сколько цибули (луку), сколько оцту, т. е. уксусу, а Ицька записывалъ мѣломъ, на лосиныхъ панталонахъ своихъ, которыя были сдѣланы изъ телячьей шкуры. Но вдругъ, отколь ни взялась, собака, ухватила Ицькино мясо, выскочила въ окно и побѣжала

Ицька закричалъ: «*вай миръ, гвалтъ!*» кинулся за нею, вытряхнулъ изъ бокового кармана своего всѣ крохи и началъ ими манить къ себѣ собаку. Но когда она, не слушая его, продолжала ѣсть мясо, и онъ, за нею до поту лица угонявшись, не могъ его отнять, тогда онъ сказалъ: «Чтобы тебѣ этимъ кускомъ подавиться, чтобъ тебѣ вѣкъ свой ѣсть — не наѣсться, пить—не напиться, чтобы тебѣ цыгану бородатому въ руки попасться!» А самъ, поставивъ ногу на колесо брыки своей, стеръ рукавомъ все, что мѣломъ записывалъ, примолвивъ: «Пусть же будетъ ни тебѣ ни мнѣ; не будешь и ты знать, какъ изъ этого мяса битки готовить!» Я упомянулъ, что Ицька закричалъ: *вай миръ, гвалтъ!* это нѣмецкое: weh mir, Gewalt! Польскіе, прусскіе и австрійскіе жиды говорятъ искаженнымъ нѣмецкимъ языкомъ, въ который вмѣшиваютъ и вставляютъ множество еврейскихъ и областныхъ польскихъ, русскихъ и малороссійскихъ словъ; пишутъ они еврейскими буквами, а еврейскій языкъ извѣстенъ только раввинамъ и ученымъ. Жиды западной Европы, наводнившіе даже Турцію, говорятъ искаженнымъ испанскимъ языкомъ. Довольно странно, что, служа примѣромъ упорнаго постоянства во всемъ родномъ и народномъ, евреи утратили общій языкъ свой.

«*Що ты робишь?* Что ты это дѣлаешь?» спросилъ жидъ вороватый какого то бурлака-побродягу, сидѣвшаго на берегу рѣки и глядѣвшаго пристально на другой берегъ. — А я вотъ ту уху хлебаю, что рыбаки на томъ берегу варить собираются!—отвѣчалъ этотъ;

и Ицька закричалъ во все жидовское горло: «Гвалтъ!» ибо узналъ въ бурлакѣ цыгана бородатаго; «гвалтъ, караулъ!» кричалъ Ицька, и приноравливался хватить съ цыгана шапку: «караулъ! ты мою лошадь укралъ!»— Дуракъ ты круглый, — отвѣчалъ ему цыганъ бородатый:—и шальной жидъ; не твоей дряни чета аргамаки черезъ мои руки проходили, да этого шуму не бывало; кляченки твоей я не кралъ, а вымѣнялъ ее у барышника, татарина, на три курдюка бараньихъ да на плеть; да и одной плети моей кляча твоя не стоила! А какъ только дознался я, что это кляча твоя, такъ я и самъ за тобою въ погоню пошелъ; мнѣ твоего добра не нужно, хоть себѣ имъ челны конопать, хоть мосты мости! Вотъ тебѣ деньги твои назадъ: мелкихъ нѣтъ, а съ 50-ти рублей двѣ красненькихъ подай сюда сдачи, да и квиты!

Жидъ вороватый свѣту не взвидѣлъ, когда бѣленькая мелькнула у него въ глазахъ. Онъ вынулъ поскорѣй изъ мошенки, гдѣ, по словамъ его, одни муравленые черепки побрякивали, пять карбованцевъ, т. е. пять цѣлковиковъ, и долго торговался, покуда рѣшился, какъ слѣдовало по курсу, добавить четвертачекъ. Солнце закатилось, и онъ поспѣшилъ въ корчму на шабашъ. Цыганъ пошелъ потолковать съ батракомъ Иваномъ.

ПОХОЖДЕНІЕ ПЯТОЕ.

Рано утромъ жидъ вороватый вдругъ кинулся изъ корчмы на дворъ, и всѣ жиды, жидовки и жиденята за нимъ. «Что за шумъ, а драки нѣтъ?» спросилъ Иванъ: «дурману вы, что ли, объѣлись, чего вы кидаетесь, словно угорѣлыя кошки?» — Гдѣ цыганъ? — кричалъ Ицька, жидъ вороватый:—гдѣ цыганъ?—«На что тебѣ цыгана?»—спросилъ батракъ Иванъ.—Онъ оплелъ меня,

погубилъ мою голову, и со мною пропадетъ сто головъ: и дѣти и внучата мои, и бабка и теща, и жена и свекровь, и золовка и невѣстка. Онъ далъ мнѣ ассигнацію поддѣланную, по-русски фальшивую, и взялъ съ меня сдачи пять цѣлковиковъ оловянныхъ да четвертачекъ настоящій, государственный, серебряный! Сердце мое, Иванъ, гдѣ цыганъ? вѣдь онъ былъ здѣсь!—«Когда брали Анапъ»,—отвѣчалъ Иванъ «тогда стоялъ подъ стѣнами корабъ; а когда взяли, такъ увели. Цыгана нѣтъ давно; онъ ушелъ, и слѣдъ простылъ.»—Вай, вай миръ! О горе мнѣ!—кричалъ жидъ вороватый и билъ себя кулаками въ грудь, и всѣ жиды и жидовки кричали въ голосъ: «ой вай миръ», и рвали на себѣ волосы. Такъ они проревѣли и проплакали цѣлый день, до заката солнечнаго, когда шабашъ кончился, а потомъ пріѣзжіе стали снаряжаться въ путь. Иванъ смазалъ и заложилъ брыку; жиды, перины, подушки, жидовки, сундуки, мѣшки и жиденки полѣзли на свои мѣста, а Иванъ ударилъ по клячамъ, тряхнулъ вожжами, и тройка наша поплелась рысцою въ путь.

«Посмотрите, господа попутчики, посмотрите», началъ одинъ жидокъ, перевалившись бокомъ черезъ грядку: «какъ высоко летитъ стадо дикихъ гусей; да и не то диво еще, что высоко летятъ, а то, что у нихъ всегда есть вожакъ; всегда одинъ гусь напереди летитъ!»—А сколько ихъ всѣхъ? — спросилъ лукавый Ицька, жидъ вороватый. Тотъ началъ считать, и насчиталъ 27.—Такъ развѣ имъ можно,—спросилъ опять Ицька:—всѣмъ двадцати семи гусямъ напереди летѣть?—Жиды засмѣялись, и за это-то красное словцо прозвали нашего Ицьку вороватымъ. Ицька прозвищемъ этимъ обязанъ собственно своей бойкости.—«А шкода», сказалъ тотъ же жидокъ, то есть по нашему, «жаль, что у насъ нѣту ружья, а то бы настрѣляли дорогою

дичины!»—Небось ты храбрый?—спросилъ Ицька вороватый:—ты бы сейчасъ за ружье, на руку къ щекѣ, да и бацъ? — «Нѣтъ», отвѣчалъ жидокъ, «я этого не говорю; у насъ какъ-то стояли драгуны на постоѣ, такъ и то, бывало, мать строго наказывала намъ, малымъ ребятишкамъ, не подходить въ уголъ, къ саблямъ драгунскимъ: неравно, говорила, которая изъ нихъ набита, то есть заряжена, такъ чтобы не выстрѣлила; съ тѣхъ поръ я не люблю огнестрѣльнаго оружія, и, нечего хвалиться, стрѣлять самъ не стану. Но у меня былъ въ Хоролѣ двоюродный братъ, который мнѣ приходился съ родни, потому что когда на его бабушкѣ сарафанъ горѣлъ, такъ мой дѣдушка пришелъ, да руки погрѣлъ; этотъ двоюродный братъ мой бывало стрѣливалъ и изъ ружья, и изъ пистоля.» — И пулю клалъ? — спросили всѣ жиды въ одинъ голосъ, удивляясь такой неимовѣрной отвагѣ единовѣрца своего.—«Нѣтъ», отвѣчалъ жидокъ: «нѣтъ, онъ такъ, пескомъ заряжаетъ, потомъ вскинетъ къ щекѣ, да и закричитъ во всю глотку: *пафъ!*»—Ай да двоюродный братъ твой,—сказали всѣ жиды въ голосъ:—вотъ этакого человѣка надобно бы намъ возить съ собою, не для того, чтобы дичину стрѣлять, а для того, чтобы отъ гайдамаковъ обороняться. Битая изъ ружья дичина *не коширная*, и ѣсть ее не годится.—Жиды ѣдятъ только скотину и живность, которую рѣзалъ ихъ, жидовскій, рѣзникъ, а прочее мясо и дичину называютъ *трефнымъ*, или *не коширнымъ*, и не ѣдятъ его. Также называютъ они *трефною*, по примѣру нашихъ раскольниковъ, ту посуду, изъ которой поятъ и кормятъ собакъ своихъ и иновѣрцевъ. Батрачка или работница, христіанка, которыхъ, несмотря на строгое запрещеніе указомъ, у жидовъ множество, работницы эти ѣдятъ изъ одной чашки съ коровою, которую и кормить и доить обязаны.

Жидки наши пустились въ путь отъ корчмаря Израиля вечеромъ, по закатѣ солнца, и теперь ѣхали лунною ночью. Вдругъ гайдамакъ, съ дрючкомъ преогромнымъ на плечахъ, ухватилъ коней подъ уздцы и кричалъ: «Стой!» Это былъ цыганъ бородатый, который, узнавъ отъ Ивана батрака, что жидки ѣдутъ въ Шкловъ, вышелъ впередъ и выждалъ ихъ въ привольномъ мѣстѣ, чтобы промѣнять у Ицьки воровавтаго оловянные рубли на серебряные. Иванъ остановился. Цыганъ подошелъ къ брыкѣ и приказывалъ, буйнымъ голосомъ своимъ, жидкамъ вылѣзать вонъ. Но жидки всѣ поприжались въ кучу, въ самый задъ длинной брыки, и Ицька тихо про себя нашептывалъ: *дзынь-дзынь!*—и никто не трогался съ мѣста. Цыганъ бородатый ударилъ дрючкомъ по верху холстомъ обтянутой брыки, такъ что у жидковъ головы затрещали отъ переносья до самаго затылка, и душа ушла, не только въ пятки, но даже и въ самыя закаблучья Всѣ жидки полѣзли на корачкахъ изъ брыки, придерживаясь — каждый, одной рукой за ермолку свою, а другою за длинныя фалды кафтана ползущаго передъ нимъ жидка. Ухватки и ужимки каждаго изъ нихъ достойны были бы не пера, а кисти. Иванъ, сидя спокойно на козлахъ, вырубалъ огня на трубку и ждалъ конца пѣсни. Я сказалъ уже, что жидковъ было въ брыкѣ безъ малаго два-сорока; но когда цыганъ, для угрозы, повернулъ одному изъ нихъ, часовому мастеру Зенвелю, голову такъ, что затылокъ пришелся противу грудной кости, а носъ противу позвоночнаго столба, то всѣ остальные, закричавъ въ голосъ: *ой вай миръ!* высыпали послушно гамзы и мошенки свои къ цыгану въ шапку, не исключая даже и Ицьки и муравленыхъ его черепковъ. Послѣ этого цыганъ бородатый, изъ милости даровавъ имъ всѣмъ животъ, повелѣлъ только надѣть кафтаны на-изнанку,

подпоясаться, сѣсть въ брыку и гнать во весь духъ. Всѣ кинулись къ брыкѣ, давили, какъ ошалѣвшіе, другъ друга, кричали, лѣзли, сбили Ивана съ козелъ, ударили всѣмъ кагаломъ, то-же, что по нашему цѣлымъ міромъ, по клячамъ, и понеслись, сломя голову, чрезъ пень чрезъ колоду. Одинъ жидъ уронилъ шапку— дуютъ безъ оглядки; другой и самъ свалился — имъ нужды нѣтъ; наконецъ ось крякнула пополамъ, колесо соскочило—они гонятъ, какъ *косой* отъ борзыхъ; и на трехъ колесахъ, бокомъ, безъ одной шапки и безъ одного жидка, боронили дорогу во всю Ивановскую, вплоть до Шклова.

ПОХОЖДЕНІЕ ШЕСТОЕ.

Прикативши къ воротамъ Шлёмки Берковича, кони, по старой привычкѣ, остановились на всемъ скаку, и бока и пахи у нихъ ходили, какъ досчатые бока и кожаные пахи кузнечнаго мѣха; а ноздри дули и пыхтѣли, какъ жерло его. Весь кагалъ шкловскій сбѣжался около жидковъ нашихъ, которые вылѣзали, одинъ за однимъ, въ вывороченныхъ на-изнанку халатахъ; когда же жители Шклова услышали о причинѣ таковаго переворота обычнаго порядка вещей, то, всплеснувъ руками и покачивая головами, дружно, въ голосъ, закричали всѣ: *ой вай миръ!* Отъ этого, близкаго сердцу, родного воззванія, и наши жиды пришли въ себя и прокричали такъ же согласно: *ой вай, вай миръ!* Потомъ скинули они халаты свои, надѣли ихъ на-лицо, сбившись въ кучу, прошумѣли и прокричали до поздняго вечера, а потомъ разошлись по домамъ.

Ицькина жена Хайка и дочь Ципе накормили его локшанами, лапшердаками, напекли ему куглей; но, припоминая себѣ утрату Ицьки, часто покрикивали:

ой вай миръ! и наконецъ всѣ они улеглись, на пуховикахъ и подъ пуховиками же, на глиняномъ полу, въ грязной, тѣсной, чеснокомъ напитанной комнатѣ.

У Ицьки сердце все еще стучало вслухъ. Онъ заснулъ, не могши отбиться отъ видѣнія, въ которомъ главное лицо игралъ бурлакъ-гайдамакъ; и во снѣ же ему пригрезился страшный, неумолимый цыганъ, съ ножомъ въ рукахъ. Ицька закричалъ во всю жидовскую глотку и схватилъ жену свою за горло; она обороняясь ухватила его за бороду. «Хайка, меня держатъ и собираются рѣзать», закричалъ онъ, «и это вѣрно гайдамакъ-цыганъ!» — Ицька, меня держатъ и рѣжутъ, — отвѣчала она; — и это цыганъ! — «Что же мнѣ дѣлать?»—спросилъ онъ.—Соберись съ силами,— отвѣчала Хайка: — понатужься, *цвингъ диръ*, возьми гайдамака за ноги и выкинь его изъ окна. — Ицька вскочилъ впотьмахъ, ухватилъ жену свою Хайку, которую держалъ уже за глотку, за ноги и махнулъ ее за окно; потомъ поспѣшно опустилъ оконце и приперъ его шесткомъ, чтобы гайдамакъ не влѣзъ снова, а самъ забился подъ перины. Хайка, очутившись среди улицы, встала, подперлася руками и подняла такой жалобный и тоскливый вой: *ой вай, вай миръ!* что весь кагалъ жидовскій вскорѣ сбѣжался съ каганцами, съ сальными огарками въ рукахъ; всѣ обступили заливающуюся въ три ручья слезами Хайку, и спрашивали, всѣ въ голосъ, другъ у друга, поматывая головами и потряхивая пейсиками: «*вусъ ись дусъ? вусъ ись дусъ?* что это? что такое?» Хайка разсказала, захлебываясь, что гайдамакъ-цыганъ, — бо-дай ему на томъ свѣтѣ тяжко икнулось, бо-дай ему вѣкъ свой цыбули не бачить, бо-дай ему свинымъ ухомъ подавиться,—что цыганъ, который ограбилъ мужа и честныхъ жидковъ на дорогѣ, нынѣ выкинулъ ее изъ собственной хаты ея и принялся рѣзать мужа. Жидки,

потолковавши всѣмъ кагаломъ объ этомъ, положили: поймать цыгана бородатаго, во что бы ни стало, непремѣнно; а какъ, несмотря на стукъ ихъ у дверей, испуганный Ицька не отпиралъ, да и не отзывался, то они и присудили: самому бойкому жиду, рѣзнику Гершкѣ завзятому, лѣзть въ окно, изъ котораго выкинули Хайку, и обѣщались всѣ послѣдовать за нимъ, дружнымъ оплотомъ. Гершка не даромъ пользовался прозваніемъ *завзятаго*, т. е. бойкаго или удалого: онъ, не медля нимало, вооружился ножомъ своимъ, подошелъ, подъ конвоемъ дружины своей, подъ завѣтное окно, выбилъ стекло и полѣзъ смѣло головою въ оконницу. Ицька, доведенный симъ нахальнымъ нападеніемъ до крайняго отчаянія, рѣшился твердо, хотя у него зубъ на зубъ не попадалъ и холодный потъ выступалъ на лбу, рѣшился отстаивать до-нельзя добро свое, и полагая, что цыганъ бородатый, котораго онъ выкинулъ за окно, лѣзетъ опять къ нему въ гости чрезъ выбитое стекло, сталъ у окна твердою ногою, распустилъ десятокъ костлявыхъ пальцевъ своихъ, и ожидалъ врага въ этомъ отчаянномъ положеніи. Лишь только Гершка завзятый головою своею полѣзъ въ оконце, какъ Ицька вцѣпился когтями въ длинныя кудри его и началъ съ отчаянною силою стучать и возить бѣднаго Гершку рыломъ по оконничной доскѣ. Рукодѣліе это ему такъ слюбилось, голова Гершкина ему такъ по рукѣ пришлась, и со страху онъ до того одурѣлъ, что, не слушая или не слыша ни родного, жалостнаго крика и визга бѣднаго Гершки, ниже единогласнаго воззванія цѣлаго кагала, ободрявшаго Гершку полѣзать проворнѣе и смѣлѣе, продолжалъ толочь Гершкину голову объ доску, съ такимъ же неутомимымъ рвеніемъ, какъ, говорятъ, на томъ свѣтѣ окаянные грѣшники толкутъ въ большихъ чанахъ или кадкахъ воду. Наконецъ весь кагалъ жидовскій, вся дру-

жина ухватилась за ноги бѣднаго Гершка и вытащила его за-мертво изъ оконницы, вырвавъ силою изъ кровожадныхъ рукъ мнимаго гайдамака.

ПОХОЖДЕНІЕ СЕДЬМОЕ.

Такимъ образомъ, Гершка завзятый былъ, правда, спасенъ отъ мученической, жестокой смерти; но если читатели, по сродному имъ состраданію, полагаютъ, что симъ исполнилась мѣра истязаній его, то они ошибаются. Кому толчокъ, тому и носокъ; а щипаную курицу и ворона долбитъ. Ицька, жидъ вороватый, въ неукротимой мести своей, одержавъ столь значительную и блистательную побѣду надъ цыганомъ бородатымъ, до того распотѣшился и расходился, что выскочилъ, заревѣвъ уже не своимъ голосомъ, изъ дверей въ погоню за людоѣдомъ; жидки, увидѣвъ за собою, впотьмахъ, полунагого человѣка съ дубиною, кинулись всѣ, сломя голову, и не успѣвъ подхватить башмаковъ своихъ въ руки, отъ чего и растеряли ихъ всѣ до одного,—кинулись, говорю, прямо къ раввину Аврааму на дворъ. Здѣсь ворота были заперты, но подворотня не вставлена, почему всѣ жидки, ринувшись ницъ, проползли подъ воротами и протащили бѣднаго, безчувственнаго Гершку за руки и за воротъ, тѣмъ же трактомъ, къ раввину на дворъ. *Почти* протащили, хотѣлъ я сказать, потому что они проволокли его по самыя колѣна, когда разъяренный Ицька настигъ аріергардъ обращеннаго въ бѣгство непріятеля, ухватилъ судорожно-сомкнувшеюся рукою голыя пятки одѣтыхъ въ сѣрые чулки ногъ Гершкиныхъ и сильною мышцей загнулъ ихъ отъ земли къ верху, къ воротамъ, при чемъ, какъ Гершку волокли брюхомъ къ верху, а спиною внизъ, весьма естественно, что разъяренный

Ицька, искуснымъ рукочинствомъ своимъ, перегнулъ, наперекоръ природному устроенію колѣннаго сустава, Гершкины ноги въ самыхъ колѣнахъ, подъ прямымъ угломъ впередъ. Съ этой поры Гершка ходилъ какъ лѣшій, сгибая колѣни въ обратномъ смыслѣ, впередъ, былъ весьма не твердъ на ногахъ, а потому на всю жизнь свою и получилъ прозваніе *разбитаго на заднія ноги*.

На утро весь Шкловъ, отъ мала до велика, былъ на ногахъ; крикъ, гамъ, шумъ повсюду, учиняли повальный обыскъ: шарили по всѣмъ домамъ, не укрылся ли гдѣ разбойникъ, цыганъ бородатый? Ицька перешарилъ всѣ подвалы и чердаки, клялся и божился, что самъ его видѣлъ и въ рукахъ держалъ, но по долгимъ и тщетнымъ поискамъ возвратился, наконецъ, запыхавшись, домой, взявъ мимоходомъ у едва не овдовѣвшей, по милости его же, Ицьки, жены рѣзника Гершки завзятаго, пять съ половиною фунтовъ коширной баранины.

ПОХОЖДЕНІЕ ВОСЬМОЕ.

Отдавъ женѣ своей Хайкѣ, которая покряхтѣла еще, послѣ вечерошняго переполоху, весь день, баранину, чтобы она ему сварила юшку, сталъ Ицька разспрашивать: чѣмъ она, въ отсутствіе его, промышляла и много ли уторговала? Хайка разсказала ему, какъ она обсчитала хохла, заставивъ его сдать ей со злотаго сдачи три гроша, которые по разсчету приходилось получить ему съ нея; показала неоцѣненный стаканъ зеленаго стекла, который привезъ ей *свой человѣкъ*, чуть ли не изъ самаго Брянска; стаканъ, въ которомъ, несмотря на широкій раструбъ или развалъ края, полость оканчивалась рюмочкою и дно было добрыхъ

четыре перста толщиною; показала новый хозяйственный способъ, ею изобрѣтенный, низать монисто, а именно: закидывая послѣ каждой бусы по доброму узлу, чѣмъ выгадывала на нитку отъ пяти до семи бусъ; но верхъ необычайно даровитой смѣтливости ея было изобрѣтеніе — продавать, въ подрывъ всѣмъ перекупкамъ, т. е. торговкамъ, покупаемые ею у иностраннаго нѣмецкаго пекаря пряничные орѣхи, дешевле самого хозяина, и имѣть съ этого оборота барышъ! Нѣмецъ продавалъ ихъ по 20 копѣекъ фунтъ; Хайка покупала ихъ у него съ вечера, ставила въ сырой *лёхъ*, т. е. въ подвалъ, отъ чего они напитывались влагою и становились тяжеле, и, продавая ихъ по злотому и грошей семь, то есть по 18 копѣекъ фунтъ, выручала она чистаго барыша по два гроша съ фунта. Ицька вороватый, похваливъ Хайку за такую оборотливость и поставивъ засаленнымъ дѣткамъ своимъ досконалую маму ихъ въ примѣръ, ухватилъ мохнатую шапку, трость и отправился шнырять по городу.

На базарѣ стеклася необычайная толпа, все билось и тѣснилось въ кучу смотрѣть на проѣзжаго пресловутаго фигляра, который разъѣзжалъ со свитою своей, въ плащахъ, шитыхъ золотомъ, по улицамъ и обѣщалъ показать, *въ первый* и *въ послѣдній*, доселѣ неслыханное и невиданное. Ицька, не могши добиться до подмостковъ, несмотря на то, что кричалъ отважно: *шварцъ юръ!* и продирался въ оба локтя, дотолкался наконецъ до дегтярной лавки Шмуля Рафаловича, передъ которою стояла торчмя порожняя смоленая бочка, ухватился за нее, уперся руками и ногами и длинною тростью въ спины, плеча и бока окружающихъ бочку, взлѣзъ наконецъ, съ необычайнымъ усиліемъ, и сталъ на нее, подпершись тростью, какъ пѣтухъ-побѣдитель, похлопывая крыльями, становится,

взобравшись на сосѣдній тынъ или плетень. Но не успѣлъ славный штукарь засучить рукава, какъ толпа около бочки начала хвататься за край ея и протягивать шеи. Бочка закачалась; Ицька нашъ, помахивая руками, какъ сухопутная мельница, старался удерживать равновѣсіе и, переступая съ ноги на ногу, вдавилъ дно бочки, провалился, полетѣлъ въ нее и вынужденнымъ нашелся всматриваться, по временамъ, въ неслыханныя и невиданныя чудеса жида-итальянца, присѣдая и подпрыгивая непрестанно, такъ какъ онъ на бѣду на цѣлую четверть не доросъ до уторъ дегтярной бочки. Когда *гармидаръ* на базарѣ кончился, единовѣрцы обратили наконецъ вниманіе свое на бѣдствующаго Ицьку, попавшагося какъ крыса въ ловушку, опрокинули бочку, а съ нею и жидка, вытащили несчастнаго, высмоленнаго съ ногъ до головы, и отпустили его домой для просушки.

«Чтобъ вамъ вѣкъ свой кучки подъ крышей праздновать и мацовъ [1]) не видать; чтобъ вамъ съ просонковъ когда-нибудь своей рукой перекреститься! Чтобъ у васъ, окаянныхъ, бороды повылиняли!..» Такъ бранился Ицька бѣднякъ, пробираясь, въ смоленомъ халатѣ своемъ, домой—бранилъ, самъ не зная, кого.

«Ѣсть давай!» закричалъ онъ Хайкѣ, вступая въ хату свою: «я проголодался, давай сюда мою юшку съ бараниной!» Хайка, всплеснувъ руками, закричала: *ой вай, вай, вай!* и повѣдала ему, какъ кошка съѣла его мясо. «Съѣла?» спросилъ Ицька, «съѣла? и все?»—Все до тла,—отвѣчала отчаянная Хайка, и ставила старшую дочь свою Ципе свидѣтельницею этого неслыханнаго несчастія. Ицька, не говоря ни слова, велѣлъ подать себѣ безменъ, поймалъ кошку, поддѣлъ ее живую крючкомъ за воротникъ, прикинулъ на безменъ, и

---

[1]) Прѣсныя лепешки.

закричалъ: «Хайка! Кошка тянетъ ровно $5^1/_2$ фунтовъ; итакъ, это мясо мое мясо: а гдѣ же теперь наша кошка? Гдѣ наша кошка?» повторялъ онъ, приступая къ Хайкѣ: «это мое мясо, подай мнѣ за разъ кошку!»

ПОХОЖДЕНІЕ ДЕВЯТОЕ.

Между тѣмъ, нечаянное и неожиданное обстоятельство лишило нашего цыгана вороватаго ровно половины всего наличнаго имущества его, состоявшаго въ звонкой монетѣ. Обстоятельство это требуетъ поясненія. Жиды Подола, Волыни, Литвы и Украйны предприняли, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, небольшой оборотецъ, который имъ удался совершенно и лишилъ большую часть жителей, а особенно неимущихъ, значительной части малаго ихъ достоянія. Жиды, условившись, начали пускать въ оборотъ, вмѣсто нашихъ русскихъ грошей, копѣйки, денежки, различныя старинныя мѣдныя монеты и даже шелеги; это тѣмъ удобнѣе было исполнить, что въ тѣхъ мѣстахъ жители уже привыкли къ разнороднымъ польскимъ и австрійскимъ грошамъ. Въ томъ числѣ явилось, какъ упомянуто, значительное количество нашихъ старыхъ и новыхъ копѣекъ и денежекъ и даже полушекъ: все это ходило подъ общимъ именемъ грошей и цѣною въ русскій грошъ. Пять полушекъ, пять денежекъ, пять шелеговъ, словомъ, — пять мелкихъ мѣдныхъ монетъ составляли гривну; или, какъ тамъ на гривны не считаютъ, 30 монетокъ шло на злотый, равняющійся нашему полтиннику или 60 копѣйкамъ. Въ короткое время жиды успѣли вывезти изъ Подола и Волыни всѣ гроши и замѣнить ихъ копѣйками, шелегами и полушками. Насталъ роковой годъ, кажется 1821-й, и все торговое сословіе польской Украйны, то есть все

нынѣшнее поколѣніе жидовъ, объявило единодушно и единогласно, что грошъ содержитъ въ себѣ двѣ копѣйки, копѣйка двѣ деньги, деньга двѣ полушки, что иностранная мѣдная монета не ходитъ въ Россіи, а шелеги никакой цѣны не имѣютъ У нашего цыгана было около того времени заготовлено въ прокъ и въ запасъ, на зиму, полный глекъ, т. е. глиняный кувшинъ, мелкой мѣди Упомянутый еврейскій оборотъ сдѣлалъ ему столь значительный подрывъ, что онъ нашелся вынужденнымъ изобрѣсть какое-либо средство, для вознагражденія, до заморозковъ, траты этой: иначе запасъ шелеговъ могъ истощиться до весны, то есть до подножнаго корма, для него и краденой его кобыленки. Самый вѣрный и обыкновенный оборотъ цыганскій это торгъ и мѣна коней; варганы какъ-то немного приносятъ доходу; лошадей мало кто куетъ, а ѣздятъ жиды и хохлы большею частію на некованныхъ; такъ осталось только одно: ухватиться опять за конскій промыселъ.

Цыганъ рѣшился придержаться и въ этомъ случаѣ стараго пріятеля своего, Ицьки вороватаго. Старый другъ лучше новыхъ двухъ. Зная, что онъ дома, въ Шкловѣ, промышляетъ иногда передаточнымъ товаромъ, хотя самъ явно воровать трусилъ, подослалъ цыганъ къ Ицькѣ товарища своего, велѣлъ столкнуться съ нимъ на базарѣ и предложить добраго рыжепѣгаго коня,—побожившись, что конь этотъ издалека, и отвѣчая за то, что никто его у Ицьки не признаетъ. Перемолвившись съ жидкомъ, цыганъ обѣщалъ привести коня въ эту или на слѣдующую ночь. Жидъ велѣлъ хозяйкѣ своей припасти и держать на-готовѣ дорожный погребецъ его, то есть сальную, грязную тряпицу, въ которую было завернуто по ломтю всякой всячины изъ съѣстного, а самъ легъ спать, не раздѣваясь. Немного погодя, Хайка услышала стукъ

на дворѣ и перепугалась до смерти: она не могла еще забыть цыгана. Но Ицька успокоилъ ее, сказавъ, что онъ ожидаетъ добраго молодца, и что это не воры, а пріятели. Онъ вышелъ наскоро и подлинно засталъ уже на дворѣ человѣка на пѣгомъ конѣ. Недолго онъ торговался и далъ за рыжепѣгаго коня три карбованныхъ, да ползлотаго магарыча, и цыганъ нашъ, передавъ поводъ изъ полы въ полу, самъ ушелъ и былъ таковъ.

Не упуская часу, сталъ жидокъ собираться съ новымъ конемъ въ Бердичевъ, на ярмарку, и велѣлъ запрягать брыку свою тройкой. Но батракъ пришелъ, почесывая затылокъ, съ докладомъ, что коренной нѣтъ на конюшнѣ. «Какъ нѣтъ? кого нѣтъ?» спросилъ Ицька, ухвативъ фонарь: «кого нѣтъ, сердце мое Иванъ?»— Онъ отправился немедленно съ фонаремъ на конюшню искать коренной; искалъ ее какъ булавку, но не нашелъ. Чѣмъ долго морить читателей и заставлять Ицьку искать и браниться попустому, скажемъ лучше напрямки: коренной дѣйствительно не было на конюшнѣ; она стояла смиренно на дворѣ, у воротъ, привязанная и расписанная мѣломъ или бѣлой глиной, пѣгимъ узоромъ, расписанная вся, отъ лысины до копытъ; тамъ стоитъ она и ожидаетъ съ покорностію судьбы своей. Цыганъ вороватый пришелъ ночью къ жиду, принесъ съ собою глекъ распущенной бѣлой глины, почуялъ духомъ, гдѣ стоитъ рыжая коренная его, расписалъ ее пѣгою и продалъ ему же, Ицькѣ, и тутъ же, на собственномъ его дворѣ. Ицька замѣтилъ только, что она упарилась, какъ видно, дорогою изрядно. Цыганъ признавался откровенно, что лошадь эта краденая, но ручался при томъ головой, что ея никто у Ицьки не признаетъ, никто къ нему не привяжется. Когда же краска просохла и обсыпалась, рыжепѣгая кляча оборотилась въ рыжую Ицькину коренную, во-

лосъ въ волосъ, какъ стояла въ стойлѣ; да только цыганъ, чтобъ ему въ нитку высохнуть, чтобъ его *москали на подруже злапали*, второпяхъ и впотемкахъ выткнулъ ей помазкомъ одинъ глазъ. Она окривѣла.

ПОХОЖДЕНІЕ ДЕСЯТОЕ.

Ицька закричалъ: *гвалтъ*! Хайка съ домочадцами—и вдвое того, подняли на ноги весь кагалъ шкловскій, кинулись въ погоню и застали неосторожнаго цыгана въ шкловскомъ первостатейномъ шинкѣ, гдѣ онъ гулялъ на Ицькины денежки и перебранивался съ шинкаркою, которая хотѣла ему сдать по старому курсу, копѣйками и денежками, вмѣсто грошей. Евреямъ давно уже указомъ запрещено шинковать, т. е. цѣловальничать въ кабакахъ и корчмахъ; несмотря на это, во всѣхъ шинкахъ Украйны сидятъ жиды и жидовки.

Жиды объявили городъ на военной ногѣ, а шинокъ въ осадномъ положеніи. Извѣстно, что во всѣхъ жидовскихъ мѣстечкахъ и городишкахъ жиды дѣлаютъ, что хотятъ. За однимъ только жиды не гонятся — за толчкомъ: ихъ не бьетъ, кто не хочетъ. Но зато, во всякомъ иномъ отношеніи, жидовская воля владыка, и каждый оборванецъ и обшарпанецъ распоряжается вашимъ карманомъ, словно своимъ, и дѣлаетъ это, кажется, съ помощію магнетизма. Онъ видитъ по глазамъ вашимъ, сколько у васъ есть денегъ, сколько было и будетъ: чутьемъ слышитъ, какою именно монетою; съ перваго взгляда смекаетъ, чѣмъ можно служить вамъ, чѣмъ угодить и надуть; съ перваго запроса узнаетъ, на сколько можно васъ оплести. Онъ уступаетъ вамъ вещь въ полцѣны собственной и тѣмъ вынуждаетъ товарища вашего заплатить за другую вдвое. Какъ онъ это дѣлаетъ? подите и посмотрите, и

говорю, что помощію магнетизма. Но зато, чего и съ нимъ не бываетъ! То ермолку закинутъ на печь и цѣною выкупа назначатъ: написать карандашемъ крестъ на лбу. Жидъ хоть и плачетъ, да соглашается; стираетъ рукавомъ крестъ и отправляется, получивъ ермолку, домой. На утро онъ готовъ зарѣзаться: крестъ былъ написанъ ляписомъ, и выступаетъ на лбу еврея багровымъ, синимъ и наконецъ чернымъ цвѣтомъ...То заставляютъ двоихъ жидковъ, затылокъ съ затылкомъ, помѣряться, да свяжутъ пейсики мертвымъ узломъ; то скатаютъ смолой или воскомъ двѣ бороды вмѣстѣ; то, припечатавъ ихъ къ краю стола, заставляютъ бѣдныхъ жидковъ глядѣть, въ упоръ носа, другъ на друга, поссориться и подраться, то сторгуются, за два злотыхъ, положить печать на бороду, да невзначай, накапаютъ сургуча на носъ; то кинутъ, на подхватъ, раскаленный пятакъ, да обожгутъ бѣдному жидку лапы...

Шинкарка съ воплемъ объявила, что цыганъ, лишь только начался гвалтъ, *утикъ до леху*, то есть: ушелъ въ подвалъ, и приперъ за собою чугунныя двери. Поставили сторожей и часовыхъ у входа, у отдушниковъ, окружили дворъ и домъ и весь шинокъ, расположились лагеремъ на улицѣ и ожидали разсвѣта. Между тѣмъ составили изъ любителей военный совѣтъ, какимъ бы образомъ захватить цыгана въ подвалѣ.

Зенвель Шварцъ, часовой мастеръ и механикъ, которому цыганъ уже однажды, помнится, дался знать, повернувъ ему голову лицомъ назадъ, полагалъ необходимымъ прокопать сверху особый входъ въ подвалъ и вытащить цыгана, какъ барсука изъ норы, клещами. Лейба Гринберхъ, портной, совѣтовалъ употребить, вмѣсто клещей, инструментъ, наподобіе большихъ портняжныхъ ножницъ, дабы, въ случаѣ крайности, можно было отстригнуть тотчасъ цыгану голову. Скорнякъ Берка хотѣлъ изготовить на него ко-

жаный чехолъ, наподобіе надѣваемой на сумасшедшихъ рубахи; разбитый на заднія ноги Гершка со слезами умолялъ соотчичей своихъ отступиться отъ грѣха и предать дѣло волѣ Божіей, наконецъ, зажиточный торгашъ, откупщикъ, подрядчикъ и поставщикъ, Шмуль Рафаловичъ, предложилъ самое простое и вѣрное средство: заморить цыгана въ подвалѣ голодомъ. Но противъ сей благоразумной мѣры велегласно и упорно возстали всѣ, имѣвшіе съѣстные припасы, водку и вина, въ подвалѣ шинкаря, равно какъ и самъ панъ господаржъ, хозяинъ, предпріимчивый и разсчетливый Барухъ. Этотъ Барухъ, знаменитый въ лѣтописяхъ шкловскаго винодѣлія изобрѣтеніемъ *фиръ и финфъ Мадеры*, названной художественнымъ изобрѣтателемъ ея такъ по примѣру извѣстной *дрей-Мадеры*, этотъ Барухъ, говорю, храбрый воинъ и искусный дипломатъ, вступилъ съ цыганомъ, чрезъ трубообразный отдушникъ подвала, въ переговоры. Цыганъ ни на что не соглашался, и объявилъ, что если не дадутъ ему сейчасъ воли, и сверхъ того сто злотовъ выкупу, то онъ немедленно выбьетъ ногою изъ каждой винной и спиртовой бочки по одному дну, и выпуститъ такимъ образомъ драгоцѣнный напитокъ. Никакое краснорѣчіе Баруха и компаніи не могло склонить собратій шкловскихъ къ крайней мѣрѣ этой: всѣ единогласно предпочитали общественную пользу частнымъ корыстнымъ видамъ Баруха, и доблестный мужъ сей рѣшился, въ отчаяніи своемъ, заключивъ оборонительный и наступательный союзъ съ нашимъ пріятелемъ, Ицькою Гобелемъ, рѣшился взять приступомъ осаждаемое укрѣпленіе, рѣшился изгнать изъ крѣпости гарнизонъ. Весь кагалъ шкловскій, нѣсколько сотъ жидовъ, столпились передъ подваломъ; жидовки и жиденята сущимъ ярмаркомъ окружали ихъ; говоръ, крикъ, шумъ, гамъ и гармидаръ заглушали самую

мысль, не только рѣчь. Стали общими силами выламывать дверь подвала. Ицька и Барухъ запаслись пуками соломы, которую хотѣли разложить и зажечь въ подвалѣ, чтобы выкурить нечестиваго цыгана. Неугомонная куча волновалась, засучивъ рукава, наставляла костлявыя руки, чтобы вцѣпиться въ ожидаемаго гайдамака; дальнѣйшіе всѣми силами тѣснились и старались приблизиться, и ближайшіе къ дверямъ подвала, образовавшіе сначала полукругъ, сколько ни упирались голыми пятками, сколько ни толкались локтями, сколько ни горячились, ни кричали *шварцъ юръ!* были наконецъ, общимъ напоромъ, сбиты съ позиціи и до того прижаты къ дверямъ подвала, что, когда онѣ наконецъ съ громомъ раздались, то нѣсколько десятковъ жидковъ полетѣли черезъ голову кубаремъ считать ступени. Въ это-то критическое мгновеніе выскакиваетъ изъ подвала, съ неистовымъ ревомъ, голый, какъ мать на свѣтъ родила, цыганъ. Будучи окруженъ и осаждаемъ многочисленнымъ непріятелемъ, употребилъ онъ небольшую военную хитрость: онъ раздѣлся до нага, бросилъ рубище свое, нашелъ въ подвалѣ кусокъ сала и вымазался имъ съ ногъ до головы: сотни рукъ хватались за него со всѣхъ сторонъ; онъ вывертывался, нырялъ подъ нихъ и прыгалъ чрезъ нихъ, отпускалъ заушины вправо и влѣво: всѣ руки скользили по гладкому, насаленному тѣлу его; онъ какъ вьюнъ увивался и благополучно достигъ чистаго поля.

Когда Ицька, съ разбитой головой, поматывая пейсиками и потирая затылокъ, пришелся во-свояси, то батракъ Иванъ сказалъ ему: «Ну, братъ Ицька, пару коней своихъ, чалую да рыжую, купилъ ты, и заплатилъ за нихъ деньги, за каждую по два раза; что то будетъ, дастъ Богъ доживемъ, съ третьей; а эти двѣ твои безспорныя!»

ПОХОЖДЕНІЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Я еще бездѣлицы не договорилъ: не досказалъ еще всей бѣды, которую цыганъ причинилъ жителямъ Шклова, выскочивъ звѣремъ дикимъ изъ подвала. Вы знаете, что у насъ, въ любомъ городѣ, стóитъ только кому-нибудь остановиться на улицѣ да поглазѣть пристально на одно мѣсто, хотя бы и вовсе нечему было дивиться,—такъ въ ту же минуту пристанетъ другой, третій, пятый и десятый, и соберется народъ въ кучу, самъ не зная, для чего. Итакъ, можете вообразить, сколько сбилось люду жидовскаго въ Шкловѣ передъ виннымъ подваломъ Баруха *фиръ-Мадеры*, гдѣ совершалось событіе, столь необычайное. Подвалъ Баруха стоитъ на углу большой улицы, на одинъ переулокъ не доходя до базара. Всѣ жидовки, которыя отправлялись раннымъ-ранешенько на базаръ съ бубликами, съ орѣхами, съ пряниками, съ кавунами, съ калачами, съ бисеромъ, съ нитками и тесемками, съ сельдями, съ молокомъ, съ цыбулею, съ горохомъ, съ маковниками, — всѣ столпились около мужей и сродниковъ и толкались съ горшками своими, лотками, раскидными столиками, кувшинами и ручными телѣжками; другіи гнали коровъ и телятъ на выгонъ, навстрѣчу первымъ, и остановились противъ подвала съ коровами и съ телятами; тутъ же толкались мѣнялы, жидки съ мѣшками мѣди и серебра, жиденята съ баранами, съ индѣйками, съ утками, съ курами; все это сбилось, туго-на-туго, вокругъ подвала. Теперь вообразите себѣ этого цербера, цыгана, лютаго барса, выскочившаго изъ подвала и мечущагося неистово во всѣ стороны! Сколько передавленныхъ утокъ, жиденятъ и индѣекъ! Сколько разбитыхъ затылковъ, глечиковъ и кувшиновъ! Сколько гороху и намистья просыпано,

сколько маковниковъ и орѣховъ и жидовокъ затоптано! Лотки и телята, курицы и жидовки, мѣшки и мѣнялы,—все это летитъ другъ на друга, другъ черезъ друга, все это кричитъ и визжитъ, все голоситъ въ голосъ... При этомъ то случаѣ нашъ бѣдный Ицька воротился домой, съ подбитыми глазами, съ разбитымъ затылкомъ, съ перекушеннымъ пальцемъ, съ выбитымъ зубомъ въ карманѣ,—онъ поднялъ его и сохранилъ; а кромѣ всего этого, онъ едва собралъ и примчалъ домой нѣсколько лоскутковъ чернаго демикотону — это были бренные останки покойнаго халата или кафтана его. — Онъ, бѣдняга, былъ такъ изуродованъ потому, что попался на бѣду въ два огня или, лучше сказать, въ цѣлый рядъ огней: во-первыхъ, полетѣлъ онъ, обще со снопами соломы и съ Барухомъ *фиръ-Мадерою*, въ подвалъ; а въ подвалѣ томъ были ступени бѣлокаменныя; во-вторыхъ, ошалѣвшій Барухъ выместилъ, тутъ же въ подвалѣ, всю неудачу свою на немъ, на Ицькѣ; въ-третьихъ, досталось ему вскользь и отъ цыгана; въ четвертыхъ, попался онъ, вылѣзая изъ подвала, въ рукопашную схватку, и здѣсь то ему соорудили памятникъ, волдырь въ два кулака со пригорками, благословивъ складнымъ дубовымъ столикомъ по затылку. «*Шварцъ юръ!*» приговаривалъ Ицька дома, «чтобъ на васъ, на каждаго по три лихоманки, по двѣ сухотки на брата! Чтобъ на васъ стонадцать мѣшковъ проказы ветхаго завѣта!»

Между тѣмъ смѣлые жидки стали понемногу заглядывать въ подвалъ, и запальчивый Барухъ едва не поплатился жизнію за неустрашимость свою. Онъ едва не утонулъ въ подвалѣ, въ собственной *фиръ-Мадерѣ* своей, которую извергъ-цыганъ выпустилъ изъ бочки, равно какъ и всѣ прочіе драгоцѣнные напитки шкловскаго хлѣбныхъ и рейнскихъ винъ промышленника и фабриканта.

Еще не успѣли опамятоваться, ниже пособить горю, какъ обнаружилась бѣда, несравненно горшая: волною сложнаго напитка, которому и самъ Барухъ затруднился бы дать приличное названіе, прибило къ берегу, къ ступенямъ каменнымъ... — о ужасъ! — прибило и выкинуло кусокъ свиного сала! Еслибы хозяинъ подвала былъ не Барухъ, то его безъ всякаго милосердія побили бы каменьями. Описать невозможно, какую тревогу надѣлалъ этотъ кусокъ сала, когда его вынесли, наткнувъ на длинную трость, изъ подвала. Слѣдовательно, цыганъ вымазался свинымъ саломъ; а слѣдовательно, всѣ жидки, которые хватались за него и съ него обрывались, опоганились свинымъ саломъ! Разысканіямъ не было бы конца, еслибы не обнаружилось, что свиное сало попало въ подвалъ чрезъ наймычку Барухову, Одарку, которая припасла этотъ лакомый кусокъ для своего возлюбленнаго Остапа, на дняхъ ожидаемаго обратно съ чумакованія.

ПОХОЖДЕНІЕ ДВѢНАДЦАТОЕ

Ицька сидѣлъ дома, холился да отмалчивался, но взыгралъ душой и возрадовался сердцемъ, когда услышалъ, что жидки оскоромились намедни свинымъ саломъ. «По дѣломъ вамъ», сказалъ онъ: «собачьимъ душамъ; за что вы ободрали меня, да убили до полусмерти? Чтобъ вамъ лихо стало, чтобъ на васъ пеня московская; чтобы вамъ сорокъ разъ подавиться однимъ кускомъ свиного сала!»

Между тѣмъ, пришедшій недавно въ Шкловъ на квартиры, изъ Кіевской губерніи, гусарскій полкъ выступалъ на ученье и проходилъ съ трубачами мимо Ицькинаго домишка. «Сѣдлай мнѣ куцую!» закричалъ Ицька батраку Ивану: «сѣдлай; поѣду, имъ на зло, смотрѣть на ученье. Пусть увидятъ, что я живъ и

здоровъ. А чи стрѣлять будутъ?» спросилъ онъ денщика, стоявшаго у воротъ. — Какъ же, — отвѣчалъ тотъ:—будутъ, боевыми зарядами, по жидкамъ, коли шапокъ не снимутъ. — «А подивиться съ далеку вольно?—Вольному воля,—отвѣчалъ тотъ: — а нашего брата заставляютъ нехотя. — «Сѣдлай швидко», продолжалъ жидокъ: «маме, подай поясъ да шляпу!» Самъ посмотрѣлся, вмѣсто зеркала, въ налощенный рукавъ чернаго халата своего, оправилъ ермолку, надѣлъ широкополую шляпу, взялъ длинную камышевую трость съ наконечникомъ, приподнялъ указательнымъ перстомъ стоптанные задники башмаковъ, взвалился на куцую и пустился на плавномъ рысакѣ. Но плаваніе его длилось благополучно почти только до сборнаго мѣста, за городомъ, гдѣ учился полкъ. Мы знаемъ довольно подробно родословную двухъ клячъ Ицькиныхъ, чалой и рыжей, купленныхъ имъ вторично у пріятеля нашего, цыгана, одной—на бердичевской ярмаркѣ, послѣ небольшой передѣлки, а другой—здѣсь, въ Шкловѣ, послѣ перекраски. Но о куцой его доселѣ ничего не сказали, ожидая на это урочнаго часа: онъ теперь насталъ. Слушайте же: куцая эта не родилась куцою, но красовалась, во время оно, хвостомъ, наравнѣ съ подругами своими. Она отслужила два срока подъ трубачами пришедшаго нынѣ въ Шкловъ гусарскаго полка, была выранжирована, назначена въ продажу, отправлена на подножный кормъ и тамъ украдена и перепродана, чрезъ десятыя руки, нашему Ицькѣ. Гдѣ именно и у кого она бывала, не знаемъ; но хвостъ, обрубленный по самую рѣпицу, равно и нѣкоторыя другія подправки, починки и передѣлки, заставляютъ насъ подозрѣвать, что она едва ли миновала рукъ нашего бородатаго цыгана. Теперь, уже въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, находилась она въ вѣдѣніи Ицьки.

Уже при самомъ началѣ ученья, куцая наша стала подъ жидкомъ необыкновенно ловко разыгрываться; она курбетировала, ржала и примыкала то въ бокъ, то въ сторону, то вправо, то влѣво. Ицька тпрукалъ, храбрился и красовался между многочисленною толпою зрителей, но едва могъ справиться. Казалось, куцая понимала командныя слова не хуже взводныхъ и фланговыхъ, вертѣла хвостомъ, ртачилась и рвалась въ строй. Когда же наконецъ, послѣ построенія шести эскадроновъ фронтомъ, послѣ команды: «стой! смирно! выровняться!» грянуло роковое: «маршъ-маршъ!», и полкъ понесся, во весь духъ, въ атаку, оглушая топотомъ отдаленныхъ зрителей и поднявъ столбъ и тучу пыли на ближнихъ,—тогда куцая не стала слушать ни тпру, ни ну, ни ляшекъ, ни поводьевъ, а закусила удила и помчала Ицьку стрѣлой, къ краснoперымъ музыкантамъ; она втерлась между 2-мъ и 3-мъ трубачами и заняла, насильственнымъ образомъ, старинное мѣсто свое: третье съ фланга. Ицька потерялъ путемъ-дорогою равновѣсіе, потерялъ башмаки, шляпу; полы лаковаго халата его извивались чернымъ знаменемъ на воздухѣ; онъ въ ужасѣ уперся ногами сильно въ стремена, замоталъ обѣ руки въ поводья и длинную камышевую трость свою прижалъ, со страху, накрѣпко подъ правой мышкой. Въ этой-то грозной позиціи налетѣлъ онъ, съ тылу, на трубачей; ударилъ третьяго человѣка задней шеренги концомъ трости своей въ спину, подъ лопатку, да такъ, что тотъ, ни думавъ, ни гадавъ нападенія съ тылу, полетѣлъ съ коня, какъ овсяный снопъ. Ицька, когда куцая съ натиску влетѣла въ тѣсно сомкнутые ряды трубачей, стерла его и ссадила чрезъ забедры,—очнулся и перевелъ духъ, опять сидя, и даже верхомъ, да только не на куцой: онъ, слетѣвши черезъ голову назадъ, сѣлъ верхомъ на слетѣвшаго предъ тѣмъ черезъ голову впередъ и на-

стигнутаго имъ трубача, на того самаго, котораго ссадилъ съ коня богатырскимъ ударомъ копія.

Когда трубачъ стряхнулъ жидка съ плечъ, окрестился, опамятовался, спросилъ, собравшись съ духомъ: отколѣ его лѣшій принесъ? — однимъ словомъ, когда дѣло объяснилось, тогда мнѣ безъ божбы, надѣюсь, въ долгъ повѣрятъ, что бѣдному Ицькѣ все это не обошлось даромъ. Но это бы все еще не бѣда: я сказалъ уже, что Ицька за толчкомъ не погонится, что ему, напротивъ, случалось неоднократно вынудить, изъ вспыльчиваго противника своего, нѣсколько заушинъ и подзатыльниковъ, подзадаривая и притравливая его самъ на себя: «а ну, ну, ударь; а ну, не смѣешь; а ну, ну! а ну еще!»—Итакъ, это бы не бѣда, что трубачъ помялъ его да повертѣлъ въ лапахъ, а сбылось надъ нимъ еще и слѣдующее, весьма непріятное для Ицьки приключеніе: выранжированнаго и украденнаго музыкантскаго коня въ полку немедленно признали, добрались по немъ и до нынѣшняго хозяина, отняли у него куцаго конька, посадили въ полицію, и освобожденіе стоило ему ровно остальныхъ двухъ *некуцыхъ* коней: чалаго да рыжаго. Когда же измученный и застращенный судомъ и расправою Ицька тащился, украдкою, подстѣнками, домой, и увидѣлъ мимоходомъ на полковомъ дворѣ жителей Шклова въ сборѣ, и когда они сказали ему, что собрались, по вызову полковника, для покупки съ молотка выранжированныхъ коней; когда батракъ Иванъ прибавилъ, что въ числѣ сихъ коней поступитъ въ продажу и наша куцая, и что поэтому Ицькѣ предстоитъ случай купить и эту, третью лошадь свою, по другому разу, — тогда разорившійся въ пухъ Ицька нашъ горько заплакалъ, надвинулъ шляпу на глаза и пошелъ, не останавливаясь, скорыми шагами домой, зарекаясь въ душѣ своей: не обзаводиться болѣе экипажемъ!

ПОХОЖДЕНІЕ ТРИНАДЦАТОЕ.

Событіе, лишившее Ицьку вороватаго всѣхъ трехъ коней его и содѣлавшее его пѣшимъ, ознаменовываетъ эпоху, отъ коей начинается новый періодъ жизни нашего героя: современный сему несчастію неудачный оборотецъ запрещеннымъ товарцемъ рѣшилъ судьбу его; онъ сдѣлался торгашомъ несостоятельнымъ, лишился всего имущества и былъ принужденъ идти служить, ѣсть чужой хлѣбъ, зарабатывать каждый кусокъ изъ чужихъ рукъ. У насъ это дѣлается очень просто: нанимаются, за извѣстную плату, поденно, помѣсячно, служатъ или работаютъ. У жидовъ не то и на такъ. Ицька вороватый, на бѣду котораго гусары пришли въ Шкловъ, изъ этой же бѣды извлекъ и возможную, при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, пользу: онъ пустился въ *факторы*. Что такое жидъ-факторъ? Это трудно объяснить; услужливое, навязчивое, нахальное и трусливое неотступное твореніе, которое бѣгаетъ, сломя голову, весь Божій день по городу, по мѣстечку, и добываетъ — для васъ форменной пуговки, для меня сухой ваксы, для иного золотообрѣзной бумаги, для другого какой-нибудь прихотливой матеріи на халатъ, для третьяго гитару, для четвертаго помады для усовъ и для другихъ причинъ, — словомъ, это посредникъ для всего, что только терпитъ посредничество. Явно, что проѣзжіе и офицеры наиболѣе нуждаются въ этихъ чичероне, проводникахъ, комиссіонерахъ и прислужникахъ; а потому они въ особенности толпятся въ трактирахъ и заѣзжихъ домахъ. Вамъ, проѣзжему, стоитъ здѣсь только заикнуться и спросить какую-нибудь вещицу, чтобы накликать на себя и занимаемый вами номеръ цѣлое море, цѣлое наводненіе жидовъ-факторовъ. Если же вы неумолимы,

если сердце у васъ каменное, и вы отнюдь не хотите ничего ни заказать, ни купить, ни приказать; если перстеньки и сережки, запонки и застежки, камни и печатки, трубки, чубуки, гребни и перчатки не могутъ васъ тронуть и прельстить — тогда отчаянные факторы обыкновенно рѣшаются на крайнее средство: они надоѣдаютъ вамъ неотвязчивостію и нахальнымъ безстыдствомъ своимъ до того, что выведутъ изъ терпѣнія и непремѣнно заставятъ выкинуть одного изъ нихъ въ дверь или въ окно, а потомъ они вынудятъ за это что-нибудь на водку. Съ этими то факторами въ особенности дѣются всѣ чудеса, которыя я, къ сожалѣнію моему, уже описалъ въ 10-й главѣ этой сказки; имъ бы здѣсь поприличнѣе нашлось мѣсто, потому что Ицька испыталъ все это на себѣ: и бороду ему припечатывали къ столу, и опаивали рвотнымъ, и дарили раскаленные пятаки, и посылали цѣлыя сутки отъ офицера къ офицеру за небывалой книжкою: *гони зайца впередъ*,—все, все это, и поболѣе того, испыталъ, говорю, Ицька, когда весельчаки-гусары собирались за трубками да за бутылками,—а у нихъ и въ заводѣ не было пить стаканами, — собирались побесѣдовать да погулять и посылали вечеркомъ за факторами...

Такъ, напримѣръ, пришелъ онъ однажды, не знаю, званый или незваный, рано утромъ, къ грозѣ жидовъ, богатырю полка, поручику такому то. «Отъ тебя», зарыкалъ поручикъ, «бестія, немытая борода, нечестивая утроба, отъ тебя опять несетъ чеснокомъ!» Ицька струсилъ такъ, что, поблѣднѣвъ болѣе камчатной скатерти, стоялъ и похлопывалъ глазами... «Отъ тебя, что ли, говори, помойная яма?» — Нѣтъ, ваше благородіе, ей-богу, нѣтъ, не отъ меня. — «Отъ кого же, бестія, отъ меня, что ли? Насъ здѣсь только двое; говори, отъ кого?»—«Отъ собаки»,—отвѣчалъ жидокъ, ни живъ ни мертвъ... «Какъ, отъ собаки? Отъ какой?

Гдѣ она?» — «Она сейчасъ придетъ», — сказалъ жидъ увѣрительно, успокаивая разъяреннаго мужа брани.

Однажды далъ онъ офицеру взаймы два червонца, подъ расписку. Расписка эта его мучила, не давала ему покою, горѣла въ карманѣ; онъ надоѣлъ должнику, намеками и загадками, еще до истеченія срока. Наконецъ, срокъ кончился. Ицька является, офицеръ говоритъ напрямки и наотрѣзъ, что онъ сегодня заплатить не можетъ ни шелега, но обѣщаетъ чрезъ нѣсколько дней расплатиться съ избыткомъ. Ицька не сказалъ бы ни полслова, еслибы у него не было расписки... но она его подстрекаетъ и жжетъ въ карманѣ и колетъ иглами... Онъ до того взбѣсилъ должника-гусара, что вывелъ его вовсе изъ терпѣнія: тотъ заперъ дверь на замокъ, приставилъ жиду пистолетъ ко лбу и заставилъ разорвать, разжевать и съѣсть расписку свою, до послѣдняго лоскутка, далъ запить рюмкою водки и отпустилъ домой. Проходитъ недѣля, — гусаръ призываетъ Ицьку вороватаго и расплачивается съ нимъ щедро и великодушно. Ицька внѣ себя отъ умиленія и благодарности, онъ предлагаетъ услуги свои, наличныя деньги и самого себя во всегдашнее милостивое распоряженіе. Проходитъ еще недѣля, и тому же гусару дѣйствительно понадобились деньжонки; за кѣмъ не водилось грѣха, что иногда скоренько, окаянныя, уходили! «Ицька, дай денегъ!» Ицька принесъ все, что у него было. Офицеръ взялъ ихъ, сосчиталъ, сѣлъ и взялъ и перо и бумагу. Ицька остановилъ его подобострастнымъ тѣлодвиженіемъ и скромнымъ вопросомъ: «Что онъ это хочетъ дѣлать?» — Написать расписку. — «Расписку? на что же? Боже мой! нѣхъ мнѣ панъ Бугъ броне! Якъ пана кохамъ! Ваше благородіе, избавьте отъ этого: на что? Я пану вѣрю и такъ!» Но когда неумолимый должникъ настаивалъ рѣшительно, чтобы Ицька, на всякій случай,

принялъ расписку, то вороватый жидокъ нашъ досталъ изъ-за пазухи бѣлый четыреугольный пряникъ, товаръ, которымъ, какъ мы уже видѣли, торговала Хайка его, и просилъ убѣдительно написать по крайней мѣрѣ расписку на этомъ пряникѣ...

Однажды послали его съ запискою: «поди, Ицька: на базарѣ, противъ колодца, въ домѣ Шмуля Рафаловича, живетъ пріѣзжая изъ Бродъ молодая вдова Карлсонъ; отдай ей, въ собственныя руки, эту записку». Ицька бѣгалъ, бѣгалъ, воротился, высунувши языкъ: «нѣту, говоритъ, не нашелъ». Его прогнали взашей и велѣли найти непремѣнно. Проходитъ часъ, другой, наконецъ, Ицька нашъ является: отдано. «Да только не мудрено», говоритъ, «что я долго искалъ; вы мнѣ не такъ сказали...»—Какъ не такъ?—«Да она живетъ на базарѣ, не противъ колодца, а за угломъ Барухова погребка; не у Шмуля Рафаловича, а у Шлемки Берковича; пріѣхала не изъ Бродъ, а изъ Лемберга; зовутъ ее не Карлсонъ, а Михельсонъ, да при томъ, признаться, это не вдова, а это, сударь, оптикъ, *механичный* мастеръ...» — Ай да Ицька! вотъ разсыльный!—Взбѣшенный ротмистръ вскочилъ и закричалъ: «Пятьдесятъ нагаекъ велю тебѣ влѣпить, безтолковый негодяй! — Сулили мнѣ не разъ и больше— отвѣчалъ Ицька, ретируясь къ дверямъ: — да развѣ я дуракъ буду, что возьму... И этою шуткою, говорятъ, онъ на этотъ разъ отыгрался. Вообще, у него за отвѣтами и отговорками дѣло не ставало; онъ увѣрялъ, что чортъ убилъ родную бабку свою за то, что у нея не стало отговорки. Напримѣръ, онъ приносилъ офицерамъ на заказъ вещицы на продажу, во всѣ дни недѣли: и къ субботу, и въ шабашъ, что строго запрещено закономъ еврейскимъ. Если его спрашивали: какъ онъ можетъ браться въ этотъ праздничный день за работу, вопреки закону своему? — то онъ отвѣчалъ:

«для меня это, пане, не работа, а повеселье!» Однажды спросили его: какъ жиды-ростовщики будутъ на томъ свѣтѣ Моисею отвѣтъ держать, отбирая гораздо болѣе указныхъ процентовъ, такъ, напримѣръ, самые умѣренные берутъ восемь? «За восемь не знаю, сказалъ Ицька, а за девять отвѣчать можно.» — Отчего? — «Глядя сверху, наоборотъ, не мудрено подумать, что это шесть».

Однажды Ицька прибѣжалъ къ офицерамъ запыхавшись, и разсказывалъ о неслыханномъ несчастіи. Одного жидка загнали; онъ надорвался, затянулся и умеръ. Это, по его разсказу, случилось слѣдующимъ образомъ: офицеръ ѣхалъ проселкомъ, не достало лошадей, и онъ заложилъ въ пристяжку шинкаря Янкеля. Ну, хорошо, это ничего; Янкель везетъ; но этого офицеру мало, онъ его погоняетъ; ну, хорошо, и это ничего; офицеръ погоняетъ, да еще и кричитъ: завивайся, завивайся! Ну, хорошо, а Янкель,—продолжалъ добросовѣстный разсказчикъ, — Янкель былъ горячъ, онъ началъ завиваться на пристяжи, затянулся, надорвался и умеръ.

ПОХОЖДЕНІЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ.

Угождая то тутъ, то тамъ, прилаживая и подлаживая, Ицька разжился опять немного факторствомъ своимъ и начиналъ, продолжая, впрочемъ, и факторить, заниматься въ свободные часы торговлей. Помощникомъ его былъ теперь подросточекъ, сынъ его *Манчестеръ*. Надобно объяснить, отколѣ взялось это странное имя. Не задолго до родинъ наслѣдника сего, Ицька, отправляясь въ дорогу по тогдашнимъ дѣламъ своимъ, наказалъ Хайкѣ настрого, чтобы новорожденному, буде это сынъ, наречено было имя *Кали-*

мнръ. Прошла недѣля, другая, третья, Хайка благополучно разрѣшилась сыномъ, и тогда только вспомнила, что супругъ ея завѣщалъ наслѣднику имя, но никакъ не могла вспомнить — какое? Наконецъ, въ тусклой памяти ея блеснулъ, какъ молнія, отрадный лучъ воспоминаній: завѣтное имя,—припомнила она,— служило названіемъ какой то модной, для панталонъ, матеріи. Посовѣтовавшись съ портнымъ, съ Лейбою Гринберхомъ, рѣшили они вдвоемъ, что это долженъ быть *манчестеръ*; итакъ, новорожденное дитя воспріяло, вмѣсто Казимира, имя Манчестеръ.

Однажды на улицѣ родины нашего героя произошла необыкновенная суматоха; это было рано утромъ. Ицька выскочилъ, на гвалтъ земляка своего, въ одной ермолкѣ, безъ кафтана, въ одной фуфайкѣ и съ заповѣдными циплями [1]), шнурочками и тесемочками. Землякъ этотъ былъ разбитый на заднія ноги Герша, у котораго колѣна со дня на день стали болѣе подламываться, а память теряться: онъ кричалъ, что его обокрали. Какимъ образомъ? а вотъ какимъ. Онъ положилъ, собравъ послѣдніе поскребышки имущества своего, небольшой капиталецъ въ кованый ларецъ, и доставалъ оттолѣ ежегодно законные проценты; несмотря на то, оказался недочетъ въ капиталѣ, а слѣдовательно, была учинена покража!

«Шварцъ юръ!» сказалъ Ицька, когда вся толпа захохотала: «дуракъ! А я выскочилъ неодѣтый, необутый и не напившись чаю! Поди, Иванъ, чего стоишь? Поди и посмотри, чтобы самоваръ нашъ не ушелъ!» Батракъ Иванъ сходилъ, воротился и доложилъ, что самоваръ ушелъ. «Такъ накрой крышкой!»—закричалъ

---

[1]) Ципли висятъ у каждой жидовской фуфайки подъ кафтаномъ — онѣ, кажется, напоминаютъ имъ время плѣна и служатъ вмѣсто четокъ при молитвѣ.

Ицька.—И съ крышкой ушелъ!—продолжалъ Иванъ.. Самовара дѣйствительно уже не было на крыльцѣ: служивый мимоходомъ его сгребъ и уволокъ. Солдатъ, что багоръ: зацѣпилъ, такъ и потащилъ. Ицька въ свою очередь закричалъ «Гвалтъ!» съ чадами и домочадцами, но тщетно: самоваръ ушелъ невозвратно.

Около этого же времени, когда герой нашъ сталъ разживаться, понемногу мотать, пить чай и подгуливать, сбылось съ нимъ и съ сыномъ его Манчестеромъ еще слѣдующее приключеніе. Въ Шкловъ прибыли русскіе актеры извѣстной по всей Украйнѣ труппы *Штейна*. Ицька пошелъ посмотрѣть на казака стихотворца и на Наталку Полтавку, и взялъ съ собою сына Манчестера. Онъ купилъ билеты въ партеръ; но, къ несчастію, это было время ярмарки и осеннихъ кучекъ, жидовскихъ праздниковъ. Толпа и толкотня у входа были неимовѣрны. Ицька попалъ на бѣду въ протокъ, имѣвшій направленіе свое, вопреки законовъ природы, въ гору, вверхъ, по лѣстницѣ, и прямо въ рай. Сколько онъ ни кричалъ, сколько ни упирался, ни толкался, его подхватило толпою, разлучило съ дѣтищемъ, вознесло подъ потолокъ, и Ицька, съ рублевымъ билетомъ въ рукѣ, принужденъ былъ стоять въ полтинномъ мѣстѣ. Это все бы еще ничего; но его въ неимовѣрной тѣснотѣ оттерли отъ галлереи, въ которую онъ цѣплялся и когтями и зубами, затолкали въ самый задній уголъ райка, обернули, протираясь около него, спиною къ зрѣлищу, и заклинили въ этомъ положеніи туго-натуго, такъ что онъ не могъ пошевелиться. Ицька бѣсился, кричалъ, рвался,— все втуне: чтобы увидѣть хотя малую долю всѣхъ чудесъ, надобно было ему оглядываться назадъ. Въ это время двѣ необычайныя проказы до того потрясли все зданіе хохотомъ, что штукатурка начала валиться съ потолка, и первый пластъ упалъ, разумѣется, на

Ицькину голову. Проказы эти были слѣдующія: проѣзжій виртоузъ воспользовался нынѣшнимъ спектаклемъ, чтобы предстать впервые высокопочтенной публикѣ: онъ явился на сценѣ предъ начатіемъ зрѣлища, чтобы разыграть концертъ на серпанѣ. Я никому не совѣтую давать концерты на этомъ неблагодарномъ инструментѣ; если не вѣрите, то послушайте: оркестръ ударилъ въ смычки, тутти летитъ къ концу, виртуозъ чопорно выступаетъ, раскланивается на три стороны, прикрываетъ пальцами отдушины неблагодарнаго инструмента, оборачиваетъ широкій раструбъ его къ зрителямъ, подноситъ косточку къ губамъ: оркестръ умолкаетъ; соло на серпанѣ должно поразить готовыхъ къ изумленію слушателей... виртуозъ силится и жилится, багровѣетъ въ лицѣ—нагибается впередъ всѣмъ тѣломъ... о, но все тихо—*и только шепчетъ тишина*... Серпанъ молчитъ! Художникъ напрягаетъ послѣднія силы свои, либо панъ, либо пропалъ... ужасный трескъ ударомъ поражаетъ слухъ зрителей, и что бы вы думали? грязная, мохнатая жидовская шапка вылетаетъ изъ обращеннаго къ зрителямъ жерла серпана, описуетъ, по общимъ законамъ метанія тѣлъ, параболическую дугу надъ головами ихъ, поражаетъ оскользнемъ носы двухъ любопытныхъ членовъ благочинія, которые стояли на даровыхъ мѣстахъ, поражаетъ оборотившагося лицомъ ко входу Баруха Фиръ-Мадеру въ спину и упадаетъ съ покорностію къ его стопамъ. Зависть, черная зависть изобрѣла эту неслыханную козни: хотѣли уронить виртоуза и заткнули ему сепанъ жидовской шапкой! Этого бы довольно; но это еще не все. Когда первое изумленіе, причиненное неожиданною бомбардировкою, миновалось, когда всеобщій громкій хохотъ раздался въ привѣтствіе новаго художника, когда и въ райкѣ все народонаселеніе дружно и въ голосъ заржало, тогда одинъ изъ зрителей, смиренный

поденщикъ Костромской губерніи, затесавшійся въ переднюю шеренгу рая, въ изступительномъ восторгѣ своемъ уронилъ въ преисподнюю поярковую шляпу съ брусникой и, махнувъ за нею вслѣдъ рукой, закричалъ во всеуслышаніе: «бруснику-ту ѣшьте, да шляпу подайте!»

Теперь настало описанное мгновеніе: хохотъ зрителей потрясъ зданіе до основанія. Ицька, пораженный сверхъ того обвалившеюся штукатуркою, не могъ болѣе преодолѣть себя: онъ раскачалъ, сверхъестественными силами, окружавшую его толпу, взволновалъ ее, отдуваясь боками, вывернулся, оборотился, уцѣпился въ обѣ лапы за плеча стоявшаго предъ нимъ дворецкаго, приподнялся на воздухъ и дотолѣ моталъ и лягалъ ногами, желая найти для нихъ опору, покуда не попалъ наконецъ каждою ногою въ задній карманъ долгополаго сюртука или кафтана... Взмостившись такимъ образомъ, началъ было онъ обозрѣвать жаднымъ окомъ всю преисподнюю, какъ возобновившееся волненіе толпы заставило долговязаго пономаря, въ карманъ котораго сталъ Ицька нашъ одною ногою, податься впередъ, а часового мастера Зенвеля Шварца, другую опорную точку Ицьки Гобеля, откачнуться назадъ; такимъ образомъ, бѣдный Ицька совершенно утратилъ равновѣсіе, свернулся, грянулся затылкомъ, и едва не былъ разорванъ наполы неугомонною толпою, увлекшею пономаря и механика въ противныя стороны. Его спасла полиція; но онъ, высвободивъ измятыя, полусвихнутыя ноги свои изъ кармановъ двухъ поименованныхъ особъ, утратилъ невозвратно башмаки свои и пошелъ домой, выпровоженный изъ театра взашей, босикомъ. Съ жалобою и плачемъ повѣдалъ онъ домашнимъ своимъ претерпѣнное имъ бѣдствіе, повѣдалъ, какъ онъ, съ рублевымъ билетомъ, стоялъ на полтинномъ мѣстѣ, и сверхъ того еще за-

тылкомъ къ зрѣлищу и считалъ пауковъ на потолкѣ райка—и наконецъ спросилъ сына своего Манчестера, каково ему удалось полюбоваться представленіемъ? Бѣдный Манчестеръ отвѣчалъ, что, кромѣ шабашковаго свѣта [1]) и базарной толпы, не видалъ онъ ничего. Онъ даже вовсе не попалъ во входъ театра, а простоялъ на улицѣ и только прислушивался повременамъ къ необыкновенному хохоту.

ПОХОЖДЕНІЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Сказка наша началась ярмаркою и кончается ою же; это и пестро, и благовидно, и правдоподобно; особенно, коли, какъ у насъ, лица — жиды и цыгане, а мѣсто дѣйствія Подолъ или Украйна

На ярмарку въ Шкловъ съѣхалось полтьмы съ потемками жидовскихъ брыкъ, и навезли со всѣхъ концовъ столько писемъ и цыдулъ къ землякамъ и роднымъ своимъ, что на нихъ, сложивъ бумажный костеръ, можно бы сжечь любую кіевскую вѣдьму. Да, доставка писемъ черезъ жидовъ составляетъ значительный подрывъ почтовымъ учрежденіямъ. Между прочимъ пришло письмо къ нашему пріятелю, Ицькѣ, которое извѣщало его о смерти какого то дѣда и призывало въ Сквиру для полученія наслѣдства. Ицька едва не рехнулся отъ этого извѣстія, а голова у него таки повихнулась. «Хайке, Ципе, Эстеръ! кимъ гиръ! маме, кимъ, Хайке, Ципе, Манчестерле, кимтъ, кимтъ! Чуешь, Ивашко, ходзь ту, до мнѣ! Ходзьце ту, вшисцы мои любы.» Такъ собиралъ и скликалъ онъ домочадцевъ, чтобы повѣдать имъ великую вѣсть. Онъ рѣ-

---

[1]) Жиды въ шабашъ зажигаютъ множество сальныхъ свѣчей, на высокихъ щегольскихъ мѣдныхъ подсвѣчникахъ.

шился, собравшись въ путь, купить лошаденку и отправиться немедленно къ покойному дѣду своему, въ Сквиру. Онъ вышелъ на ярмарку. Народъ столпился кружкомъ около какихъ то скомороховъ. — Неистовыя пѣсни цыганъ раздавались подъ гудокъ, скрыпицу и цымбалы; бѣшеная пляска ихъ приковала глаза зрителей. Кто не слышалъ цыганскаго напѣва и припѣва, кто не видалъ цыганъ въ пляскѣ, тотъ не знаетъ ни пѣсенъ русскихъ, ни пляски. Растолкуйте мнѣ, книжники и толковники всего поднебеснаго, отчего это заносное, блуждающее племя, со своими яркими, разительными, своенравными свойствами души и тѣла, отчего, говорю, цыгане столь самобытны и постоянны и въ то же время до такой степени пріурочились и обрусѣли, что собственно въ народномъ быту, въ сказкахъ, пляскахъ, пѣсняхъ и поговоркахъ превзошли народностію истинно-русскою коренныхъ русаковъ?

Цыгане подъѣзжаютъ, Богъ вѣсть откуда, и присутствуютъ на каждой ярмаркѣ, такъ же неизбѣжно, какъ нагорная снѣжная вода при вешнемъ половодьѣ. Трудно опредѣлить, что они дѣлаютъ, чѣмъ существуютъ—но они всегда убираются съ ярмарки сытыми и одѣтыми.

Ицька протолкался сквозь толпу зрителей и увидалъ ловкаго молодого парня въ красной рубахѣ, съ торбаномъ въ рукахъ, бѣснующагося въ присядку. Онъ пѣлъ и присвистывалъ, и игралъ и щелкалъ, и плясалъ и приговаривалъ. Другіе подыгрывали на скрипицѣ, на цымбалахъ; бабы и дѣвки вторили странно и дико, припѣвали и заливались рѣзкими, звонкими голосами, но безошибочно держались созвучія и никогда не сбивались съ ладу. — Между тѣмъ двое или трое другихъ цыганъ и цыганокъ толкались промежъ народа и не давали маху, коли гдѣ что плохо лежало;

тотъ, который плясалъ, пѣлъ и приговаривалъ въ ладъ и въ мѣру изреченія, подобныя какой-нибудь обыкновенной, разгульной пѣснѣ, но въ сущности содержащія на тотъ разъ приспособленныя, для товарищей и сотрудниковъ своихъ, наставленія; такъ, напримѣръ, сдѣлалъ онъ первый дѣльный переходъ вотъ какой:

Ой жги, да не зѣвай, говори — поглядывай;
А вонъ шапочка лежитъ, вонъ и аленькая...
А вонъ поясъ-кушачекъ — вонъ и шелковый...

Потомъ, намекая на возъ, на которомъ хозяинъ въ сѣрой свиткѣ, съ длиннымъ батогомъ, вывезъ на базаръ всякихъ съѣстныхъ припасовъ, а самъ стоялъ, разинувъ ротъ, цыганъ бородатый,—а это дѣйствительно былъ онъ,—пѣлъ:

Ой крупъ навезли, да и гречневыхъ; —
Ты греби ихъ, загребай, хозяина поминай,
Да и того-то не забудь, чего въ кашу-ту кладутъ.

Замѣтивъ же, что товарищъ его подбирался къ конямъ жидовскимъ, кричалъ онъ, выплясывая ногами дребедень:

Ой мерина бери, сивогриваго бери;
А гнѣдого не бери, онъ негоденъ никуды.

А наконецъ, когда цыгане нагрузили уже два мѣшка верхомъ, такъ что некуда было класть товаръ, а ротозѣи наши все еще не оглядывались, а до того брылѣ распустили, что не видѣли и не слышали ничего, кромѣ пѣсни да пляски цыганской, то подалъ онъ товарищамъ - сборщикамъ благой совѣтъ въ этой крайности:

Ой бабьи рубашки — да и тѣ же мѣшки:
Рукава-тѣ завяжи — да что хочешь положи!

Пляска кончилась, цыгане разбрелись, народъ хохоталъ долго за ними вслѣдъ, а когда обратились къ возамъ и припасамъ своимъ да спохватились того и другого—то уже не было ни суда, ни расправы.

Ицька Гобель до того восхитился пляскою и пѣснями, что, забывъ козни пріятеля своего, цыгана бородатаго, и думая только о наслѣдствѣ своемъ, запилъ съ нимъ мировую, ударилъ по рукамъ и купилъ у него иноходца—а жиды охотники до иноходцевъ—ѣхать за наслѣдствомъ въ Сквиру. Иноходецъ этотъ, впрочемъ, никогда не бывалъ иноходцемъ, но цыганъ бородатый, который, кажется, сумѣлъ бы и деревяннаго или пряничнаго конька обратить, на часъ продажи, въ арабскаго жеребца, — наѣздилъ проданную жиду клячу, стреноживъ ее, то есть спутавъ ей три ноги, и такимъ образомъ вынудилъ изъ нея какую-то искусственную, шаткую и валкую рысь, названную имъ иноходью. Еврей нашъ скоро будетъ разочарованъ: иноходь эта, что ведреная погода подъ Питеромъ, болѣе дня не стоитъ.

«Янка! Яне! Иванъ! вставай, мое сердце, я купилъ коня; закладывай да поѣдемъ въ Сквиру.» — Разумна голова, *якъ дижа*,—отвѣчалъ батракъ, почесываясь:— купилъ на ярмаркѣ, у цыгана, того гляди, что опять краденая.—«Того-то я и боюсь», отвѣчалъ Ицька: «оттого и тороплюсь и погоняю: запрягай да поѣдемъ, покуда не доискались.» Сѣли да поѣхали.

ПОХОЖДЕНІЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ.

Ночь до разсвѣта проѣхали они благополучно. Заря заиграла, и холодный утреникъ, морозецъ, пронялъ нашего Ицьку до-синя. Батракъ спалъ рядомъ съ нимъ, лежа какъ тюлень. Насилу хозяинъ его добудился и

сказалъ: «Иванъ, пора спочинуть, то есть отдохнуть, скажи-ка нашему коню *тпру*!» — А ты самъ что? — спросилъ Иванъ. «Губы замерзли», отвѣчалъ Ицька, у котораго зубъ на зубъ не попадалъ. Иванъ тпрукнулъ, кони стали у корчмы, и ихъ покормили; насилу опять впрягли упрямую клячу въ телѣженку и ѣхали, поматывая кнутикомъ, до обѣда, а потомъ и до вечера, и остановились ночевать въ корчмѣ, подъ огромнымъ навѣсомъ. Хозяинъ легъ на телѣжку, батракъ подъ телѣжку, и захрапѣли. Съ разсвѣтомъ Ицька проснулся, перевернулся на брюхо, высунулъ голову чрезъ край плетеной заспинки и началъ окликать батрака: «Иванъ! а Иванъ! Яне, Янка! Иванъ! Сердце!.. Ивашка, чуешь! Иванъ! а Иванъ! Ванька! Иванъ, а Янка!..» Надобно было удивляться хладнокровію, тупому равнодушію и какой-то лѣни въ холѣ, которая начитывала три четверти часа сряду: «Иванъ и Яне», измѣняя имя это по всѣмъ степенямъ сравненія и причудамъ употребленія. Но, когда наконецъ нельзя было докликаться Ивана, жидокъ нашъ перевернулся на бокъ и уснулъ Полчаса спустя, началась та же комедія. Заѣзжій хохолъ спросилъ наконецъ, вышедъ изъ терпѣнія: «*кого винъ у биса кличе? бо тамъ, пидъ возомъ, не мае никого*!» Ицька вдругъ поспѣшно соскочилъ и увидѣлъ, что Ивана не было. Онъ бѣжалъ ночью, унесъ тулупъ жидовскій и вытянулъ у соннаго жида изъ кармана кожаную кису съ деньжонками... виноватъ, съ черепками.

Можетъ быть, въ другое время это привело бы Ицьку въ отчаянье; но теперь, когда онъ ѣхалъ за богатымъ наслѣдствомъ, оказалось на дѣлѣ все мужество великой души его: онъ началъ, прикусивъ языкъ, собираться въ путь и не уронилъ ни словечка. Повременамъ только хватался онъ за карманъ и покачивалъ головой. Строптивый иноходецъ долго противился вожѣ

новаго хозяина своего; привыкнувъ къ сѣдлу, неохотно подставлялъ онъ голову подъ хомутъ. Но Ицька вразумилъ его: онъ ухватилъ плетку и началъ стегать иноходца, приговаривая: «Вертись, шкура, голова до хомута! Вертись, повертывай голову до хомута!»

Ицькѣ оставалось немного ѣзды, но чѣмъ ближе онъ подъѣзжалъ, тѣмъ болѣе разгоралось ретивое, тѣмъ болѣе онъ гналъ. Стало смеркаться, и иноходецъ присталъ, присталъ за полверсты до мѣстопребыванія покойнаго дѣда Ицьки Гобеля. Ицька билъ иноходца своего, стегалъ его, кричалъ, понукалъ, манилъ его сѣнцомъ и травкою,—все тщетно: сталъ какъ вкопанный. Тогда Ицька вышелъ изъ терпѣнія, отложилъ его, привязалъ, въ наказаніе, за поводъ, позади бриченки, самъ ухватилъ оглобли, потянулъ телѣгу въ упоръ по дорогѣ, и только иногда, оглядываясь назадъ, на коня, ворчалъ про себя: «Не хотѣла, *бисова дѣтцко*, ѣхать въ телѣгѣ—такъ ступай пѣшкомъ!»

Огоньки родной Сквиры свѣтились уже невдалекѣ, Ицька спускался подъ гору къ мѣстечку; сердце у него прядало и стучало вслухъ. Кому случалось проѣзжать Сквиру, тотъ, можетъ быть, припомнитъ, что у въѣзда есть пустопорожняя застава, будка и шлагбаумъ, при которомъ на все время, когда городъ не занятъ постоемъ, не бываетъ ни души. Ицька подъѣхалъ почти вплоть къ заставѣ, когда его окликнули: «Стой! отколѣ ѣдешь?» По жидовской привычкѣ, Ицька на это отвѣчалъ вопросомъ же: «*А? что?*»—отколѣ ѣдешь?—повторилъ тотъ же голосъ. «*Отколь я ѣду?*» — Да, да, отколѣ ѣдешь? — ««*Кто, я?*» — Да, ты? — «*Я ѣду изъ Шклова.*»—Такъ поди сюда, записаться,—сказалъ часовой. Ицька сталъ подходить — никого не видать; обошелъ будку, все темно и пусто; шлагбаумъ опущенъ и придавленъ вплоть къ землѣ парою тяжелыхъ каменьевъ. Сообразивъ все это, Ицька весьма справед-

ливо заключилъ, что кто-нибудь надъ нимъ вздумалъ подшутить и вѣроятно скрылся. Онъ подошелъ къ шлагбауму, чтобы поднять его и очистить себѣ дорогу, сѣлъ верхомъ на брусъ и началъ сворачивать тяжелые каменья. Лишь только еврею, въ которомъ было вѣсу не болѣе, чѣмъ въ кошкѣ его, удалось это исполнить, какъ короткое плечо рычага взяло перевѣсъ, облегченный же длинный конецъ шлагбаума быстро взмахнулъ къ верху и нашего жидка приподняло, какъ дрозда на лучкѣ: Ицька Гобель, наслѣдникъ покойнаго дѣда своего, возсѣдалъ верхомъ, выше лѣсу стоячаго, пониже облака ходячаго, среди неба и земли, и завывалъ, въ темную холодную ночь, жалобнымъ, протяжнымъ напѣвомъ, оглашая пустынное поле воплемъ, издалека подобнымъ ночному оклику неискуснаго часового.

Цыганъ бородатый выскочилъ изъ-за будки, отвязалъ своего иноходца, сѣлъ на него, свистнулъ, поплелся и закричалъ Ицькѣ: «Прощай, братъ Ицька, жди, пожди Мессію! Это тебѣ и твоимъ за плутни ваши, за разбой чужихъ кармановъ, за подмѣнъ грошей копѣйками да шелегами!

Сказывать ли еще, какъ жители Сквиры подоспѣли, однакоже не прежде разсвѣта, на плачъ Ицькинъ, какъ спускали его, по дрючкамъ, веревкамъ и лѣстницамъ, съ шлагбаума, и при этомъ и сами попадали, и ему ногу выломили? Какъ строгій дѣдъ его, который, на зло бѣдному наслѣднику, живъ еще и поднесь, первый поднялъ камышевую трость на блуднаго, шального внука, и прочее, и прочее, и прочее? Кажется, будетъ, и довольно; что слушать, то и сказывать, всякому любо и вольно, да пора и честь знать, пора дать роздыхъ и вамъ, дѣтки, да и Ицькѣ; онъ измучился, а вы устали — а мы сказку свою досказали.

СКАЗКА СЕДЬМАЯ,

о нѣкоемъ православномъ покойномъ мужичкѣ и о сынѣ его, Емелѣ дурачкѣ.

Везетъ счастье безтолковое, везетъ хитрость пронырливая, людская, и всякая кривая неправда, везетъ часомъ и просто дурь нагольная, глупость простоволосая! И на что же, скажите, придумали люди *умъ* да *разумъ*, и придираются, доискиваются *совѣсти*, какъ бывало Соломонида, кума моя, поскребышкомъ изъ квашни порожней, и докучаютъ и себѣ и людямъ? По нашему: день прошелъ, такъ и спать пошелъ; день разсвѣлъ,—всталъ да поѣлъ; а кто поспоритъ со мной, станетъ поперечить, тому скажу я сказку про нѣкоего православнаго покойнаго мужичка и про сына его, про Емелю дурачка, а кума придакнетъ, скажетъ: и вѣстимо, родимый, отъ ума лишняго и чернокнижество родилось; а совѣстливый, — примолвитъ сватъ Демьянъ,—и изъ-за сытнаго стола голодный встаетъ!

Стояла на рѣкѣ судоходной слобода; въ слободѣ той жилъ старикъ и при немъ три сына: двое умныхъ, а третій дуракъ. Умныхъ не станемъ мы называть по имени; умниковъ на бѣломъ свѣтѣ много, всѣхъ не докличешься, не дозовешься; а дурака звали

Емелею, Емелею дуракомъ. Старикъ умныхъ двухъ сыновей своихъ оженилъ, а Емелѣ наказалъ оставаться холостымъ, покуда развѣ не проглянетъ душою, не поумнѣетъ. «Пусть будетъ бѣда», говаривалъ старикъ: «не было бы грѣха, чтобы не было, чего добраго, его масти приплоду!» А когда наконецъ старикъ этотъ задумалъ умирать, то раздѣлилъ всѣ пожитки свои и скотину на двѣ равныя части, умнымъ сыновьямъ своимъ, и оставилъ кромѣ того, всѣмъ тремъ, и Емелѣ тоже, по сту рублевъ; а самъ, преставившись, вознесся душою въ вѣчность. Сыновья умные поплакали, дуракъ голову почесалъ, а потомъ похоронили они отца своего, сообща честно и порядочно, со всѣми должными обрядами.

Братья-умники, потолковавъ между собою вдвоемъ, сказали дураку: «Послушай, отдай ты намъ деньги твои, сто рублевъ, мы пойдемъ съ братомъ въ городъ торговать; а когда, по благословенію въ Бозѣ почившаго отца и родителя нашего, приторгуемъ великіе барыши, то купимъ тебѣ красный кафтанъ, красную шапку и красные сапоги! А ты, тѣмъ часомъ, сиди дома, оставайся хозяиномъ да слушайся невѣстокъ своихъ и дѣлай все, что онѣ тебѣ ни велятъ!»

Емеля, которому страхъ хотѣлось пройтись по слободѣ въ красномъ кафтанѣ, красной шапкѣ и красныхъ сапогахъ, деньги отдалъ братьямъ и охотно на все согласился. Итакъ, братья поѣхали, а онъ остался съ невѣстками. Емеля весь Божій день лежалъ на полатяхъ либо на печи, и только посуливъ ему луку да толокна съ квасомъ, — до чего онъ былъ страстный охотникъ и ѣдокъ за семерыхъ, — могли допроситься невѣстки, чтобъ онъ пособилъ имъ по хозяйству.

«Поди, Емеля дурачекъ», сказали онѣ ему однажды, «принеси-ка воды!» А дѣло было зимою, и стужа православная.—А вы что?—отвѣчалъ Емеля. «Какъ, что»,

сказали невѣстки: «наше дѣло бабье; ты знаешь, что кошка съ бабой всегда въ избѣ, а мужикъ да собака завсегда на дворѣ; тебѣ не слѣдъ въ избѣ на печи валяться! Видишь, какой морозъ на дворѣ; тутъ не только бабѣ, и мужику впору выйти; а мы тебѣ луку да толокна съ квасомъ припасемъ; а если не пойдешь, такъ скажемъ мужьямъ нашимъ; они тебѣ тогда не справятъ ни красной шапки, ни краснаго кафтана, ни красныхъ сапоговъ!» Услышавъ такія лестныя и убѣдительныя рѣчи, слѣзъ Емеля съ печи, одѣлся, обулся, взялъ ведра, топоръ и пошелъ по воду. Пришедъ на рѣку, прорубилъ онъ прорубь сажени въ двѣ и примѣрялъ топорищемъ по коромыслу, не тѣсно ли будетъ въ оба ведра воды зачерпнуть. Наконецъ, сладилъ, воды набралъ, ведра поставилъ на ледъ и глядѣлъ, почесывая голову, въ полынью свою. Вдругъ въ ней всплыла большая щука. Щука въ полыньѣ умному въ руки не дастся; а Емеля, сдуру, засучилъ рукавъ, присѣлъ, запустилъ руку въ полынью и — вытащилъ щуку! «На что ты меня поймалъ?» спросила щука, когда Емеля сталъ сажать ее за пазуху.— Какъ на что?—отвѣчалъ Емеля:—отдамъ тебя невѣсткамъ, такъ онѣ сварятъ тебя, а я тихонько унесу да съѣмъ, да закушу толокномъ съ квасомъ, да лукомъ! Ты, чай, не знаешь, что у меня будетъ нынче лукъ и толокно?—«Знаю, отвѣчала щука, «а на что же тебѣ меня, когда у тебя будетъ и лукъ и толокно?» — Толокно толокномъ,—отвѣчалъ дуракъ:—и лукъ лукомъ, и квасъ квасомъ, а ты таки поди въ корчагу!—«Пусти меня», просилась щука: «я за это исполню всякое и любое твое желаніе!» — Это не худо, — подумалъ дуракъ.—Да дѣло въ томъ: жилъ-былъ мужикъ въ бѣдѣ крутой и посулилъ всѣмъ угодникамъ, по обѣту, поставить по гривенной свѣчѣ, а когда выпутался обѣщанникъ нашъ, такъ говоритъ: «не дамъ, подите,

ищите на мнѣ!» Такъ и я отпущу тебя тогда, когда ты мнѣ сперва службу отслужишь, не прежде; когда рожь, тогда и мѣра!—«Положи же меня опять», отозвалась щука, «на самый край полыньи, чтобы я, по крайней мѣрѣ, могла доставать носомъ воду и въ жабры выпускать ее, а самъ поди на берегъ, оглянись на всѣ четыре стороны и, если увидишь галку бѣлохвостую, то подойди потихоньку и поймай ее такъ же искусно, какъ ты поймалъ меня; посади ее за пазуху и скажи: по щучьему велѣнью, по моему прошенью, перекинься, галка двуногая, бѣлохвостая, въ чертёнка двурогаго, чернохвостаго; а что дальше будетъ, самъ увидишь; но меня въ прорубь посадить не позабудь; если же я усну на льду, такъ тебѣ худо будетъ!»

Емеля вышелъ на берегъ, оглянулся и увидѣлъ на землѣ чернильницу, въ которой стояло бѣлое перо и отъ вѣтра повертывалось. Земскій исправникъ, пріѣхавшій въ слободу на слѣдствіе, по доносу, который былъ имъ отысканъ и узнанъ въ печатномъ предсказаніи Мартына Задеки, гдѣ сказано, что въ Россіи скрываются еще великія сокровища, — земскій исправникъ этотъ привезъ, для слѣдственнаго дѣла, изъ уѣзднаго города чернильницу, далъ ее подержать писарю волостному, а тотъ, ознобивъ съ ней руки, поставилъ ее на снѣгъ, а самъ дулъ въ кулаки и проминался. Емеля счелъ чернилицу съ бѣлымъ перомъ бѣлохвостою галкой, онъ снялъ съ головы шапку, подкрался къ птахѣ ползкомъ и благополучно ее накрылъ. Не успѣлъ онъ вынуть чернильницу изъ-подъ шапки, ровно соловья изъ-подъ лучка, и вымолвить заклинаніе: по щучьему велѣнью, по моему прошенью, перекинься, галка двуногая, бѣлохвостая, въ чертёнка двурогаго, чернохвостаго—какъ въ рукахъ у него зашевелилось и выползъ изъ чернильницы смуглый, рогатый, чернохвостый

чертёнокъ! Емеля дурачекъ поймалъ его, какъ зайченка, за заднія лапки, и хохоталъ, бока надсадилъ, кишки порвалъ, когда тотъ началъ хрюкать и визжать поросенкомъ, рваться и проситься на волю, къ земскому. «Пусти меня», говорилъ чертёнокъ: «я тебѣ за это, чего ни пожелаешь, все сдѣлаю!» — Врёшь,— отвѣчалъ Емеля:—обманешь, въ лѣсъ уйдешь; сулилъ панъ шубу, да не далъ; а слово его и тепло, да не грѣетъ! Пойдемъ-ка вмѣстѣ на полынью, потолкуй тамъ съ кумой, со щукой; либо я тебя утоплю, а ее на берегъ закину, либо дадите напередъ, что посулили!

«А что бы ты пожелалъ себѣ?» спросилъ чортъ, «проси съ меня службу троякую; пожелай въ три раза, чего хочешь?»

— Напередъ, — сказалъ Емеля, — чтобы у меня всегда было въ волю луку, квасу и толокна; потомъ, чтобы всякая работа, къ какой меня невѣстки или другой кто ни приставятъ, сама собою дѣлалась; а еще въ третьихъ... а въ третьихъ, еще луку, квасу и толокна!

«Все это передъ тобою», захрюкалъ чертёнокъ: «помни только заговоръ, который тебѣ скажу: по щучьему велѣнью, по моему прошенью, по земскому рѣшенью, будь то и то, и будетъ.» — Попытаемся,— сказалъ Емеля.—По щучьему велѣнью, по моему прошенью, по земскому рѣшенью, луку, квасу и толокна!—Все явилось. — Ладно, — сказалъ онъ: — сытъ; не хочу больше! Всегда ли такъ будетъ? — «Всегда», отвѣчалъ чертенокъ. Емеля теперь отпустилъ чертёнка на волю, посадилъ щуку въ прорубь, сталъ передъ своими ведрами, которыя тѣмъ часомъ примерзли ко льду, такъ что онъ не могъ ихъ оторвать: «по щучьему велѣнью, по моему прошенью, по земскому рѣшенью, подите, ведра, не расплескивая воды, на гору, да станьте въ избу, на лавку!» Ведра пошли сами на гору, съ боку на бокъ, какъ фря какая, съ

башмачка на башмачокъ переваливаясь, коромысло долговязое плакалось на скороходовъ и чрезъ силу ихъ догоняло. Сосѣди, глядя на это, крайне удивлялись такому чуду: ведра сами идутъ, а Емеля нашъ вслѣдъ за ними, лукомъ заѣдаетъ, ихъ, какъ утокъ, передъ собою погоняетъ. Полныя ведра стали въ избѣ, на лавку, а Емеля нашъ влѣзъ опять на печь.

Но невѣстки не давали ему покоя и говорили: «Ты бы, дуракъ, пошелъ да дровъ нарубилъ.»—А вы что?—спросилъ Емеля. «Какъ, что?» отвѣчали тѣ: «женское ли это дѣло, дрова рубить? Теперь время холодное; не пойдешь, такъ ты озябнешь, на холодной печи лежа, а краснаго кафтана, красной шапки и красныхъ сапоговъ и во снѣ не увидишь!» Тогда Емеля, лежа на печи, тихо промолвилъ: «По щучьему велѣнью, по моему прошенію, по земскому рѣшенью, поди, топоръ, наруби дровъ; а вы, дрова, сами въ избу ступайте, въ печь полѣзайте!» И отколѣ ни взялся топоръ, выскочилъ на дворъ, нарубилъ дровъ охапку большую, а самъ пришелъ, да и легъ подъ лавку. Дрова въ избу ввалились и стали, полѣно чрезъ полѣно, съ полу да въ печь кидаться, а Емеля лежалъ себѣ на печи, ѣлъ лукъ, да толокномъ съ квасомъ прихлебывалъ!

«Емеля», сказали ему невѣстки: «дрова у насъ вышли всѣ; поѣзжай-ка ты въ лѣсъ да привези, а не то такъ и не будетъ тебѣ краснаго кафтана!» Емеля не сталъ на этотъ разъ и отнѣкиваться, а, вздумавъ еще кстати подшутить надъ цѣлой слободой, слѣзъ съ печи, одѣлся, обулся, вышелъ на дворъ, вытащилъ изъ-подъ сарая дровни, навалилъ въ нихъ луку и толокна, сѣлъ и велѣлъ невѣсткамъ растворить ворота пошире. Сани, по щучьему велѣнью, по земскому рѣшенью, понеслись слободою—да прямо въ лѣсъ, только подъ полозьями снѣгъ скрипитъ!

Но въ лѣсъ должно было ѣхать черезъ городъ: народъ тамъ сбѣжался, на улицахъ давка, заторъ, всѣмъ хотѣлось поглядѣть на такое чудо, что ѣдутъ сани безъ лошадей, а оглобли завожжены! Но дуракъ Емеля, не разумѣвъ, что должно кричать: «пади!» а съѣзжаясь съ другими санями: «держи правѣй-ты! — передавилъ въ томъ городѣ множество людей, конныхъ и пѣшихъ и санныхъ. Доѣхавъ же до лѣсу, сказалъ онъ: «По щучьему велѣнью, по моему прошенью, по земскому рѣшенью, поди, топоръ, наруби дровъ—да шевелись у меня! А вы, дрова, въ вязанки вяжитесь да на дровни ложитесь!» Топоръ пошелъ долбить, съ березы на березу, какъ дятелъ; нарубилъ дровъ, навязалъ беремей съ десятокъ, навалилъ въ сани, — дуракъ сѣлъ, лукомъ закусилъ, и сани пошли чесать по мороженному, какъ по писанному!

Но въ городѣ, гдѣ онъ передавилъ народъ, его уже стерегли, и кинулись и ухватились за него, стали тащить съ саней и бить. Тогда Емеля проговорилъ тихо, про себя: «по щучьему велѣнью, по моему прошенью, по земскому рѣшенью, разсыпься одно беремя, которое побольше, на полѣнья, а вы, полѣнья, постарайтесь около этого затора, пересчитайте-ка всѣмъ имъ ребра, поломайте имъ головы!» Не успѣлъ вымолвить Емеля заклинанія, какъ полѣнья выскочили изъ саней и пошли крестить по народу, по чемъ попало; трескотня по лбамъ, по затылкамъ пошла такая, что небу жарко стало. А Емеля покинулъ оглобли: «Эй вы, миленькія, аль вы забыли, какъ прежде любили!» Самъ тряхнулъ вожжами — оглобли помчали его, онъ пріѣхалъ въ слободу свою, во дворъ, въ избу, и полѣзъ на печь.

Вскорѣ весь тотъ край заговорилъ о Емелѣ дурачкѣ и о проказахъ его; народъ сходился и сбѣгался со всѣхъ концовъ на родину его, чтобы поглядѣть на этого чудодѣя; а онъ и усомъ не ведетъ! Лежа на

печи, ѣстъ колачи, толокно съ квасомъ да лукъ, и знать никого не хочетъ.

Наконецъ, вѣсть объ этомъ дошла и до короля той страны; королъ захотѣлъ непремѣнно увидѣть Емелю, послалъ одного чиновника своего и приказалъ привезти его немедленно. Чиновникъ тотъ вскорѣ напалъ на слѣдъ, отыскалъ слободу, въ которой проживалъ Емеля дурачекъ, позвалъ старосту и велѣлъ привести дурака къ себѣ. Староста пошелъ, но воротился съ отвѣтомъ, что Емеля нейдетъ: ему дома, на печи, и сытно и тепло! Тогда чиновникъ тотъ созвалъ всѣхъ приспѣшниковъ своихъ, приказалъ подать себѣ всѣ уборные припасы и снаряды и лучшіе цвѣтные наряды, и пошелъ самъ за Емелею. «Слѣзай съ печи, дуракъ», — сказалъ онъ Емелѣ: «да одѣвайся».—А зачѣмъ?—спросилъ тотъ.—«Какъ, зачѣмъ», отвѣчалъ чиновникъ: «ты слышишь, дуракъ, что тебя требуетъ король: я тебя повезу къ королю!» — А чего я тамъ не видалъ? — опять спросилъ Емеля:—у меня луку да квасу съ толокномъ и здѣсь вволю!

За такую дерзость чиновникъ ударилъ его по щекѣ; а Емеля, не марая рукавицъ, сдалъ его на руки помелу, и велѣлъ, по щучьему велѣнью, по своему прошенью, почистить ему галуны, нафабрить усы и вытолкать по загривку. Сказано-сдѣлано. Чиновникъ сѣлъ и поѣхалъ во свояси, и путемъ-дорогою былъ, сказываютъ, послѣ Емелиной чистки, тише воды, ниже травы. Король отвѣту его весьма изумился и послалъ немедленно другого, поменьше чиномъ да поумнѣй аршиномъ, и велѣлъ какъ-нибудь обмануть дурака и привезти его непремѣнно. Тотъ, пріѣхавъ въ слободу, позвалъ старосту и велѣлъ привести къ себѣ людей, съ которыми Емеля дуракъ живетъ. Староста побѣжалъ, накинувъ зипунъ, и позвалъ невѣстокъ дурачка Емели. «Что вашъ дуракъ любитъ?» спросилъ чинов-

никъ у нихъ: «и чѣмъ бы его съ печи сманить и въ столицу заманить?»—Милостивый государь,—отвѣчали невѣстки:—дуракъ нашъ любилъ когда то толокно съ квасомъ да лукъ; бывало, посулишь, такъ и въ огонь и въ воду готовъ, а нынѣ онъ разжился самъ на свою руку этимъ добромъ, сытъ по горло и по уши! Но дуракъ нашъ не терпитъ угрозъ, а любитъ, чтобы его просили до трехъ разъ и посулили наконецъ красный кафтанъ, красную шапку и красные сапоги; тогда уже вѣрно онъ сдѣлаетъ то, о чемъ его просятъ.

«Слѣзай съ печи, Емеля», сталъ уговаривать его новый посланецъ королевскій. «Поѣдемъ въ городъ престольный!»—А зачѣмъ?—спросилъ дуракъ:—чего я тамъ не видалъ?—«Будешь большимъ бариномъ», отвѣчалъ посланецъ: «вельможею; развѣ ты не знаешь, что близъ короля живутъ и родятся все только бары да вельможи?»—Близко родятся, да далече умираютъ,—отвѣчалъ дуракъ: — нѣтъ, мнѣ и здѣсь хорошо! А когда королю твоему завидно, что я досыта доѣдаю, плотно досыпаю, такъ возьми—вотъ тебѣ охапка луку зеленаго, да набери ему, пожалуй, толокна въ шапку, да и ступай!—«Поѣдемъ, Емеля», просилъ посланецъ королевскій: «тебѣ король сошьетъ красный кафтанъ, красную шапку и красные сапоги!» И невѣстки стали также просить его и уговаривать. — Ну, когда такъ, такъ поѣдемъ,—отвѣчалъ Емеля. — Поѣзжай же ты у меня впередъ, очищай дорогу, а я тебя обгоню.—Посланецъ спросилъ невѣстокъ, не обманетъ ли его дуракъ? Но онѣ ему отвѣчали: «что́ Емеля однажды скажетъ, то по глупости своей и сдѣлаетъ непремѣнно.» Посланецъ сѣлъ и поѣхалъ; Емеля наѣлся толокна съ лукомъ да съ квасомъ, выспался, а когда невѣстки его наконецъ разбудили, сказавъ ему, что уже пора ѣхать, тогда онъ, не слѣзая съ печи, вымолвилъ: «По щучьему велѣнью, по моему прошенью,

по земскому рѣшенью, поѣзжай-ка ты, печь, во стольный градъ, да прямо къ королю на дворъ! — Изба затрещала, разступилась, печь затопленная поползла въ городъ престольный по гладкой зимней дорогѣ, что по маслу! Емеля обогналъ дорогою посланца и поспѣлъ къ королю на дворъ: еще труба экипажа его дымилась и сало во щахъ не остыло!

Король и всѣ бояре придворные, стольники, чашники, окольничьи, воеводы, крайне чуду сему изумились: имъ не случалось еще видѣть, чтобы кто разъѣзжалъ, лежа на печи! А дуракъ лежалъ, толокно хлебалъ, лукомъ закусывалъ, съ боку на бокъ повертывался, кряхтѣлъ, ни на кого не глядѣлъ!

Король подошелъ къ нему и спросилъ: «Скажи-ка ты мнѣ, если самъ знаешь: кто ты таковъ и къ кому ты пріѣхалъ?»

— Я Емеля дурачекъ, ѣмъ съ квасомъ чесночекъ, а пріѣхалъ къ тебѣ за краснымъ кафтаномъ, красною шапкой и красными сапогами! Здравствуй, король! Для чего же ты меня призвалъ?

— А для чего ты дуракъ?—спросилъ король.

— Не скажешь никому, — отвѣчалъ Емеля: — такъ я тебѣ, пожалуй, открою душу свою, разскажу всю подноготную. Я было, признаться, родился у отца да у матери умницею, такъ меня бабка подмѣнила — я подкидышъ!

— Зачѣмъ ты народъ въ городѣ передавилъ?—спросилъ его король.—Не я давилъ, сани давили, — отвѣчалъ дуракъ.—Да кто же виноватъ, когда они стоятъ, какъ лабазники на переторжкѣ — рты разинувъ, глаза вылупивъ; ихъ дѣло отступиться!.. Здравствуй, подсолнечникъ!—продолжалъ онъ, повертываясь на брюхо и кивнувъ по-пріятельски головою на одного почетнаго кавалера. — «Развѣ ты знаешь его?» — спросилъ король.—Какъ не знать, я всѣхъ ихъ знаю! — отвѣчалъ

дуракъ.—Это міряне, родомъ дворяне, на шеѣ креста нѣтъ, а табакерка серебряная! Вотъ этотъ, что рожа сѣдымъ мохомъ поросла, это парень добрый: онъ съ нищаго суму сыметъ, когда самому понадобится; послѣдній кушакъ на глаголь отдастъ, а самъ по міру пойдетъ! Они ребята дружные, да и не мудрено: клинъ плотнику товарищъ — а рыбакъ рыбака далеко въ плесѣ видитъ! А этотъ, что пригладился, припомадился, такъ что и кованая козявка на лбу не удержится, надакался да налакался, до того, что оскомину набилъ, какъ ретивая кобыла сухимъ ячменемъ: это— наволока камчатная, да соломой набита! А ты — что чужому смѣху смѣешься? Найди свой, немогузнайка, да и смѣйся! Ты малый съ ногтемъ, черезу волосъ посѣдѣлъ, а все прикидываешься олухомъ Царя небеснаго! Сѣдина въ бороду, а бѣсъ въ ребро! Онъ воду мутитъ, да рыбу удитъ — будь плохъ, не подастъ и Богъ; ну да всего не переймешь, пріятель, что по рѣкѣ плыветъ; оставь поудить и дѣткамъ своимъ! А тотъ, что шапкой подъ мышкой мозоли натеръ, съ виду простъ, ходитъ за тобой, какъ за лисою хвостъ, а самъ звѣремъ въ лѣсъ глядитъ, походя хвалится, что на зиму обулъ тепло и своихъ и чужихъ, — онъ, правда, построилъ на нихъ варежки шерстяныя, да дырья то въ нихъ нитяныя! Я бы его пожаловалъ за это изъ поповъ да въ діаконы! Ну, да онъ, правда, и чисто строчитъ, и концы хоронитъ; — у него рыбы нѣтъ, нѣтъ, а поглядишь—ушица есть!.. Что? не любо! поморщились всѣ, словно голенища смазныя!—Да, поговорка моя не крупичатая: она ржаная, хлѣбная: ваше пузо отъ нея и пучитъ, дуетъ! она — быль, не быль, а у были гостила, да и къ вамъ, на печи, въ задатокъ погостить пріѣхала! Она, по напушному обычаю, со мною побраталась и служитъ нынѣ у меня на печи заурядъ-хозяйкою; а старуха помолоть — охулы

на свою руку не положитъ; баба съ печи летитъ, семьдесятъ семь думъ думаетъ!

Въ это время Емеля увидѣлъ стоящую въ окнѣ терема королевскаго прекрасную дочь короля, драгоцѣнную Махлаиду, и подумалъ про себя вскользь:—что, кабы, по щучьему велѣнью, по моему прошенью, по земскому рѣшенью, да влюбилась бы въ меня прекрасная Махлаида?—А потомъ, понукнувъ тѣмъ же заговоромъ печь свою, отправился во-свояси. Пріѣхалъ—не здоровался, поѣхалъ — не простился! Изба родимая его разступилась, печь стала на свое мѣсто, и Емеля опять принялся за работу; спитъ — съ него паръ валитъ, бока грѣетъ да лукъ съ толокномъ уписываетъ: только пищитъ да за ушами трещитъ!

Но у короля въ золоченыхъ теремахъ стало тою порой нездорово. Драгоцѣнная дочь его, Махлаида королевна, встосковалась по Емелѣ, что по суженомъ; возьми да подай, — хоть роди, да подай!.. Безъ ножа зарѣзалъ! Всплакался тогда отецъ, король, на Емелю дурака и велѣлъ позвать къ себѣ того чиновника своего, который въ первый разъ безуспѣшно за Емелею ѣздилъ. «Ты въ моемъ цвѣтномъ кафтанѣ ходить — ходишь,» сказалъ онъ ему: «хлѣбъ-соль мою ѣсть — ѣшь, а службы моей служить—не служишь; такъ, если не хочешь быть тамъ, гдѣ и самъ чортъ рѣдьки не строгалъ, такъ поѣзжай да привези мнѣ Емелю дурачка во дворецъ!»

Чиновникъ поѣхалъ, прибылъ въ ту слободу, гдѣ Емеля ему помеломъ усы нафабрилъ и пряжку почистилъ, высыпалъ старостѣ мѣшокъ пятаковъ и велѣлъ ему заготовить столъ, звать Емелю къ себѣ и напоить его пьянымъ до упаду, а потомъ укласть спать. Староста ослушаться чиновника того не посмѣлъ; по сказанному какъ по писанному сдѣлалъ и исполнилъ все; а когда дуракъ уснулъ, то чиновникъ связалъ его по

рукамъ и по ногамъ, уклалъ пьянаго и сонпаго въ сани свои и примчалъ во весь духъ въ престольный градъ и къ королю во дворецъ. Король немедленно позвалъ къ себѣ одного заморскаго нѣмца, искуснаго на всякія нечистыя издѣлія и чернокнижныя ремесла и художества, и повелѣлъ ему учинить немедленно такую замысловатую хитрость, чтобы пустить подъ облака закупоренную и засмоленную бочку, въ которой были засажены дочь королевская и дурачекъ Емеля; ибо король за горячую и неприличную любовь ихъ изволилъ непомѣрно разгнѣваться. И нѣмецъ тотъ, вынувъ изъ живой севрюги пузырь, вставилъ въ него соломинку, раздулъ его въ три копны сѣна, изладилъ и привязалъ къ бочкѣ той, въ которой сидѣла дочь королевская съ милымъ дружкомъ своимъ, Емелею дурачкомъ—и бочка снялась съ мѣста и пошла подъ облака, словно стрѣла пернатая!

Махланда королевна плакала горько и обнимала во тьмѣ непроницаемой предметъ жаркой страсти своей, а дуракъ нашъ спалъ, насилу выспался, и отвѣчалъ прекрасной Махландѣ королевнѣ, которая заклинала и умоляла его всѣми святыми высвободить себя и ее изъ неволи темной: «мнѣ и здѣсь тепло; не хуже печи, да только голова болитъ съ похмелья!» Но Махланда королевна начала, весьма жалобнымъ напѣвомъ и слезами, изображать печальное положеніе свое и разжалобила чувствительнаго дурака до того, что онъ рѣшился пособить горю ея, чтобы только избавиться отъ этихъ нѣжныхъ и жалобныхъ пѣсенъ, что скорѣе, то лучше! Итакъ, онъ тихо промолвилъ: «по щучьему велѣнью, по моему прошенью, по земскому рѣшенью, лети бочка за тридевять земель, въ государство тридесятое, на островъ пустынный, среди моря-окіана, и сядь тамъ на лужокъ, какъ на кровлю снѣжокъ, — а вы, клёпки, раздайтесь, разсыпьтесь; а ты, край

чужой, гостей новыхъ принять и угостить изготовься, хлѣбъ-соль къ новоселью припасти позаботься!

И бочка сѣла на луга шелковые, во цвѣты лазоревые; клепки разсыпались, и чета наша разгульная вступила во страну привольную; мало того, что яствъ прѣсныхъ и пряныхъ, напитковъ сладкихъ и рьяныхъ въ волю, но и чудесъ разныхъ припасено и приспособлено ко всякимъ нуждамъ и потребностямъ; стоитъ, напримѣръ, корова — золотые рога, на одномъ рогу баня, на другомъ котелъ — есть гдѣ помыться, попариться, на лбу, промежъ рогами, выспаться! Но Махлаида королевна стала просить неотступно возлюбленнаго дурака своего, чтобы онъ постарался и потрудился отстроить ей жилище, подобное тѣмъ, каковыми пользуются люди въ земляхъ и странахъ нашихъ; «ибо всѣ эти чудеса хороши для праздника», говорила она Емелѣ: «а въ будни намъ здѣсь отъ причудъ и дѣваться некуда!» — По щучьему велѣнью, по моему прошенью, по земскому рѣшенью, станьте, палаты венецейскія, бѣломраморныя, зеркальныя, золотыя, хрустальныя, среди острова нашего пустыннаго!—И палаты со всѣми причудами и барскими затѣями явились и стали. Но Махлаида королевна, по той же пословицѣ,—баба съ печи летитъ, семьдесятъ семь думъ думаетъ — начала теперь просить Емелю дурака, чтобы онъ потщился открыть сообщеніе съ матерью-землею; ибо, какъ ни весело ей было жить съ Емелею, но все она безъ людей скучала и не могла при томъ одолѣть желанія своего увидѣться съ дражайшимъ родителемъ своимъ и королемъ. Емеля дуракъ построилъ немедленно, по щучьему велѣнью, по своему прошенью, безъ чертежей на планъ, профиль и фасады, хрустальный мостъ на таковыхъ же сводахъ, украсилъ каменьями самоцвѣтными и перилами жемчужными и вывелъ другой конецъ его прямо подъ

парадное крыльцо короля, отца-родителя прекрасной и драгоцѣнной Махлаиды; а самъ хотѣлъ было съ нею немедленно пуститься, по новому мосту своему, въ путь-дорогу—какъ вдругъ спохватился про себя, что всѣ люди, какъ люди, а онъ одинъ дуракъ, и что ему стыдно и совѣстно будетъ съ королевскою дочерью въ люди показаться; а по завѣту покойнаго отца своего, нельзя даже на ней и жениться, доколѣ не сдѣлается умнымъ; «а что уже теперь безъ свадьбы дѣло не обойдется, это», сказалъ Емеля про себя: «и я своимъ умомъ смекну, и кукса по пальцамъ перечтетъ! Итакъ, пожелаю я еще разъ, напослѣдяхъ, для себя ума палату, про свой обиходъ и про женину растрату, да и зарекусь, закаюсь, отъ щуки и отъ земскаго отчураюсь! По щучьему велѣнью, по моему прошенью, по земскому рѣшенью, стань я уменъ, молодецъ какъ орелъ и удалъ какъ соколъ!» И сдѣлавшись немедленно умнымъ и пригожимъ, раздумалъ идти къ тестю своему, а послалъ почетныхъ бояръ, изъ числа дворни своей, пройти по новому мосту и звать короля со свитою своею и челядью къ себѣ, на новооткрытый островъ, въ новоотстроенный дворецъ венецейскій, на богатый пиръ. Король посланію сему изъ новаго царства весьма удивился, а еще болѣе, когда узрѣлъ неслыханный и почти баснословный мостъ, стоящій радугою самоцвѣтною, одною пятою на островѣ, среди моря-окіана, другою пятою на парадномъ крыльцѣ замка его,—и отправился въ назначенный часъ со свитою своею къ явленному, великоименитому, великодаровитому царю-сосѣду своему на пиръ.

Министры и царедворцы короля нашего, видя такое необыкновенное великолѣпіе, пышность и роскошное убранство, разсудили, что это долженъ быть непремѣнно принцъ лападійскій, поселившійся близъ царства ихъ, на островѣ Вѣчнаго Веселія, и потому под-

ходили къ нему съ подобострастіемъ и колѣнопреклоненіемъ.

Послѣ пышнаго обѣда, Емеля умница спросилъ наконецъ короля, не узнаетъ ли его величество въ немъ стараго знакомца? «Лицо пріятельское, истинно-пріятельское», отвѣчалъ король, «а узнать не могу!» — Я тотъ самый молодецъ, — сказалъ тогда Емеля умница,—который пріѣзжалъ къ вамъ въ гости на печи.

Царедворцы при этомъ словѣ всѣ до того изумились, что у нихъ, у всѣхъ, лица вытянулись по шестую пуговицу.

«А вотъ это», продолжалъ Емеля: «дочь ваша, прекрасная Махлаида, съ которой я намѣренъ прижить дочерей-бѣлоручекъ и сыновей-богатырей; а потому и прошу покорнѣйше вашего королевскаго отеческаго благословенія; а какъ народу изъ царства вашего перешло, за вами вслѣдъ, по хрустальному мосту, весьма довольно, да при томъ и время для насъ дорого, то можемъ немедленно, избравъ, благословясь, посаженыхъ, приступить честнымъ пиркомъ да и къ свадебкѣ; дѣвишника же—прошу на этотъ разъ не взыскать съ насъ, не прогнѣваться — у насъ не будетъ; а я, какъ сталъ нынѣ разумомъ поумнѣе, умомъ посмышленѣе, накажу будущимъ дочерямъ своимъ, бѣлоручкамъ, чтобъ онѣ потщились соблюсти построже всѣ повѣрья и обычаи земли нашей и безъ дѣвишника свадьбы не играли!

Король съ радостію великой благословилъ молодыхъ и хотѣлъ было уступить имъ королевство свое и утвердить ихъ въ княженіи; но Емеля умница, снявъ шапку и отвѣсивъ одинъ поклонъ въ поясъ, другой въ полпояса и, замахнувшись еще на третій таковой же, отвѣчалъ: «Я двадцатый годъ на свѣтѣ бьюсь, перемаиваюсь, и самъ съ собою не справлюсь; а я одинъ и, кажись, самъ себѣ господинъ; такъ чтожъ я стану

дѣлать, если ты на меня душъ, что волосъ на головѣ, навалишь? И за какую благодать стану я съ ними возиться, какъ сытый песъ съ краюхою, чтобы мнѣ *здѣсь* не было ни радости, ни отдышки, да еще посулили бы и *тамъ*, на томъ свѣтѣ, не найти ни дна, ни покрышки? Нѣтъ, ваше величество, отецъ и батюшка и родитель нашъ, вспоминайте-ка лучше сами вы, царствуючи и здравствуючи, о томъ, что было сказано вамъ мною, когда я былъ еще въ дуракахъ, о благолѣпныхъ и достохвальныхъ царедворцахъ вашихъ; пріосаньтесь, пріосмотритесь, а мнѣ дозвольте въ покоѣ жить да поживать совокупно со дочерью вашею, прекрасною, драгоцѣнною Махландою; мы чета разгульная, земля наша привольная; покуда живы, сколько земли той въ горсть ни ухватимъ, сколько, походя, ступней ни накроемъ, вся наша, благопріобрѣтенная! А придетъ пора, что занадобится свой неизмѣнный уголъ, такъ найдется и родовое; отмежуютъ поневолѣ; съ брюхомъ, съ ногами, и самъ нѣмецъ твой многоискусный никого на тотъ свѣтъ не подыметъ!

«А пирушку задамъ я всѣмъ подданнымъ твоимъ такую, чтобы представить примѣрный приступъ и сраженіе; чтобы изъ пироговъ подовыхъ, сдобныхъ и слоеныхъ были выстроены твердыни неприступныя, обнесены раскатами изъ крутой каши масленой, опоясаны тремя рвами широкими: въ первомъ медъ, въ другомъ пиво, въ третьемъ вина фряжскія; а когда народъ твой пойдетъ на приступъ, брать твердыни мои съѣстныя, неприступныя, то пусть запасается зубами бычачьими, неутомимыми, языкомъ и губами хлѣбосольными, утробою бездонною; онъ повиненъ испить три потока широкіе, пивомъ, медомъ и виномъ фряжскимъ по самый край переполненные; поѣсть раскаты изъ крутой каши масленой; и доберется онъ тогда до пироговъ сдобныхъ, слоеныхъ и подовыхъ, до

гуку, толокна и до квасу! А когда все сіе устроится
учредится, о томъ будетъ по всему царству твоему
гущено отъ меня особенное повелѣніе и объявленіе!
Въ ожиданіи чего и пишемъ:

«сей русской полной сказкѣ конецъ»!

«Погоди,» закричалъ Емеля: «не пиши *конецъ*, безъ
твоста не родится и огурецъ. Вѣдь у меня никакъ
братья были, двое! да еще и родомъ умники оба;
гдѣ же они? позвать ихъ сюда!»

— А братья твои, — отвѣчалъ посланецъ по учи-
ленной справкѣ, — разжились было съ трехсотъ на
три тысячи, да чужое добро впрокъ не пошло. Какъ
только разжились, такъ и не стали ладить промежъ
собою и раздѣлились. Одинъ вскорѣ позамотался, а
другой накопилъ денегъ кучу. Одинъ сталъ пить *съ
горя*, другой *съ радости;* разумѣется, оба запоемъ.
Первый, горемычный, преставился въ одной руба-
шонкѣ, въ кабачишкѣ подъ стойкою; другой, разгуль-
ный, Богу душу отдалъ въ губернскомъ городѣ, при-
мѣромъ сказать, хоть бы въ Ярославлѣ, въ знамени-
той *растираціи Росславовой*, когда воротился, о свят-
ахъ, въ тонкомъ синемъ кафтанѣ, изъ-подъ качелей,
отморозивъ себѣ ноги по колѣни и руки по самые
локти!

«Ну, быть такъ», сказалъ Емеля: «а кабы они во-
лею Божіею да скончались на моихъ рукахъ, такъ я
бы покойникамъ отдалъ послѣднюю честь, похоронилъ
бы ихъ, умниковъ, въ красномъ кафтанѣ, въ красной
шапкѣ и въ красныхъ сапогахъ!»

Ну, вотъ теперь, стало быть, конецъ!

СКАЗКА ВОСЬМАЯ,

о Иванѣ Лапотникѣ.

«Слава-те, Господи! вотъ и лыкъ надралъ!» молвилъ Иванъ Лапотникъ, вошедши въ избенку свою, которая стояла на краю села и сама, какъ облупленная липка, безъ двора, безъ плетня, безъ забора, да чуть ли и не безъ кровли. Иванъ Лапотникъ былъ убогъ и голъ: бывалъ когда то хлѣбецъ, да градъ побилъ, раннимъ снѣгомъ придавило, дождями поваляло— а тамъ еще и мха напала; послѣднюю краюху самъ съѣлъ, а сѣмянъ на посѣвъ и не осталось ни зерна. Была таки когда то и скотинка, да падежъ повалялъ, волки порѣзали, калмыки украли да въ сухомятку поѣли—а послѣднюю яловку приказчикъ, за подушное, со двора согналъ. Приказчикъ этотъ говорилъ такъ: «не подой козы, молока не дастъ; не выстриги овцы, она шерсти не дастъ, хоть и сама, лѣта краснаго дождавшись, станетъ походя ронять ее клочками, а уже на дворъ къ тебѣ ее не принесетъ.» И таки негдѣ правды дѣвать: надъ Иваномъ Лапотникомъ сбылось то же: поколѣ было у него что, такъ бывало все только холится да почесывается; бывало, коли въ ворота кто по вечеру стукнетъ, такъ, не слѣзая съ

печи, жену посылаетъ: поди, отопри; а какъ только облупили его кругомъ, что липку, такъ пошелъ и онъ лупить, драть лыко да плести лапотки, и сдѣлался человѣкъ-источникъ и художникъ на ремесло, котораго прежде и въ глаза не видалъ и въ рукахъ не держалъ. Бывало, двойные лапотки съ поднарядцемъ сваляетъ, такъ что твои чеботы строченые! И перебивался нашъ Иванъ себѣ съ ломтя на ломоть, и кормилъ и себя, и старуху свою.

«Слава-те, Господи,» молвилъ онъ, кинувъ беремя лыкъ на полъ, «вотъ и лыкъ надралъ! Старуха, да что же ты стоишь, словно въ гости пришла, не поглядишь, не порадуешься? говори: слава Богу, хозяинъ лыкъ надралъ!»

Хозяйка его была старуха богомольная, знала святцы не хуже дьячка иного и, при всей бѣдности своей, пасхи безъ кулича, а маслены безъ блиновъ не проводила: въ среду средокрестной недѣли пекла изъ постнаго, сдобнаго тѣста кресты; а уже коли не было мучицы ни крупинки, такъ хаживала печь ихъ къ сосѣдкамъ; тожъ и четвертковую соль не позабывала пережигать съ квасною гущею; а кутью готовила не только въ рождественскій сочельникъ, но и въ одну изъ великихъ субботъ; а въ память Ѳеодора Тирона всегда варила колево, сирѣчь—кутью пшеничную. Она, старуха, на этотъ разъ, когда старикъ пришелъ домой съ лыками, готовила, разжившись съ легкой руки, законныя поминки сорока мученикамъ, которымъ празднуютъ, какъ извѣстно, 9-го марта. Старуха катала сдобное тѣсто на конопляномъ маслѣ, выгадывала да выкраивала изъ него 40 жаворонковъ и пестрила ихъ ключемъ, наперсткомъ, не то гребнемъ—ужъ не тѣмъ гребнемъ, что въ банѣ космы расчесываютъ, а тѣмъ, что ленъ чешутъ. Ей было не до старика, старухѣ, а онъ тутъ привязался съ лыками. «Отойди, старый,»

молвила она, «надралъ, такъ надралъ; такъ садись, ступай, да плети лапти, да неси на базаръ, припасай копѣйку на Святую: надо сандалу купить, да шафрану, да инбирю.»

Старикъ проворчалъ что-то про себя, а самъ таки принялся за кочадыкъ. Старуха все возилась съ жаворонками: катала, мѣсила, пестрила, сажала, наконецъ, вынула ихъ—слава Богу! не подгорѣли жаворонки, дошли, доспѣли, зарумянились, и поглядѣть, такъ лакомо, хоть за разъ по мученикамъ поминки твори!

— Старикъ! а, старикъ! что же ты, знай, сидишь да сопишь, лапти свои ковыряешь, а сюда не глянешь! Слава те, Господи, я съ жаворонками то управилась! вишь, какіе!

— Некогда,—отвѣчалъ старикъ:—а я тѣмъ часомъ лапоть сплелъ и подъемъ повершилъ, и концы схоронилъ; — скажи-ка ты: слава те, Господи, лапоть поспѣлъ.

— Ну, поспѣлъ, такъ поспѣлъ, такъ берись за другой.

— Примусь я и за другой,—молвилъ старикъ:—да ты скажи сперва Господу Богу спасибо и за этотъ; скажи же по моему: слава те, Господи, лапоть поспѣлъ!

Старуха заортачилась. «Плети», говоритъ, «ты знай свое, а я свое.» Старика взяла досада; и съ чего старуха моя задурила?—Аль ты отъ крестной силы отреклась, что не хочешь Бога помянуть за насущное пропитаніе наше? И пришелъ я давеча, такъ не хотѣла «слава Богу» вымолвить, и работу покончилъ, то же да то же! Старуха! промолви: «слава Богу», коли не хочешь, чтобъ я разсерчалъ на тебя!

— Отвяжись ты отъ меня!—сказала старуха.—Коли такъ,—молвилъ мужикъ: — вотъ тебѣ крестъ,—и образъ еще сыму пожалуй, — не примусь я за работу,

поколѣ не скажешъ ты, чего хочу!—И закинулъ лапоть подъ лавку, колодку подъ кутникъ, кочадыкъ на полати.

И пошла война у старика со старухой: крикъ, шумъ, ссора, споры. «Берись, старый хрѣнъ, за работу!»—Говори, старая карга: слава Богу, лапоть поспѣлъ!—«Нѣтъ, не хочу; поспѣлъ, такъ поспѣлъ, такъ берись, знай, за другой; объ одномъ лаптѣ ходить не станешь. — «Ну, не скажешь: слава Богу, не берусь за работу, хоть и ты треснешь, и самъ я издохну голодомъ. Скажешь, что ли?—«Нѣтъ, не скажу.» Старикъ, за-словомъ, протянулъ руку, поймалъ бабу свою за волосы — и на что, скажите, бабы эти подъ платкомъ, подъ повязкою, космы отращиваютъ?—поймалъ старуху за косы: «у тебя», говоритъ, «волосъ дологъ, да умъ коротокъ—говори: «слава Богу!»

Старуха наша была и подъ старость таки голосистаго десятка; а бывало, въ молодыя лѣта, какъ упретъ руки въ боки, глаза въ потолоки—такъ хоть святыхъ вонъ понеси; а грѣшникамъ живымъ такъ и вовсе житья нѣтъ: бѣги, очертя голову! Бывало, любое стадо гусей перекричитъ; изъ конца села въ конецъ съ кумой да со сватьей здоровается, да еще и не больно шибко кричитъ; а на этотъ разъ, по первому земному поклону, который нехотя она положила, когда сожитель потянулъ ее и пригнулъ за косы,—взвизгнула и залилась соловьиными перекатами, такъ что всѣ сосѣди, шабры, какъ говорятъ въ понизовыхъ земляхъ нашихъ, сбѣжались на шумъ и крикъ; тутъ пришелъ и приказчикъ; пришла, — неужели дѣло безъ нея обойдется— пришла, прибѣжала и приказчица, бойкая бабенка, изъ дворовыхъ дѣвокъ, что выдана была бариномъ за приказчика, и приданое тожь, сказываютъ, пошло съ нею отъ барина же. — Стариковъ розняли, допросили: и шумъ, и крикъ, и драка о томъ, что хозяйка не хо-

четъ поблагодарить Бога за то, что у мужа работа съ рукъ идетъ! Принялись сосѣди соромить старуху— куда! и приступу нѣтъ: заговоритъ любого, забросаетъ рѣчами, чуть съ ногъ не сшибетъ. И принялся усовѣщевать ее самъ приказчикъ, великій и словоохотный краснобай, который былъ четверти на полторы повыше люду мірского, сиживалъ прежде съ крючкомъ за стойкою, ходилъ нынѣ въ полутонкомъ кафтанѣ, подпоясывался сыромятнымъ ремнемъ съ пряжкою, на которомъ всегда висѣлъ огромный нутреной ключъ отъ амбара. «Оба луки, оба туги», сказалъ онъ избоченившись, «оба круты, оба глупы; оба упрямы; въ рукахъ не бывали! А ты не знаешь, Евстигнѣевна, что ты раба его, ребро его, а онъ повелитель твой; понимаешь ли ты, что подъ вѣнцомъ тебѣ отецъ говорилъ? Аль дурью голову позасорило да путное повытрясло изъ нея вовсе? Упрямая овца волку корысть; а тебя, Евстигнѣевна, сатана на расправу потянетъ! Велико, вишь, дѣло, молвить: слава те, Господи, старикъ лапотки сплелъ! Аль и подлинно ты отъ креста святого отреклася?»

— Чего вамъ отъ меня, окаянные? — залилась Евстигнѣевна, собирая волосы, да повязывая платокъ свой,—чего вамъ! Отвяжитесь, собаки, не скажу ничего; не скажу ему: слава Богу, скажу: чортъ унеси душу его!

Такъ говорила старуха наша, и говорила еще хуже этого. Какъ тутъ быть? Приказчикъ, наслышавшись довольно отъ барина своего, что примѣръ самый благой самоучитель—а баринъ, никакъ, помнилъ наставленіе это еще съ тѣхъ поръ, какъ писалъ его въ школѣ по прописи, при чемъ его и палями кормили, и на песокъ ставили,—вѣрный приказчикъ, слышавъ отъ барина каждый день, что примѣръ соблазняетъ, примѣръ наставляетъ, обратился, нимало не медля, къ дра-

жайшей половинѣ своей, къ ребру своему, и молвилъ: «Вотъ, Евстигнѣевна, и Бога гнѣвишь, и противъ мужа грѣшишь, и людямъ досаждаешь, а все изъ-за пустяковъ такихъ, что слушается, да не вѣрится! Погоди, не шуми, не метайся, слушай, что я говорю: вотъ тебѣ хозяйка моя, для-ради примѣра и добраго приклада, скажетъ напередъ, а ты скажи за нею слѣдомъ: слава Богу, мужикъ лапотки покончилъ, — да и Богъ съ вами, и грядите съ миромъ. Скажи же, Аннушка, для-ради добраго примѣра, скажи: слава те, Господи, мужикъ лапотки сплелъ!»

— Это въ какую стать? — спросила Аннушка сожителя своего,—а я ей что за батрачка? Да по мнѣ, пусть бы они себѣ очи повыдирали; хоть бы вѣкъ ее, старую вѣдьму, чортъ за космы таскалъ, такъ я и слова не вымолвлю. Что она мнѣ, своя что ли? Да чортъ ихъ возьми, прости Господи!

Приказчикъ ну Аннушку свою уговаривать, упрашивать, приказывать, а та и пуще на дыбы; дошло и тутъ также до ссоры, до брани, до слезъ и чуть ли и не до рукотворнаго увѣщанія.

Тѣмъ часомъ старуха Евстигнѣевна и сама уперлась на своемъ: хоть ты ей зубы дергай! Да еще къ тому наговорила тебѣ всякой всячины съ три короба и кучу негодныхъ рѣчей; напустилась ужъ не то что на старика, а на всѣхъ. Взяли ее міряне, да обще со старикомъ, съ Иваномъ Лапотникомъ, повели къ сельскому батюшкѣ. «Пусть», говорятъ, «отецъ Панкратій разсудитъ и разберетъ васъ и промежъ собой и съ Богомъ, пусть усовѣститъ и эпитимью наложитъ на старуху, какъ самъ знаетъ: ужъ теперь не наше дѣло, не мірское.»

Отецъ Панкратій сталъ увѣщевать старуху нашу, сталъ толковать ей, что она повинна мужа слушаться, сталъ говорить ей о мукахъ кромѣшныхъ и о наказа-

ніи Божескомъ. «Ежели», говорилъ онъ: «дѣтище твое на тя руку свою подыметъ, то нечестивая рука эта костлявыми перстами вырастетъ изъ могилы его; а буде жена возстанетъ на мужа, хотя словомъ единымъ, языкъ закоснѣетъ у нея, либо сухота нападетъ; а на томъ свѣтѣ еще предстоятъ муки неисчислимыя, неописанныя! Что приказчикова Аннушка не захотѣла тебѣ, Евстигнѣевна-свѣтъ, примѣра показать, а послѣдовала твоему, такъ и это равно не годится, и грѣхъ ей не менѣе твоего. Строптиваго Богъ караетъ. Пойдемъ къ матушкѣ,—а гдѣ матушка, дѣти? — Пойдемъ къ ней, она покажетъ вамъ примѣръ. И что стóитъ вымолвить: слава тебѣ, Господи! Славою возносить, славословить Господа подобаетъ во всякое время, во всякій часъ и всякимъ помышленіемъ своимъ. Слава не нужна Господу, намъ нужна слава Господня! — А гдѣ матушка, дѣти?»

— Матушка взяла вашу шляпу, батюшка, вашу новую пуховую шляпу, — отвѣчали дѣти, — да пошла съ нею въ сарай, не то на сѣнникъ.

«Что такое это?» проворчалъ батюшка, «ужъ зачѣмъ матушка опять носится со шляпою моею? Этого то я не люблю; коли овесъ мѣрять либо пересыпать, такъ можно бы, кажись, коли нѣтъ гарнца, взять по крайности старую поярковую шляпу—а это что опять такое?..»—И пошелъ, со всѣмъ причтомъ, искать, по двору, по сараямъ, матушки; и старикъ за нимъ, и старуха за нимъ, и мірской народъ, что привелъ дурней старыхъ, всѣ—всѣ за нимъ.

А матушка въ это время дѣлала вотъ что: она подсыпала изъ новой хозяйской, батюшкиной шляпы куръ своихъ; отсчитывая нечетъ яицъ, клала ихъ бережненько въ шляпу и высыпала, не трогая руками, на гнѣздо, и сажала курицу. Дѣло это дѣлается втихомолку: оно глазу боится; и когда добрая хозяйка

подсыпаетъ да сажаетъ куръ своихъ, такъ этого никому въ домѣ и вѣдать не для-чего, и знать не надо. А тутъ пришелъ батюшка, да еще и старуха, да и старикъ съ карими, темными, цыганскими очами.. Матушка-попадья выскочила съ сердцемъ изъ сарайчика, разсыпала и побила яйца въ батюшкиной пуховой шляпѣ, всполошила курицу, которая было уже и усѣлась, а теперь подняла крикъ, закудахтала на все село,—и матушка встрѣтила батюшку вопросомъ: «А вамъ чего тутъ надобно, вы чего здѣсь не видали?» Батюшка, смекнувъ теперь дѣломъ и разгадавъ загадку, не сталъ уже допытываться и доискиваться шляпы своей и обѣщалъ сей же часъ уйти и не мѣшать матушкѣ, коли она только скажетъ имъ скорешенько, не переводя духу: слава Богу, у мужика лапотки поспѣли.

Какъ приняла предложеніе это матушка-попадья, этого, чай, не нужно и сказывать: она думала, что батюшка на-чисто рехнулся, такъ плохо улучилъ, приноровилъ онъ время, такъ невпопадъ заставилъ матушку сказать: «славу Богу, лапоть поспѣлъ!» Матушкѣ-попадьѣ точно было не того: и бѣдный отецъ Панкратій, сколько ни толковалъ, сколько ни уговаривалъ, ни просилъ, не только что самъ не добился никакого толку, но едва только безъ грѣха отошелъ отъ матушки, которая давно уже не гнѣвалась на батюшку такъ, какъ сегодня. Да и было за что, нечего сказать: рехнулся старикъ — привязался, ни дай ни возьми, а вынь да положь, скажи да скажи: «слава Богу, лапоть поспѣлъ.»

Да и что же мнѣ водить снисходительнаго читателя моего, какъ старца-слѣпца, съ камешка на камень, какъ красную дѣвицу — съ кладки на кладку, чтобъ ей въ грязи подолу не подмочить; скажу да и отрѣжу, — ужъ одинъ конецъ присказкѣ моей: и ста-

рикъ со старухой, и Аннушка съ приказчикомъ, и батюшка съ матушкой, всѣ перессорились за то же словечко, всѣ пришли подъ вечеръ во дворъ къ барину, который вышелъ мирить ихъ и подать благое наставленіе. Тутъ и мірской народъ столкнулся, и бабы сбились въ кучу, и дворня въ пестрядевыхъ юбчонкахъ да въ сѣрыхъ суконныхъ курткахъ, всѣ пришли почесаться да позубоскалить. Гдѣ ссора, гдѣ судъ, гдѣ драка, гдѣ покойникъ, гдѣ свадьба, гдѣ расправа,—туда народъ валомъ валитъ, черезъ тынъ лѣзетъ, заборы разбираетъ, кровли ломаетъ, какъ будто, прости, Господи, тутъ на показъ для нихъ штуки выкидываютъ; идите въ балаганъ къ скоморохамъ, коли есть три пятака въ карманѣ, а коли нѣтъ, такъ поглядите-ка сами на себя!

Итакъ, пришли всѣ они къ барину на дворъ, и баринъ ихъ судилъ, рядилъ, разнималъ.—«Для чего не сказать: слава Богу, у мужика лапоть поспѣлъ? Что за великое дѣло и что за шумъ люди подняли! да жена моя, барыня ваша, скажетъ вамъ, не запнувшись, не заикнувшись, двадцать пять разъ сряду въ одинъ духъ: «слава Богу! у мужика лапоть поспѣлъ!» Ну, скажи же ты, душенька», обратился онъ къ плотной супругѣ своей, которая только что вышла на крыльцо подъ навѣсъ послушать, о чемъ идетъ толкъ и безтолочь: скажи имъ: «слава Богу, лапоть поспѣлъ,» да и наплюй имъ, дуракамъ, всѣмъ въ глаза!..» А душенька на это ему:—«Вотъ дуру нашелъ» — и сама, — плюнуть плюнула, а сказать не сказала ничего, поворотилась да и ушла въ свои покои...

Я сказалъ уже, что полміра собралось на дворѣ господскомъ слушать судъ и рядъ по уголовному дѣлу, гдѣ баба не хотѣла сказать спасибо за то, что у мужика работа съ рукъ идетъ, перессорилась сама съ мужемъ и перессорила вотъ уже третью чету —

приказчика съ Аннушкой, батюшку съ попадьей да барина съ барыней. На отказъ этой сказать: «слава Богу», толпа глумно осклабила уста свои, и барину стало досадно, ущемило его за живое; покинулъ онъ судъ и рядъ, пошелъ слѣдомъ за барыней, сталъ упрашивать ее: скажи да скажи, пожалуйста, скажи; сдѣлай милость, скажи; хоть мнѣ одному да скажи; сталъ гнѣваться и попрекать со дня на день и перебраниваться и побранился съ нею совсѣмъ, а она, какъ уперлась себѣ: не скажу, отвяжись, — такъ и умерла черезъ годъ со днемъ, Богу душу отдала и не потѣшила мужа, не молвила даже и на смертномъ одрѣ своемъ, о чемъ супругъ ея всѣми неправдами домогался, не сказала: «слава Богу, лапоть поспѣлъ», — и на этомъ дѣло кончилось.

Въ самомъ дѣлѣ, на этомъ бы дѣло и кончилось; барыню схоронили, баринъ потужилъ — и забылъ; поспорить и побраниться, не то кланяться да упрашивать: «скажи: славу Богу, у мужика лапоть поспѣлъ» — не съ кѣмъ и некого; такъ бы дѣло и засохло и пропало и до насъ не дошло; да на бѣду у барина съ покойной барыней была и барышня, и—горькая чаша не миновала ея!

Барышня эта была — какъ и всѣ барышни — дѣвушка молоденькая, пригоженькая, умненькая: и была при томъ еще такъ называемая *безприданница*, дѣвица, которая и безъ приданаго не засидится. И не засидѣлась: нашелся женихъ, да и не вислоухій олухъ, что нашъ братъ, а щеголекъ, молодчикъ, хватъ-женишекъ, какихъ немного изъ губернскихъ городовъ въ глушь деревенскую завозятъ: женихъ съ брызжами, со свѣтлыми пуговочками, со цвѣтными запоночками, въ бархатномъ жилетѣ, хохолъ съ зачесомъ, подъ воскомъ да подъ лоскомъ, словомъ—кладъ-женишекъ, который знаетъ, съ котораго крыльца свахъ засылаютъ, кото-

рый умѣетъ и придти, и присѣсть, и сказаться, и приголубиться. И просватали за него барышню нашу, умненькую, пригоженькую, и старикъ-отецъ справлялъ пиръ на весь міръ, и праздновали это послѣ помолвки обрученіе.

«Дай Боже», сказалъ одинъ изъ гостей свадебныхъ, близкій сосѣдъ нашему помѣщику и старинный пріятель его, «дай Боже имъ, молодымъ нашимъ, и того и другого и всякаго прочаго иного, а пуще всего мира и согласія, чтобы жили да поживали молодые наши, Парфентій Кузьмичъ, какъ сами вы изволили жить съ покойною Василисою Андреяновною — спаси Господи душу ея! — какъ изволили жить съ нею, до неблагопріятнаго случая—не тѣмъ будь помянута покойница—до несогласія, которому причина была ссора старой Евстигнѣевны со старикомъ Иваномъ Лапотникомъ, да ссора пападьи съ батюшкою, да быстроглазой Аннушки вашей съ приказчикомъ—дай Богъ прожить имъ, молодымъ, въ мирѣ и согласіи, хоть до золотой свадьбы своей, а тамъ — что Богъ дастъ! Дай Богъ, Парфентій Кузьмичъ!»

— Какъ, до золотой свадьбы? — закричалъ Парфентій Кузьмичъ:—а тамъ на старости лѣтъ побраниться, какъ я съ покойницею своею,—царство ей небесное!— это не годится! дочь моя не такова: это дитя примѣрное, послушное, нравъ ангельскій, око мое, зеница моя! Наденька, сердце мое! слушай: скажи-ка жениху своему и намъ всѣмъ: «слава Богу, лапоть поспѣлъ!» скажи, не стыдись, душа, покажи, что ты не упрямая, что умница.

Наденька глянула черезъ столъ на папеньку, поалѣла и потупила очи свои: слово, которое заставляли вымолвить ее, было ей въ душѣ ненавистно: она очень помнила, какъ родители ея за это слово день-за-день ссорились и бранились; ей было такъ больно и грустно

вспомнить это, что она рѣшилась бы вымолвить все на свѣтѣ, только не это. Этого губки ея не прошепчутъ ни за что. А тутъ еще и весь столъ, всѣ сотрапезники притихли, замолкли, ожидая рѣчи невѣсты, а тутъ еще и батюшка сталъ гнѣваться да настаивать; а тутъ и женихъ въ куцохвостомъ гнѣдомъ кафтанѣ, подлѣ невѣсты сидя, сталъ упрашивать неотступно, привязчиво, настоятельно: скажи да скажи; коли любишь, такъ скажи; бѣдная Наденька въ слезы, въ плачъ, изъ-за стола бѣгомъ въ свои покои, да и схоронилась въ постель и забилась подъ подушки.

«Скажи, коли любишь меня», умолялъ хватъ голосистый невѣсту свою, не давая ей ни отдыха, ни покоя, «если любишь, скажи!» — Не проси меня объ этомъ, коли любишь меня,—отвѣчала Надя...—Глядь— тутъ вмѣшались и дружка, и свахи, и посаженая, и кумы со прикумками, и сваты... Тутъ стали заступаться тетки да бабки; а тутъ и отецъ сталъ кричать и сердиться: а тутъ и женишокъ, золотой пѣтушокъ, масляная головка, сказалъ словечко невѣстѣ, сказалъ и нареченному тестю своему, — а женишокъ-атъ, вишь, былъ изъ горяченькихъ;—сказалъ словцо — а слово не воробей, вылетитъ, не поймаешь; слово-за-слово — и кончилось на томъ, что гнѣдой кафтанчикъ, по вашему — свѣтлокоричневый фракъ, и розовый бархатный жилетъ, и манишка съ запонками, все это покатило съ женишкомъ домой — только запылился онъ, да помялъ кудри свои, да хохолъ модный въ двѣ четверти съ вершкомъ — покатилъ въ губернію, отколѣ пожаловалъ, и — свадьба разстроилась, на этотъ разъ не состоялась!

О, бѣдная безприданница! пожалѣйте о ней, подруженьки!

Вотъ теперь моя сказка вся, на этомъ дѣло кончилось, и невѣста не сказала того, чего хотѣли отецъ и

женихъ; слезками отдѣладась, и отреклась, и не сказала. На этомъ кончилось дѣло — кончилось здѣсь у насъ; а что будетъ, коли и читатели и слушатели наши будутъ заставлять женъ и невѣстъ вымолвить имъ въ угоду: слава Богу, лапоть поспѣлъ—что тогда будетъ, говорю — не знаю; я ни за что не поручусь; глядите, чтобы не началась та же сказка *про Ивана Лапотника*, опять съ начала, и чтобъ не протянулась на вѣки вѣчные, какъ сказка *о костяномъ домѣ*, либо сказка *про солдата Яшку да сѣрую сермяжку*.

СКАЗКА ДЕВЯТАЯ

о Георгіи храбромъ и о волкѣ [1])

Сказка наша гласитъ о дивномъ и древнемъ побытѣ временъ первородныхъ: о томъ, что дѣялось и творилось, когда скотъ и звѣрь, рыба и птица, какъ переселенцы, первородцы и новозданцы, какъ новички міра нашего, не знали и не вѣдали еще толку ни ладу въ быту своемъ; не обжились еще ни съ людьми, ни съ мѣстомъ, ни съ житьемъ-бытьемъ, ни сами промежъ собой, не знали порядка и начальства, говорили — кто по татарски, кто по калмыцки, и не добились еще толку, кому и кого глодать и кому съ кѣмъ въ миру и въ ладахъ односумомъ жить; кому съ кѣмъ знаться или не знаться, кому кого душить и кого бояться; кому ходить со шкурой, а кому безъ шкуры, кому быть сытымъ, а кому голоднымъ.

Сѣрый волкъ, по тогдашнему бирюкъ, обмогавшись натощакъ голодухою никакъ сутки трои, въ чаяніи фирмана, разрѣшающаго и ему, грѣшному, скромный

---

[1]) Сказка эта разсказана мнѣ А. С. Пушкинымъ, когда онъ былъ въ Оренбургѣ, и мы вмѣстѣ поѣхали въ Бердскую станицу, мѣстопребываніе Пугача во время осады Оренбурга. В. Даль.

столъ,—побрелъ наконецъ на мірскую сходку, гдѣ, — какъ послышалъ онъ мелькомъ отъ бѣжавшей оттуда, мимо логова его, съ цыпленкомъ въ зубахъ лисы, — гдѣ Георгій Храбрый правилъ судъ и рядъ и чинилъ расправу на малаго и на великаго.

Пришелъ сѣрый на вѣче: сталъ поодаль, поглядѣлъ, присѣлъ на заднія лапы, по собачьи, и опять поглядѣлъ, прислушался маленько, вздохнулъ, покачалъ головой, облизался и поворотилъ оглобли назадъ. «Тутъ не добьешься и толку, подумалъ онъ про себя:— крику и шуму довольно; а что дальше—не знаю. Чѣмъ затесываться, среди бѣлаго дня, въ эту толпу, отару, ватагу, табунъ, гуртъ, стаю, стадо, — въ это шумливое и крикливое стоголосное скопище, гдѣ отъ давки паръ валитъ, отъ крика пыль стоитъ, чѣмъ туда лѣзть, среди бѣлаго дня, такъ лучше брести во-свояси. Я не дуракъ: хоть и знаю, что и мнѣ, на ряду со всѣми, сказано: вѣкъ живи, вѣкъ учись, а умри дуракомъ; такъ по крайности, до поры до времени, поколѣ Господь терпитъ грѣхамъ моимъ, поколѣ смерть сама на меня не нашатнулась, быть дуракомъ не хочу. Нашему брату въ сумерки можно залѣзть промежъ другихъ людей, а кабы въ темь полуночную, такъ и подавно; а среди бѣлаго дня — *бармойминъ*, не пойду». Итакъ, онъ пришелъ домой, залѣзъ въ трущобу глухую, повалился на бокъ и сталъ, щелкая зубами, искать по шубѣ своей. Настала ночь, и сѣрый смекнулъ и догадался, что этакъ сытъ не будешь. «Совсѣмъ *курсакъ* пропалъ, ворчалъ онъ про себя, животы хоть уздечки вяжи, а *поашать* нечего!» Что станешь дѣлать: вылѣзъ изъ терновника, ожилъ и освѣжился маленько, когда рѣзкій сѣверьякъ пахнулъ по тулупу его, взбивая мохнатую шерсть; очи у него загорѣлись въ теми ночной, словно свѣчи; поднявъ морду на вѣтеръ, пустился онъ волчьей скачкою по

широкому раздолью и вскорѣ почуялъ живность; но, какъ это была только первая попытка сѣраго промыслить самоучкою кусъ на свой пай, то онъ и не разнюхалъ, на какую поживу онъ, по милости шайтана, наткнулся; а только облизывался, крадучись да присѣдая, поддернувъ брови къ верху и приподнявъ уши зубрильцемъ, и прошепталъ: «что то больно сладкое!»

Онъ заползъ на первый разъ въ стадо сайгаковъ; а какъ и самоучкою удаются ину пору мастера не хуже ученыхъ, а сайгаки сердечные о-ту-пору были посмирнѣй нынѣшнихъ овецъ, то сѣрый нашъ безъ хлопотъ пары двѣ отборныхъ зарѣзалъ на-повалъ, словно вѣкъ въ мясникахъ жилъ, да еще другимъ бѣдняжкамъ — кому колѣно, кому бедро, а кому и шею выломилъ. Сайгаки всполошились, прыснули по полю вправо и влѣво, да подняли тревогу; кто живой да съ ногами былъ, всѣ сбѣжались, звѣри и птицы на-лицо, а рыбы, по неподручности сухопутнаго перехода, послали отъ себя пословъ, трехъ черепахъ съ черепашками, которыя, однакоже, уморившись на смерть, къ сроку запоздали, а потому дѣло на сходкѣ обошлось и безъ нихъ. И съ той то поры, сказываютъ, рыбы лишены за это навсегда голоса. Видите, что уже и о-ту-пору былъ порядокъ и расправа: и вина безъ наказанія не проходила: всякая вина виновата.

Итакъ, звѣри сбѣжались, день проглянулъ, и сѣраго нашего захватили врасплохъ уже надъ послѣднею четвертью третьяго сайгака. Онъ, знать, себѣ на умѣ; думаетъ: запасъ хорошо, а два лучше; а потому сѣрый нашъ, о-ту-пору какъ и нынѣ, шутить не любилъ. Но ему не ладно отозвалась эта первая попытка: дѣло новое, дѣло непривычное; нынѣ шкуру снять съ сайгака не диковинка, а тогда еще было не то. Звѣри и птицы всѣ ахнули, на такую бѣду небывалую гля-

дючи; одинъ только молодой лошакъ, вчерашняго помету, стоялъ и глядѣлъ на изуродованныхъ собратовъ своихъ, что гусь на вечернюю зарницу. Но міръ присудилъ по своему: костоправъ-медвѣдь, осмотрѣлъ раненыхъ, повытянулъ имъ изломанныя шейки да ножки, повыправилъ измятые суставчики и ворчалъ про себя, покачивая головой и утираясь во всѣ кулаки: «не ладно этакъ то дѣлать; этакъ что же пути будетъ? руки, ноги выломилъ, а которому и вовсе карачунъ задалъ — это дѣло не ладно!» Между тѣмъ бабы сошлись и стали голосить по покойникамъ: «ахъ ты мой такой-сякой, сизый орелъ, ясный соколъ! на кого-жъ ты насъ, сиротъ круглыхъ, покинулъ? А кто-жъ намъ, сердечнымъ, кто намъ будетъ воду возить, кто станетъ дрова рубить? Кто будетъ насъ любить и жаловать, кто холить да миловать, кто хлѣбомъ кормить да виномъ поить?» Наконецъ, принялись люди и за сѣраго; онъ бы за тѣмъ не очень погнался, что ему, на первый разъ, поиграли въ два смычка на кожаномъ гудкѣ, при чемъ мишка съ отборнымъ товарищемъ исправляли должность ката и, присѣвъ на корточки, надѣвъ рукавицы и засучивъ рукава, отсчитали сѣрому честно и добросовѣстно сто одинъ, по приговору, такъ что на сѣромъ тулупъ гора горой вздулся—а на немъ шкура, правда, и не чернаго соболя, да своя — ну, это бы, говорю, все ничего, да ему то обидно было, что и впередъ не велѣли таскать сайгаковъ, а на спросъ: чѣмъ ему кормиться? не дали ни отвѣта, ни привѣта, кричали только всѣ въ голосъ, чтобы сѣрый не смѣлъ, ни подъ какимъ видомъ, рѣзать да губить живую скотину, чтобы не порывался лучше на кровь да на мясо, а выкинулъ думку эту изъ головы. Живи-де смирно, тихо, честно, не обижай никого, такъ будетъ лучше. Сѣрый нашъ, встряхнувшись да оправивъ на себѣ сѣрмягу свою, плакалъ

навзрыдъ, подергивая только плечами, и спрашивалъ: «что же прикажете ѣсть, чѣмъ быть мнѣ сытымъ? Я не прошу вѣдь на каждый день ужина да обѣда, да хоть въ недѣлю разъ накормите: неужто круглый годъ скоромнаго куска въ ротъ не брать?» Но никто на это ему не отвѣчалъ, и сходка, по окончаніи *сѣкуціи*, на томъ и кончилась; каждый побрелъ во-свояси, разговаривая съ дружкой и вслухъ посмѣиваясь надъ сѣрымъ пріятелемъ нашимъ, который сидѣлъ подгорюнившись, какъ богатырь недотыка, поджавъ хвостъ и повѣсивъ голову, и глядѣлъ на недоглоданныя копытца, рожки и косточки.

По этой мірской сходкѣ видимъ мы, что Георгій Храбрый, наибольшій всѣмъ звѣрямъ, скотинѣ, птицѣ, рыбѣ и всякому животному, успѣлъ уже постановить кой-какой распорядокъ, указалъ расправу, расписалъ и порядилъ заплечныхъ мастеровъ, волостныхъ головъ, писарей, сотскихъ и десятскихъ, словомъ, сдѣлалъ все, какъ быть слѣдно и должно.

«Этакъ не ладно», — сказалъ сѣрый, покачивая головой на повислой шеѣ, «совсѣмъ *яманъ булыръ*, будетъ плохо. Да на что же меня грѣшнаго съ этими зубами на свѣтъ посадили!» Самъ вздохнулъ, отряхнулся и пошелъ спросить объ этомъ Георгія Храбраго: «пусть-де самъ положитъ какое ни есть рѣшеніе, ему должно быть извѣстно объ этомъ; пусть укажетъ мнѣ, чье мясо, чьи кости глодать, а травы я себѣ по зубамъ не подберу.»

«Георгій!»—сказалъ онъ, присѣвъ передъ витяземъ и наклонивъ униженно неповоротливую да покорную шею свою: «Георгій! пришла мая твая просить, дѣло наша вотъ какой: мая ашать нада, курсакъ совсѣмъ пропалъ, а никто не даетъ; на что же», продолжалъ онъ: «далъ ты мнѣ зубы да когти да пасть широкую, на что ихъ далъ мнѣ, и еще вдобавокъ большой мяс-

ной курсакъ, укладистое брюхо? ему порожній жить не можно; прикажи ты меня, Георгій, накормить да напоить; нето возьми да дѣвай, куда знаешь; мнѣ, признаться, что впередъ будетъ, а поколѣ житье не находка. Я вчера наѣлся, Георгій, и теперь до четверга потерпѣть можно; а тамъ, воля твоя, прикажи меня кормить!»

Георгій Храбрый былъ о-ту-пору занятъ дѣлами по управленію новорожденнаго разношерстнаго народа своего и войска, и Георгію было не до волка. Большакъ поморщился и отправилъ его къ сотнику: «ступай, братецъ, къ туру гнѣдому, онъ тебя накормитъ».—Ну, вотъ этакъ бы давно, — сказалъ сѣрый, вскочилъ и побѣжалъ весело въ ту сторону, гдѣ паслось большое стадо рогатаго скота. — Я бы вчера и не подумалъ таскать сайгаковъ самоуправствомъ, коли-бъ кто посулилъ мнѣ говядинки: *куй-иты, сухыръ-иты*, баранина-ль, говядина-ль, по мнѣ все равно, былъ бы только, какъ калмыки говорятъ, *махань*, мясное.

Онъ подошелъ къ быку туриному и просилъ, по словесному приказанію Георгія Храбраго, сдѣлать какой тамъ слѣдовать будетъ распорядокъ, какъ говорится въ приказной строкѣ, объ утоленіи законнаго голода. «Стань вотъ здѣсь», — сказалъ быкъ,—«да повернись ко мнѣ бокомъ». Сѣрый сталъ. Быкъ, задравъ хвостъ и выкативъ бѣльмы, разогнался, подхватилъ его рогами и махнулъ черезъ себя. «Сытъ, что-ли?» спросилъ онъ, когда сѣрый нашъ, перевернувшись на-лету раза три черезъ хвостъ и голову, грянулся объ землю навзничь, крестцомъ. У сѣраго отнялся языкъ: онъ вскочилъ и поплелся безъ оглядки, присѣдая всѣмъ задомъ, какъ разбитая старуха на костыляхъ. У быка на каждомъ рогу осталось по клоку шерсти, не меньше литовскаго колтуна.

Сѣрый добрелъ кой-какъ до логова своего, прилегъ и лежалъ, обмогался да облизывался трои сутки, и то насилу отдохнулъ. Обругавъ мошенниковъ, и быка, и Георгія, пошелъ онъ однакоже опять искать суда и расправы.

«Ну, дядя Георгій», сказалъ онъ, заставши этого опять за дѣломъ, «спасибо тебѣ! я, послѣ закуски твоей, насилу выходился!»—А что,—спросилъ Георгій,—нешто быкъ не даетъ хлѣба?—«Какого хлѣба?» отозвался сѣрый: «бойся Бога, дядя: у насъ, когда вставлялъ ты мнѣ эту скулу да эти зубы, у насъ былъ, кажись, уговоръ не на хлѣбъ, а на мясное!»—Ну, а чтожъ, быкъ не даетъ?—«Да, не даетъ»!—Ну,—продолжалъ Георгій,—ступай же ты къ тарпану, къ лошади, она дастъ.—Самъ ушелъ въ свои покои и покинулъ бѣдняка.

Сѣрый оглянулся; косякъ пасется за нимъ недалечко. Онъ подошелъ, да не успѣлъ и заикнуться, не только скоромное слово вымолвить, какъ жеребецъ, наостривъ уши, заржалъ, наскакалъ на него и, не выждавъ отъ сѣраго ни здравствуй, ни прощай, махнулъ по немъ, здорово живешь, задними ногами; да такъ, слышь, что кабы тотъ не успѣлъ присѣсть да увернуться, такъ можетъ быть не сталъ бы больше докучать Георгію своими зубами; еще спасибо—не кованъ былъ жеребецъ о-ту-пору, а то бѣда бы. Сѣрый мой взвылъ навзрыдъ, закричалъ благимъ матомъ, подбѣжалъ тутъ же къ Георгію Храброму и билъ челомъ неотступно, чтобы самъ поглядѣлъ, какъ народъ съ нимъ, съ сѣрымъ, обходится: да самъ бы ужь и приказалъ, туру ли гнѣдому, тарпану ли, его накормить. «Видишь», говорилъ онъ, «видишь, что сдѣлалъ со мной жеребецъ этотъ при тебѣ, въ глазахъ твоихъ и при ясномъ лицѣ твоемъ; благо, что самъ ты видѣлъ, а то бы, чай, опять не повѣрилъ!» Георгій осерчалъ на

сѣраго, что больно докучаетъ, не даетъ покою.—Всѣ люди, какъ люди,—говорилъ онъ,—одинъ ты шайтанъ; пристаетъ, что съ ножемъ къ горлу, подай да подай; поди, говорятъ тебѣ, да попроси изъ чести, смирно, чинно; да не ходи этакимъ сорванцомъ, забіякою; погляди-ка на себя, на кого ты похожъ? чего косишься исподлобья да свинкой въ землю глядишь? вишь, тулупъ взбитъ, колтуны съ него висятъ, рыло подбито, сущій разбойникъ; не мудрено, что тебя и честятъ по заслугамъ. Нешто люди этакъ ходятъ? Поди къ архару, къ дикому барану, да попроси честью, такъ онъ накормитъ тебя; да и отвяжись отъ меня, не приставай, что больной къ подлѣкарю.

Сѣрый пошелъ, прежде всего скупался, постянулъ зубами съ шубы своей сухари да колышки, встряхнулся, прибрался, умылся, расчесался и отправился облизываясь уже напередъ, къ архару, къ барану. Этотъ, поглядѣвъ на нашего щеголя и наслушавшись сладкихъ рѣчей его, попросилъ стать надъ крутымъ оврагомъ, задомъ въ чистое поле. Волкъ сталъ, повѣсилъ хвостъ и голову, наострилъ ухо и распустилъ губы; баранъ разогнался позадь его, ударилъ по немъ костянымъ лбомъ, что тараномъ въ стѣну: волкъ нашъ полетѣлъ подъ гору въ оврагъ и упалъ за-мертво на дно глубокой пропасти. У него въ глазахъ засемерило, позеленѣло, заиграли мурашки; голова пошла кругомъ, что жерновъ на поставѣ; въ ушахъ зазвенѣло, и на сердце что то налегло горой каменной: тяжело и душно. Онъ лежалъ тутъ до ночи; очнувшись, просидѣлъ да прокашлялъ до разсвѣта, а заутре во весь день еще шатался по оврагу, словно не на своихъ ногахъ, либо угорѣлый. Какъ онъ тужилъ, какъ онъ охалъ, какъ бранился и плакалъ и клялъ Божій свѣтъ, и жалобно завывалъ, и глаза утиралъ, какъ наконецъ вылѣзъ, отдохнулъ и опять таки поплелся къ храброму

Георгію.—всего этого пересказывать не для чего, довольно того, что Георгій послалъ его къ кабану, да и тотъ добромъ не дался, а испортилъ сѣрому шубу и распоролъ клыкомъ бокъ. Сѣрый, какъ истый мученикъ первобытныхъ и первородныхъ временъ, когда не было еще ни настоящаго устройства, ни порядка, хоть были уже разные чиновники, сотскіе, тысяцкіе и волостные,—сѣрый, со смиреніемъ и кротостью коренныхъ и первоначальныхъ вѣковъ, зализалъ кой-какъ рану свою и пошелъ опять къ Георгію, съ тѣмъ однакоже, чтобы съѣсть и его самого, коли-де и теперь не учинитъ суда и расправы и не разрѣшитъ скоромнаго стола. «Еще и грамоты не знаютъ», подумалъ сѣрый про себя, «и переписка не завелась, а какіе крючки да проволочки по словесной расправѣ выкидываютъ! Ну, а что бы еще было, кабы далося имъ это письмо?» Сѣрый пошелъ и попалъ въ добрый часъ: Георгій Храбрый былъ и веселъ, и въ духѣ, и на бездѣльѣ; онъ посмѣялся, пошутилъ, потрепалъ сѣраго по тулупу и приказалъ ему идти къ человѣку. «Поди», говорилъ онъ, «поди въ сосѣдній пригородъ и попроси тамъ у добрыхъ людей насущнаго ломтя; проси честно, да кланяйся и не скаль зубовъ, не щетинь шерсти по хребту, да не гляди такимъ звѣремъ.»—Охъ, дядя,—отвѣчалъ волкъ,—мнѣ ли щетиниться! опаршивѣлъ я, чай, съ голоду, такъ и шерсть на мнѣ встала; Богъ тебѣ судья, коли еще обманешь! — «Поди же, поди», молвилъ опять Георгій, «люди народъ добрый, сердобольный и смышленый, они не только накормятъ тебя и напоятъ, а научатъ еще, какъ и гдѣ и чего промышлять впередъ.»

Сѣрый, на чужомъ пиру съ похмелья, веселаго послушавъ, да не веселъ сталъ. Ему что то ужъ плохо вѣрилось; боялся онъ, чтобы краснобай Георгій опять его не надулъ, да ужъ дѣлать было нечего: голодъ

моритъ, по свѣту гонитъ; хлѣбъ за брюхомъ не ходитъ, видно, брюху идти за хлѣбомъ.

Добѣжавъ до пригорода, сѣрый увидѣлъ много народу и большія бѣлокаменныя палаты. Голодай нашъ махнулъ, не думавъ, не гадавъ, черезъ первый встрѣчный заборъ, вбѣжалъ въ первыя двери и, заставъ тамъ много рабочаго народу, оробѣлъ и струсилъ было сначала, да ужъ потомъ, какъ дѣваться было ему некуда, а голодъ, знай, поетъ свое да свое, сѣрый пустился на авось: онъ доложилъ служивымъ вѣжливо и учтиво, въ чемъ дѣло, и зачѣмъ онъ пришелъ; сказалъ, что онъ нынѣ, по такому то дѣлу, сталъ на свѣтѣ безъ вины виноватъ; что и радъ бы не грѣшить, да *курсакъ* донимаетъ; что Георгій Храбрый водилъ его о-сю пору въ дуракахъ, да наконецъ смиловался, видно, надъ нимъ и велѣлъ идти къ людямъ, смышленому, сердобольному и многоискусному роду, и просить помощи, науки, ума и подмоги. Онъ все это говорилъ по-своему, по-татарски, а случившійся тутъ рядовой изъ казанскихъ татаръ переводилъ товарищамъ своимъ слова нежданнаго гостя. Волкъ попалъ не на псарню и не въ овчарню; онъ просто затесался въ казармы, на полковой дворъ и, перескочивъ черезъ заборъ, забѣжалъ прямо въ швальню. Служивые художники его обступили; хохотъ, смѣхъ, шумъ и крикъ оглушили бѣдняка нашего до того, что онъ, оробѣвши, поджалъ хвостъ и почтительно присѣлъ среди обступившей толпы. Самъ закройщикъ, кинувъ работу, подошелъ слушать краснобая новаго разбора и помиралъ со смѣху, на него глядя. Наконецъ, всѣ ребята присудили одного изъ своихъ, кривого Тараса, который состоялъ при полку для ради шутовской рожи своей, съ чиномъ заурядъ дурачка, присудили его волку на снѣдь, на потраву, и начали съ хохотомъ усыкать да улюлюкать, притратливая волка на Тараску. Но сѣрый

нашъ не любилъ да и не умѣлъ шутить: онъ звѣремъ лютымъ кинулся на кривого заурядъ чиновника, который только что успѣлъ прикрыться отъ него локтемъ, и ухватилъ его за воротъ. Ребята съ перепугу вскочили на столы да на прилавки, а закройщикъ, какъ помолодцоватѣе прочихъ, на печь; и бѣдный Тараска, за шутку ледащихъ товарищей своихъ, чуть не поплатился малоумною головушкой своей. Онъ взмолился однакоже сѣрому изъ-подъ него и просилъ пощады. «Много ли тебѣ прибудетъ», говорилъ онъ: «коли ты меня теперь съѣшь? Не говоря уже о томъ, что во мнѣ, кромѣ костей да сухожилья, ничего нѣтъ, да долго ли ты мною сытъ будешь? сутки, а многомного что двои; да коли и съ казенной амуниціей совсѣмъ проглотишь, такъ, буде не подавишься, и то не болѣ какъ на три дня тебѣ станетъ; пусти-ка ты лучше меня, такъ я тебя научу, какъ, по добру по здорову, изо дня въ день поживляться можно; я сдѣлаю изъ тебя такого молодца, что любо да два, что всякая живность и скоромь сама тебѣ на курсакъ пойдетъ, только ротъ разѣвай пошире!»

— За этимъ дѣло не станетъ,—подумалъ волкъ: — только бы ты правду говорилъ. Пожалуй, Господь съ тобой; я за этимъ и пришелъ, чтобы васъ честно просить принять меня по этой части въ науку; закройщикомъ быть не хочу, да я знаю, что вы не въ одни постные дни сыты и святы бываете, а обижать я и самъ не хочу никого.

Тараска кривой отмоталъ иглу на лацканѣ, побѣжалъ да принесъ собачью шкуру и защилъ въ нее бѣднаго волка. Вотъ какимъ похожденіемъ на волкѣ проявилась шкура собачья; каковъ же онъ до этого случая былъ собою — не знаемъ; а сказываютъ, что былъ страшный.

«Вотъ тебѣ и вся не долга», — сказалъ Тараска,

закрѣпивъ и откусивши нитку; «вотъ тебѣ совсѣмъ Максимъ и шапка съ нимъ! Теперь ты не чучело и не пугало, а молодецъ хоть куда; теперь никто тебя не станетъ бояться, малый и великій будутъ съ тобой за панибрата жить, а выйдешь въ лѣсъ да разинешь пасть свою пошире, такъ, не токма глухарь, баранъ цѣликомъ и живьемъ полѣзетъ!»—Не тѣсно ли будетъ?—спросилъ сѣрый, пожимаясь въ новомъ кафтанѣ своемъ. «Нѣтъ, братъ, нынѣ, вишь, пошла мода на такой фасонъ», отвѣчалъ Тараска косой, «шьютъ въ обтяжку и съ перехватомъ, только бы полки врознь не расходились; а на тебя я потрафилъ, кажись, какъ разъ рихтигъ; угадалъ молодецки и пригналъ на щипокъ, оглянись хоть самъ!» Сѣрый нашъ ужъ хотѣлъ было сказать: спасибо; да оглянулся, анъ господа портные соскочили съ печи да съ прилавковъ, сперва смѣхъ да хохотъ, а тамъ ужъ говорятъ: «да чего-жъ мы стоимъ, ребята? валяй его!» И ухвативши, кому что попало, кинулись всѣ и давай душить сѣраго въ чужомъ нагольномъ тулупѣ; а этому, сердечному, ни управиться, ни повернуться, ни расходиться: сзади стянутъ, спереди стянутъ, по середкѣ перехваченъ; пустился бѣдняга безъ оглядки въ степь, и радъ-радъ, что кой-какъ уплелся да ушелъ, хоть и съ помятыми боками, да по крайности съ головой; а что попалъ изъ рядна въ рогожу, догадаться онъ догадался, да ужъ поздно. Онъ сталъ теперь ни звѣремъ, ни собакой; спеси да храбрости съ него посбили, а ремесла не дали; кто посильнѣе его, кто только сможетъ, тотъ его бьетъ и душитъ, гдѣ и чѣмъ попало; а ему, въ чужихъ шароварахъ, плохая расправа; не догонитъ часомъ и барана, а сайгакъ и *куйрука* понюхать не дастъ; а что хуже всего, отъ собакъ житья нѣтъ. Онѣ слышатъ отъ него и волчій духъ, и свой; да такъ злы на самозванца, что рыщутъ за нимъ по горамъ и

доламъ, чуютъ, гдѣ бы ни засѣлъ, гонятъ съ бѣла свѣта долой и ходу не даютъ, грызутъ да рвутъ съ него тулупъ свой, и бѣдному голодаю нашему, сѣрому, нѣтъ ни житья, ни бытья, а пробивается да покачивается онъ кой-какъ, по міру слоняясь; то тутъ, то тамъ урветъ скоромный кусъ либо клокъ и живъ — поколѣ шкуры гдѣ-нибудь не сымутъ; да уже за то и самъ онъ теперь къ Георгію Храброму ни ногой; «полно», говоритъ, «пой пѣсни свои про честь да про совѣсть, кому знаешь; водилъ ты меня, да ужъ больше не проведешь.» Сѣрый никого надъ собою знать не хочетъ; всякую вѣру потерялъ въ начальственную расправу, а живетъ записнымъ воромъ, мошенникомъ и думаетъ про себя: «проклиналъ я васъ, кляните-жъ и вы меня; а на расправу вы меня, до дня страшнаго суда, не притянете; тамъ что будетъ—не знаю, да и знать не хочу; знаю только, что до того времени съ голоду не околѣю».

Съ этой то поры, съ этого случая, у нашего сѣраго, сказываютъ, и шея стала колъ-коломъ; не гнется и не ворочается, оттого что затянута въ чужой воротникъ.

СКАЗКА ДЕСЯТАЯ

о нуждѣ, о счастіи и о правдѣ.

Гой, нужда-свѣтъ, барыня горемычная! Ты-ль съ босой ноги нà босу ногу переступаешь, кулаки студеные продуваешь, щецъ горячихъ и прихлебнула бы, да ложки и плошки нѣтути; а поколѣ ложкою скудельною Христа-ради гдѣ разживешься, такъ и щи давнымъ-давно простыли, и собаки ихъ вылокали и горшки вылизали! Аль ты карга-птица сивобокая, отъ нужи и туги сѣдина пробивается, лысины нѣтъ, да и кудрей не видать; на лаптяхъ снѣжокъ, а въ зобу песокъ? Чего, кумушка-вѣщунья, пригорюнилась? Не то чарой зеленà вина кто обнесъ тебя, не то свѣтъ-сосѣдъ мимо шелъ да не кланяется? Аль ты, нужда, звѣрь-чудище, о семи ногахъ, что бѣда надъ нимъ прилучилася, да замѣстъ хвоста у него хоботъ выросъ, а замѣстъ хобота хвостъ крючкомъ? Аль зайчикомъ мохноногимъ по зарямъ прыскаешь, тушканчикомъ, табарганомъ подъ землей живешь, не то бѣлугою сорокапудовою, словно бѣлевская купчиха, съ боку на бокъ переваливаешься? Тяжело то оно, тяжело, да крякнуть нельзя: водою глотку такъ и заливаетъ тебѣ! Ой! нужда, нужда! кто про нужду на

вѣку своемъ не слыхивалъ, кто надъ буйной головой своей ея не видывалъ? и тутъ то она, и тамъ она; и повсюду ее поминаютъ, и всему она причина, и всѣмъ она виновата, а самоё ни тутъ, ни тамъ ее не увидаешь; либо невидимкой по бѣлу свѣту носится, не то затворницей гдѣ въ скитѣ сидитъ; вѣдь не даромъ же говорится, что нужда и по воскреснымъ днямъ постится, что нужда научитъ и колачи печь, и Богу молиться; ужъ не она-ль развѣ Чурилья игуменья, про которую поется:

Какъ бы русая лиса голову клонила,
Чурилья игуменья къ заутрени ходила —
Будто галицы летятъ, за ней старицы идутъ,
Старицы, черницы, души красныя дѣвицы!

Ужъ не она-ль, нужда, въ стужу и вьюгу зимнюю воробышкомъ сѣренькимъ подъ стрѣху забивается да сидитъ тамъ нахохлившись? Да нѣтъ, правда; зачѣмъ же про нужду поютъ:

Нужда скачетъ, нужда пляшетъ,
Нужда пѣсенки поетъ?

Стало быть, она барыня веселая, а, можетъ статься, и пригожая, а еще чего добраго—и ласковая, сговорчивая? Вѣдь говорятъ же: нужда послѣднюю копѣйку ребромъ катитъ; стало быть, она и тороватая хозяйка и проказница: нужда свой законъ пишетъ — стало быть, и сильна и могуча; нужда смекаетъ, нужду не проведешь; нужда изъ лычка кроитъ ремешокъ—такъ она же и досужая художница, коли не чернокнижница, а спроста изъ рогожи — сыромятной кожи не сдѣлаешь; нужда умъ родитъ, нужда изъ-подъ Сызрани да въ Москву пѣши ходила; нужда красно́ баетъ; нужда чутьемъ слышитъ, нужда и плачетъ

припѣваючи; нужда комель грызетъ; нужда горбится, нужда и прямится... «Да что же это за проказница? Какая такая нужда на свѣтѣ живетъ?» такъ спросилъ богатый молодой баричъ любимаго стремяннаго своего, который, какъ барину его было извѣстно, зналъ все, а стало быть и это. «Что такое нужда?»

— Нужда, сударь, птица[1]).

«Да какая-жъ она птица, Игнашка? гдѣ она проживаетъ, гдѣ водится? Отчего же я ея не видалъ?»

— Она, сударь, не скворецъ; по барскимъ дворамъ не водится. Она отъ большихъ господъ, отъ бояръ, до поры до времени бѣгаетъ; а случается грѣхъ, что навяжется, такъ спасибо не скажешь ей. Лучше и не спрашивайте, сударь, про нее; въ ней пути мало Она то случаемъ вываживаетъ нашего брата годъ со днемъ босого да нагого; она первая по свѣту проказница; она-жъ по ночамъ у мужиковъ утятъ таскаетъ, бѣду накликаетъ; а отъ краснаго солнышка она хоронится.

Баричъ привязался къ стремянному своему, къ Игнашкѣ: «покажи да покажи нужду; хочу видѣть ее; не стращай, а покажи; найди, гдѣ хочешь, веди меня, куда знаешь, а покажи!»

— Коли гдѣ случится мнѣ увидать ее, — отвѣчалъ Игнашка, — такъ покажу; а теперь, баринъ, взять ее негдѣ. Она дается не всегда и не всякому, хоть и не больно часто за нею гоняются.

И случись однажды, какъ ѣхалъ баринъ съ Игнашкою, на охоту ли, съ охоты ли — а другой ѣзды баричу нашему не было, — сидитъ въ лѣсу на деревѣ нужда-птица, филинъ. Припекло ему солнце очи, а слетѣть не знаетъ, куда, не видитъ; сидитъ да отщелкивается отъ стаи птахъ и пичугъ, которыя шьютъ

---

[1]) Въ народѣ у насъ филина называютъ *нуждой-птицей*.

и снуютъ вокругъ да около, съ крикомъ, съ шумомъ, съ плачемъ. «Вотъ нужда сидитъ, баринъ», сказалъ Игнашка: — «возьмите ее!» Баричъ пошелъ было, да Игнашка пріостановилъ его: «Постойте, сударь, этакъ она не дастся, улетитъ; мерлушечью шапку сымите, да бешку то скиньте, чтобы птица не пугалась, да и легче будетъ вамъ взлѣзть; да разуйтесь, чтобы не слыхать ей было поступи, такъ тогда дастся она, поймаете.»

Жилъ-былъ гдѣ то на барскомъ дворѣ козелъ-дармоѣдъ: сѣна вволю, а службы и работы нѣтъ ему никакой; развѣ только, по своей охотѣ, проводитъ лошадей на водопой да съ водопоя; и то еще ину пору не пойдетъ, — не досужно-де; а отчего не досужно? какая работа одолѣла? да вотъ, товарищъ все пристаетъ, лобъ подставляетъ, все проситъ пободаться. Ну, чего бы ему еще, кажись? — такъ нѣтъ, соскучилось ему; съ жиру и собака бѣсится; пошелъ онъ съ ребятишками съ горки кататься, по льду скользить, да и выломилъ ногу. Такъ и баричъ нашъ: нечего ему было дѣлать, хлопотъ и заботъ никакихъ, такъ пошелъ искать и промышлять себѣ нужды!

Поймалъ баринъ птицу, слѣзъ кой-какъ съ дерева, ободрался весь — глядь, анъ Игнашка съ лошадьми ускакалъ, а барина босого и нагого покинулъ. Баринъ кричать, баринъ гукать, баринъ аукать—нѣтъ Игнашки, и слѣдъ простылъ! Какъ тутъ быть? взялъ онъ нужду-птицу подъ мышки, самъ поплелся, проклиная стремяннаго своего, безъ шапки, безъ шубки, босикомъ, подувая въ кулаки да пожимая плечами. Нужда изъ-подъ Сызрани въ Москву пѣши ходила.

«Такъ вотъ она, нужда, какая бываетъ!» сказалъ баричъ, спознавшись съ птицей своего залова, съ которой прозябъ уже до мозговъ, ознобилъ ноги и руки и едва только доплелся, позднимъ вечеромъ, до ка-

кой то деревушки. Онъ постучался въ оконце, въ другое, въ третье—не пускаютъ прохожаго; въ которой избѣ спятъ мужики, что зарѣзанные, и не достучишься ихъ, не докличешься; въ которой и проснулись, знать, да не откликаются: либо неохота съ полатей на морозъ выходить, либо постою боятся. «Нечего дѣлать,» думаетъ баричъ нашъ, «надо подыматься на хитрости. Не даромъ же нужда со мною, да не даромъ же и про нужду, догадливую, изворотливую, столько причудъ и чудесъ въ народѣ сказываютъ: нужда горбится, нужда и прямится; нужда научитъ и колачи печь, и Богу молиться!»

Онъ подошелъ къ чистой, бѣлой избѣ о двухъ жильяхъ, гдѣ увидѣлъ свѣтъ; взобрался тихомолкомъ на крытый дранью навѣсъ, подъ которымъ видна была хозяйская лавка, гдѣ торговалъ онъ лаптями, веревками, дугами, колесами, ковригами, орѣхами, пряниками—чему баричъ нашъ догадался по тому, что тутъ пахло дегтемъ, а нужда чутьемъ рыскаетъ, — взлѣзъ и сталъ заглядывать въ окно. Липовый бѣлый столъ въ красномъ углу; половина его закрыта столѣчникомъ узорчатымъ; свѣтецъ не съ лучиной, а со свѣчею, на столѣ; а тутъ и всякій харчъ и ѣжа: и вино, и пирогъ, и гусь жареный; за столомъ молодая, пригожая баба, да съ нею рядомъ, на лавкѣ, молодой парень, и они вмѣстѣ веселятся-потѣшаются, пьютъ да ѣдятъ, смѣются да забавляются.

«Бабенка эта», подумалъ баричъ нашъ, съ нуждою подъ мышкой въ окно глядя, «бабенка эта хозяйка; иначе она бы не потчевала гостя своего; а что онъ гость, а не хозяинъ, такъ это признать можно по пріемамъ ихъ: вишь, она подноситъ ему ласково и кланяется, а онъ принимаетъ да усы поглаживаетъ; видно это, что онъ гость, и по рукавицамъ, и по бархатной шапкѣ его, которыя лежатъ подлѣ, на лавкѣ, а не

висятъ на своемъ мѣстѣ, на колкѣ. Стало быть, хозяина нѣтъ дома, а хозяюшка безъ него погуливаетъ!» Нужда смекаетъ дѣломъ, нужду не проведешь: и догадлива она, и понятлива!

Нужда постучался посохомъ своимъ въ оконце; хозяйка вскочила и спросила: «кто тамъ?» а парень чуть не подавился пирогомъ и вылупилъ очи на окно. «Отворяй», отозвался Нужда, «хозяинъ!» И Нужда оглянуться не успѣлъ, какъ пирогъ полетѣлъ со стола въ поставецъ, вино за кивотъ, на полочку, гусь въ печь, а гость — подъ кутникъ, гдѣ хозяйка завалила его рѣшетами да разнымъ хламомъ и скарбомъ, а сама впопыхахъ и въ суетахъ приговаривала: «охъ, голубчикъ-свѣтъ, говорила я, что надо быть нынѣ хозяину! натолкнулъ же лукавый на грѣхъ, да не спасъ Господь! лежи-жъ ты, голубчикъ, самъ нишкни; авось минетъ неминучая!» Сама-жъ она, хозяйка, кинулась отпирать дверь да ворота. Ей, вишь, и не вдогадъ, чтобы кто увидалъ, что у нея творится. Нужда взлѣзъ на навѣсъ, а она думала, что хозяинъ постучалъ въ высокое окно съ земли кнутовищемъ.

Той порою, не успѣлъ Нужда соскочить съ навѣсу на снѣгъ, глядь — сани одноконныя бѣгутъ, только снѣгъ хруститъ, и прямикомъ къ бѣлой избѣ о двухъ жильяхъ, и прямо къ воротамъ досчатымъ, подъ щипцомъ, да съ пѣтушкомъ, да на высокихъ столбахъ.

«Отворяй!» закричалъ рыжій мужчина съ окладистою бородою, похлопывая рукавицами и слѣзая съ саней, «отворяй, Кóноновна! хозяинъ пріѣхалъ!» И Кононовна, отвѣчая: «зà-разъ, зà-разъ, Сидорычъ!» уже возилась у запора. Собакъ, какъ и у большей части великорусскихъ мужиковъ, на дворѣ не было; только свиньи встревожились да захрюкали, да дюжина барановъ проблеяли. Заскрипѣли полотенцы на вереяхъ, и огарокъ въ рукахъ Кононовны бѣгло освѣ-

тилъ крытый дворъ: справа ясли, колоды, телѣги и сани, пара коней, коровушки, свинки да овцы; слѣва лѣсенка, крылечко на рѣзныхъ столбикахъ и чугунный умывальникъ съ двумя носочками на желѣзныхъ цѣпочкахъ. Между тѣмъ, Сидорычъ глянулъ на барича, спросилъ: «Это кто такой подъ заборомъ стоитъ?»

— Пусти, землякъ, въ избу погрѣться, духъ отвести, иззябъ до смерти, — отвѣчалъ Нужда: — были мы, вишь, съ бариномъ на охотѣ, ѣздили по птицу да по звѣря, да настигла насъ невзгодица; кони побили, да вотъ холоднаго и голоднаго покинули; пусти, землякъ, отвести на теплѣ душу.

Хлѣбосольный хозяинъ позвалъ Нужду съ собою въ избу, посадилъ у стола и потчевалъ, какъ гостя, всѣмъ, что Богъ послалъ. Но Богъ послалъ на этотъ разъ чашку какихъ то щецъ, по которымъ, какъ говорится, плетью ударишь — и пузырь не вскочитъ; да послалъ еще ковригу хлѣба ржаного, въ пять четвертей съ вершкомъ — и только. Хозяйка не ждала, говоритъ, нынѣ хозяина, и тужила, что не изготовила ничего получше. «Кабы-ты де впередъ сказывалъ, когда домой ждать тебя, я бы тебѣ пирогъ испекла.»

«А что у васъ за птица, прохожій господинъ?» спросилъ хозяинъ, поглядѣвъ на толстоглазаго филина, который сидѣлъ рядомъ съ гостемъ на скамьѣ. — Это нужда-птица, — отвѣчалъ тотъ: — умная, расторопная, изворотливая; все знаетъ и все видитъ, и говоритъ.

«И говоритъ?» подхватилъ хозяинъ, оборотивъ ложку и положивъ ее на столъ; потóмъ, утерши ротъ изнанкою руки, погладивъ бороду и облокотившись на край стола, продолжалъ: «да что же она такое говоритъ?» А филинъ только запыхтѣлъ и щелкнулъ носомъ.

— Такъ она про себя бормочетъ, — отвѣчалъ Нужда:—она говоритъ, что въ поставцѣ у хозяюшки вашей есть пирогъ.

«Въ поставцѣ пирогъ?» спросилъ хозяинъ, оглянувшись, «есть, что ли, Кононовна, такъ подавай!»

— Да не знаю, будетъ ли,—отвѣчала та, оробѣвъ маленько, — остатки; братъ ко мнѣ пріѣзжалъ вчера, такъ я про него было изготовила; да никакъ съѣли весь; развѣ что остатки... — И подала изъ поставца початой пирогъ.

Нужда толкнулъ филина локтемъ въ бокъ; тотъ опять вылупилъ на него очи что плошки, запыхтѣлъ да щелкнулъ. «А теперь что она говорить изволитъ, честной господинъ?» спросилъ удивленный хозяинъ.— Да такъ, она все свое несетъ, — отвѣчалъ Нужда: — говоритъ, что вино есть въ скляницѣ, позадь кивота.

«Есть, что ли?» спросилъ хозяинъ. — Да не знаю, право, отвѣчала хозяйка, ужъ больно испугавшись, — вчера, признаться, было немного, да никакъ все вышло.» Глянула; «и то есть», подала на столъ; хозяинъ молча налилъ, попотчевалъ гостя, самъ выпилъ и надулся.

— Молчи, дура,—сказалъ Нужда вполголоса филину, когда этотъ опять началъ пыхтѣть да щелкать:— молчи, не твое дѣло. — Хозяинъ сталъ допытываться, что-де онъ говоритъ?—Да онъ сказываетъ,—отозвался Нужда, словно нехотя, — что въ печи у васъ гусь есть.

«И гусь еще?» опросилъ хозяинъ, «есть что ли? а коли нѣтъ, такъ, видно, Кононовна, самому мнѣ пошарить придется: да нѣтъ ли у тебя и еще чего; такъ ужъ подавай за одинъ разъ!»

Хозяйка кинулась къ печи, отодвинула заслонъ, ахнула и руками всплеснула:—«И то есть! Ну ей же Богу, Сидорычъ, не было его и не бывало; и знать я не знаю, отколѣ онъ взялся, и вѣдать не вѣдаю!»

«Послушай, господинъ прохожій», сказалъ хозяинъ, «у меня въ домѣ давно что то не ладно; кабы это дѣдушка-домовой, такъ бы проказы не тѣ были; а то такое дѣлается, что и концовъ не сведешь. Что съѣдомое ни припасешь, съѣдятъ у тебя изъ-подъ рукъ и не узнаешь, кто; мучицы ли пшеничной засыплешь въ засѣку, на вѣсъ да на мѣру, глядишь — не хватаетъ; орѣховъ ли, черносливу ли моченаго, грушеваго ли квасу сдѣлаешь да поставишь въ лавочку, все словно куда проваливается; а въ лавкѣ, коли меня нѣтъ, сидитъ сама хозяйка: не знаешь, на кого и поклепать. Что такое это, господинъ честной?»

— А коли въ домѣ у васъ не чисто, — отвѣчалъ Нужда, — такъ виноватый скажется птицѣ моей; и будь онъ хоть самъ сатана, такъ выживу его, съ мѣста не сходя.

«Правь съ меня, что положишь», сказалъ хозяинъ, «ничего не пожалѣю, выведи только концы наружу, да изгони нечистаго!»

Нужда велѣлъ хозяину выйти: хозяинъ въ двери, а хозяйка гостю въ ноги: «батюшка, не выдавай; что хочешь проси, только не выдавай: хозяинъ убьетъ меня!» И братъ, что вчера пріѣзжалъ да пироги поѣлъ, взмолился изъ-подъ рѣшетъ да корытъ тѣмъ же голосомъ: «хоть всего-де обери, хоть разуй да раздѣнь, хоть нагишомъ пусти, только душу выручи». Нужда вытащилъ его изъ-подъ кутника, велѣлъ вымазаться сажею, надѣть тулупъ изнанкою, рукавицы на ноги, а сапоги на руки; накрылъ ему голову макитрой и посадилъ его опять на то же мѣсто; тамъ позвалъ хозяина и велѣлъ ему стучать метлою по кутнику, а хозяйкѣ шарить помеломъ подъ лавками; глядь — сатана и выскочилъ; и хозяина то было съ ногъ сбилъ, и хозяйку напугалъ до смерти, а самъ въ двери, да кубаремъ съ крыльца, да прямо въ снѣгъ; о землю

ударился, тутъ и сгинулъ, и слѣдъ ему простылъ. А Нужда взялъ, для ровнаго счету, по красненькой бумажкѣ съ хозяина и съ хозяйки и съ гостя, то есть съ брата ея; и всѣмъ угодилъ, и себя не забылъ. Ай да птица! Правда, что стоитъ она дорогого; правда, видно, и то, что нужда выучитъ любому досужеству.

Нужда согрѣлся, наѣлся, выспался, запряталъ три красненькія подальше и отправился, куда Богъ велитъ, искать и допытываться своего Игнашки. На заработанныя деньги одѣлся онъ и обулся, день-другой пожилъ — а ѣсть опять таки ему нечего! Не Чурилья игуменья баричъ нашъ, а постничать выучился хоть куда!

Идетъ, идетъ онъ по дорогѣ, что чапура по прѣсной, долгой лужицѣ, пришелъ опять на какое то село, и видитъ—народъ собрался въ кучу у сборной избы; старики, съ длинными посохами, сидятъ на завалинкѣ; передъ ними истецъ и отвѣтчикъ; крикъ, шумъ, споръ, а толку, какъ видно, мало.

«О чемъ, ребята, споръ идетъ у васъ?» спросилъ Нужда: «чего не порядите? У меня вѣщая птица есть: все знаетъ, все откроетъ, виноватаго выдастъ, самому чорту не спуститъ, а за правду-матку постоитъ: сказывайте, о чемъ идетъ толкъ?»—А вотъ въ чемъ: мужикъ просилъ на мужика, что укралъ-де у него сиваго мерина; отвѣтчикъ сиваго мерина привелъ да говоритъ: «лошадь моя, а не его. Она ужъ годовъ съ восемь со мною въ извозѣ ходила, да о Спасовку было пропала; коли онъ въ нее вклепывается, такъ, стало быть, онъ воръ, а не я». Теперь какъ быть? Свидѣтелей нѣтъ ни у того, ни у другого; истецъ недавно купилъ коня, никто его не опознаетъ; отвѣтчикъ держалъ его, какъ говоритъ, и долго, да купилъ на сторонѣ и ходилъ онъ у него въ извозѣ, а на селѣ его, мерина, тожъ никто не знаетъ. Какъ тутъ быть?

«Птица все скажетъ», отвѣчалъ Нужда: накрылъ полою голову спорной лошади и прикрикнулъ побойчѣе на отвѣтчика: «Коли-де ты съ мериномъ своимъ восемь лѣтъ въ извозѣ ходилъ, такъ сказывай скоро, не заминайся, да не думай, на который глазъ онъ кривъ?»

— На который глазъ кривъ?—спросилъ мужикъ.— «Да сказывай скорѣе, что́ думаешь», — отозвался Нужда,—«коли не знаешь, такъ, стало быть, и врешь, и лошадь не твоя».—Какъ не знать, — отвѣчалъ тотъ опять — знаю, да вѣдь она такъ, немного крива, она видитъ. — «Да нужды нѣтъ, что не много», — закричалъ Нужда,—«ты сказывай, на который глазъ; чего ты переминаешься?»—Да на правый, — отвѣчалъ мужикъ. Нужда откинулъ немного полу кафтана съ головы спорной лошади и показалъ цѣлому міру, что у мерина правый глазъ живой.—Промолвился! — кричалъ мужикъ, взмахнувъ руками и кинувъ шапку о землю, — какъ Богъ святъ, промолвился! мнѣ ли не знать мерина своего! промолвился, ребята; конь, и о четырехъ ногахъ, да спотыкается, а языкъ безъ костей, ино и нехотя свихнется! кривъ онъ на лѣвое око, ей же, на лѣвое!

Нужда только того и ждалъ: откинувъ всю полу, закричалъ онъ на весь міръ: «Вретъ онъ, ребята, вретъ самъ, какъ сивый меринъ; онъ воръ, а не хозяинъ; смотрите вотъ: меринъ глядитъ въ оба глаза не хуже всѣхъ насъ!» Коня отдали, по приговору мірскому и стариковъ, настоящему хозяину, который охотно напоилъ и накормилъ Нужду за помощь и услугу его и подарилъ его еще кой-чѣмъ въ дорогу.

Нужда собралъ пожитки свои и гостинцы: крупъ, мучицы, хлѣбца да небольшой котелокъ — и пошелъ далѣе. Путемъ-дорогою, отмѣрявъ верстъ десятка съ полтора, захотѣлось ему погрѣться да поѣсть горя-

чаго: онъ развелъ въ чистомъ полѣ огонекъ, нагребъ въ котелокъ снѣжку, растопилъ его, вскипятилъ, — сказано: нужда учитъ колачи мѣсить,—засыпалъ крупъ и заварилъ себѣ кашицу. Смотритъ — ѣдетъ баринъ, такой же, какимъ и онъ самъ недавно былъ, ѣдетъ порошею, шажкомъ, съѣзжаетъ зайца. «Дай зашутить шутку», подумалъ Нужда; поставилъ готовую кашицу свою на пенекъ, затопталъ огонь, загребъ его снѣгомъ, и ну плясать въ присядку вокругъ пенька того да приговаривать: «нужда скачетъ, нужда пляшетъ, нужда пѣсенки поетъ!»

— Что такое дѣлается тамъ,—сказалъ баринъ ловчему, не то доѣзжачему своему: — скачи-ка туда да погляди.—Ловчій воротился и донесъ, что-де проказникъ какой-то на сухомъ мерзломъ пнѣ, безъ огня, кашу варитъ.—«Что за чудо», подумалъ баринъ, хотя онъ думу думать и не больно бывалъ гораздъ, «что за диво такое!» и подскакалъ самъ глянуть, какъ-де варится кашица безъ огня, на мерзломъ пнѣ. Постоявъ, поглядѣвъ да отвѣдавъ кашицы нашего проказника, сказалъ онъ: «да это предорогая вещь въ отъѣзжемъ полѣ, для охоты, въ дорогѣ»; и сталъ допытываться: въ чемъ тутъ сила, въ пенькѣ ли, въ пляскѣ ли аль въ котелкѣ? И сталъ торговать весь снарядъ этотъ у нашего Нужды, за большія деньги. «Пенекъ вашъ», сказалъ ему Нужда: «на вашей землѣ выросъ; его покупать нечего; а вся сила въ пляскѣ, да въ пѣснѣ, да въ котлѣ;» и продалъ котелокъ свой охочему боярину и научилъ его плясать вприсядку да приговаривать: «нужда скачетъ, нужда пляшетъ, нужда пѣсенки поетъ»; деньги-тѣ взялъ, а самъ пустился скорѣе своимъ путемъ безъ оглядки во-свояси. Много ли каши наварилъ въ котлѣ этомъ новый хозяинъ его — не знаю, слышалъ только, стороною, отъ псарей да отъ конюховъ его, что замучилъ онъ и ихъ и себя, поставивъ

котелокъ на пень, насыпавъ въ него крупъ, наливъ его водицей и заставивъ всѣхъ ловчихъ и доѣзжачихъ поочередно выплясывать въ присядку около походной кухни своей, пѣть и приговаривать, и наплясавшись самъ вкругъ нея до упаду.

Много ль, нѣтъ ли и Нужда нашъ прошелъ по дорогѣ,—слышитъ топотъ за собою, крикъ и скачку,—догадался онъ, не долго думавъ, что новому повару, знать, котелокъ-самоваръ не полюбился, досужество не далось, и что шлетъ баринъ за штукаремъ погоню. Какъ тутъ быть? Куда кинуться? А поймаютъ, такъ отъ арапниковъ врядъ ли отвертишься! Ухватилъ Нужда хворостину да посохъ свой дорожный, взмахнулъ ими, да и закинулъ на сосну; а самъ сѣлъ подлѣ дороги, кафтанъ надѣлъ изнанкой, а барскій жилетъ свой—сверхъ кафтана; шапку-новокупку, поизмявъ да вывалявъ ее, надвинулъ окольшемъ на глаза—сидитъ, ожидаетъ, что-то будетъ.

Не прошло и съ эстолько часу, какъ теперь, когда сказываю я вамъ, что такое передъ нами дѣется и творится, какъ наскакалъ на Нужду нашего вершникъ доброконный и сталъ разспрашивать его: не видалъ ли онъ пѣшаго прохожаго по этой дорогѣ? Нужда отрекся ото всего: ничего не видалъ, не слыхалъ, знать не знаетъ, вѣдать не вѣдаетъ; а кланялся только низменно, горько плакалъ и просилъ милосердной помощи наѣздника. «Шло», говоритъ онъ, «по дорогѣ трое школьниковъ какихъ-то; я, Богомъ убитый калѣка, плелся, побираясь святою милостынею, на двухъ костыляхъ; набѣжали они на меня, — прости имъ, Господи, согрѣшеніе ихъ,—наскочили на меня бѣднаго, юродиваго, выхватили изъ-подъ рукъ костыли мои да закинули вонъ на макушку сосны! Честной, богобоязливый доѣзжачій! Смилуйся надо мною, надъ бѣднымъ сиротою; умереть мнѣ здѣсь голодною смертію, умереть

отъ туги и нужды, коли не сотворишь богоугодное, не скинешь костылей моихъ съ сосны высокой!»

Доѣзжачій, молодой, проворный парень, проворчалъ было про себя:—«некогда, да баринъ браниться станетъ, догонять надо вора, обманщика»,—но, разсчитавъ, что пѣшій отъ коннаго не уйдетъ, и что, подлинно, убогій калѣка пропадетъ и сгинетъ ни за грошъ, коли онъ не выручитъ его изъ бѣды такой, соскочилъ съ коня, далъ ему, нищему, подержать его за поводъ, а самъ полѣзъ скорымъ шагомъ на сосну.

Безногій нашъ только и ждалъ того, чтобы доѣзжачій повыше на дерево взобрался: вскочивъ на коня, да катай-валяй его по крутымъ бедрамъ, влѣво и вправо, вправо и влѣво,—скрылся, да изъ виду ушелъ, поколѣ пѣшій доѣзжачій успѣлъ образумиться, оправиться и слѣзть съ высокаго дерева. «Нужда грѣха не знаетъ», подумалъ баричъ нашъ, раздобывъ коня, опознавъ вскорѣ родныя мѣста вокругъ себя и разсчитавъ, что до дому уже недалеко. Теперь нужда-птица ему ужь лишняя; наскучила она и надоѣла, да отвязаться отъ нея—не отвяжешься. Ужь онъ и кинулъ ее, и гонялъ ее,—нѣтъ, она за нимъ. Онъ станетъ, она тутъ; онъ бѣжитъ, онъ скачетъ, она за нимъ, на широкихъ крыльяхъ своихъ; нѣтъ отбою, да и только. «Отвяжись ты, окаянная!» бранился баричъ нашъ; «я ѣду теперь домой, на сытый столъ, на мягкую постель, на приволье, а тебя, горемыку, больше и знать не хочу, будетъ съ меня!» А нужда-птица, пощелкивая носомъ своимъ, свой разговоръ ведетъ да не отстаетъ ни на шагъ.

«Нужда умъ родитъ», подумалъ баричъ, «и надо съ нею поуправиться; а жить съ нею не находка; она, чего добраго, и домой ко мнѣ бѣду занесетъ».

— Здравствуй, честной господинъ! Все ли въ добромъ здоровьѣ васъ, благодѣтеля моего, Господь сохра-

нѣетъ?—Нужда оглянулся; несетъ судьба встрѣчу ему, по дорогѣ, на широкихъ пошевняхъ, на парѣ добрыхъ, толстоголовыхъ рыжаковъ, подъ расписанной и рѣзьбою разукрашенной дугою, съ бубенчиками не менѣе шести-фунтоваго ядра подъ ушами, несетъ, говорю, судьба стараго знакомца его, Сидорыча, блаженнаго супруга Кононовны.—Долго, послѣ вашей милости отбытія,—продолжалъ Сидорычъ:—долго у меня въ домѣ все было благополучно, ясно, и видимо изобличалась сила благодѣтельной помощи вашей: да вотъ нынѣ, господинъ честной, никакъ опять кой-что проявляться стало; опять таки что-то не ладно, а съ чего притча такая дѣется, не приберешь, какъ и разума приложить.—Слово за словомъ, не успѣлъ Сидорычъ напроситься на нужду-птицу, какъ баричъ, радъ-радёшенекъ сбыть ее съ рукъ, продалъ ему Филина безъ слова, съ руками отдалъ и насулилъ съ него пути и блага и добра съ три короба. «Будетъ-де она жить-служить и у васъ, какъ у меня, станетъ выказывать все, что ни дѣется въ домѣ, и хозяина своего ни за что въ обиду не дастъ».

А сколько она, нужда-птица, была пользительна новому хозяину своему, это особь-статья; довольно вамъ того, что такимъ-то изворотомъ сбылъ баричъ нашъ птицу свою съ рукъ и съ плечъ долой, спознался и разстался опять съ нуждою и воротился домой гораздо посмышленѣе да и порасторопнѣе, чѣмъ выѣхалъ.

«Ну, счастье твое, Игнашка, счастливъ твой Богъ, что хоть помаялъ ты меня, правда, да судьба моя, счастье мое, по добру, по здорову домой меня вывезло; старое, по русской пословицѣ, въ добрый часъ не поминается; Богъ тебя проститъ, не хочу на тебя гнѣваться. Счастье и мое и твое, Игнашка, что наше счастье, знать, поумнѣе да подогадливѣе насъ обоихъ,

а то бы не бывать изъ этого добру! Аль и подлинно ужь нуждою и счастье насилуется?»

— А что такое счастье?—спросилъ въ свой чередъ Игнашка у барина; — я научилъ васъ, сударь, нужду знать, покажите же вы мнѣ счастье!

Баринъ призадумался. «Счастье—убогому алтынъ, богатому милліонъ; а подай каждому, чего просятъ — скажутъ: мало, давай еще столько, да еще полъ-столько, да четверть-столько, да начинай опять сызнова: счету нѣтъ конца, а стяжанію человѣка также. Да и счастье-ль это, хоть оно счастьемъ называется? За тотъ же алтынъ нищій нищему голову накостыляетъ, а богатый... да сказано слово: поетъ пѣсни сапожникъ, а не поетъ откупщикъ; какое же тутъ счастье? А братъ на брата, племянникъ на дядю, сынъ на отца, за что идутъ? все за ту же проклятую мишуру, что въ чужихъ рукахъ блеститъ, а въ своихъ меркнетъ... Стало быть, счастье — нищета, нужда? Нѣтъ, Господь съ нею; и это не счастье, я на бѣду спознался съ нею, да радъ, что отвязалась! Счастье умъ, счастье разумъ—такъ разумъ, говорятъ, доводитъ до раздумья, умъ до безумья; счастье — златомъ граненые чертоги; счастье — скипетръ въ десницѣ, всесильная держава въ шуйцѣ?»—А холера,— сказалъ Игнашка, — душитъ всякаго, праваго и виноватаго, убогаго и богатаго; да еще добро, задушитъ, а какъ дугою поведетъ, столбнякъ ошеломитъ, проказа сатанинская навалится, либо какая-нибудь нечестивая болѣзнь, прости Господи, изнасилуетъ, да сорокъ лѣтъ жить укажетъ и ее съ собой на плечахъ таскать, какъ, сказываютъ, проносилъ солдатъ три года со днемъ смерть за плечами, тогда какъ быть? Да еще каково то на томъ свѣтѣ доведется отвѣтъ держать за каждую крупинку, за былинку, за грѣшный сонъ и за думку спросонья?! Такъ гдѣ-жъ тутъ, баринъ, счастье?

Гой ты, счастье, сударушка, невидимочка! Ты скажись родомъ, племенемъ, скажись именемъ, отчествомъ! и по прозваньицу тебя бы можно честить, по роду-племени пожаловати? И слѣпою то тебя называютъ; и спиной, говорятъ, ко всякому, кто ни подойди, оборачиваешься; нужда учитъ, говорятъ, а счастье кормитъ; а сами за счастьемъ, что за мухой, съ обухомъ гоняются; гдѣ счастье, тамъ и умъ, гдѣ счастье, тамъ и зависть; счастье ищи, а въ могилу ложись; счастье зови, а горе терпи; такъ на что же его послѣ этого и звать? глупому счастье, умному ненастье; есть и умъ, да пустосумъ; нѣтъ ума, да туга сума; кому таланъ, тотъ и атаманъ; кому не поведется, у того и пѣтухъ не несется; стало быть, ума и не надо, было бы счастье... такъ опять говорится: счастье безъ ума — дырявая сума; гдѣ найдешь, тамъ и сгубишь; ну, такъ, видно, опять надо искать и ума? Анъ говорятъ: не родись уменъ, не родись пригожъ, а родись счастливъ; счастье дороже ума; съ рожи болванъ, а во всемъ таланъ; счастливый къ обѣду, роковой подъ обухъ; счастливый о двуконь, безчастный пѣшъ и босъ; стало быть, съ нимъ, со счастьемъ, ужиться бы и можно, да счастье съ несчастьемъ, сказываютъ, дворъ обо дворъ живутъ, на одномъ конѣ ѣздятъ; счастье поѣдетъ, да односума своего, бѣду бѣдовую, по-калмыцки, на забедры посадитъ; счастью, говорятъ, не вѣрь; счастье дымъ, очи выѣстъ; счастье чадъ, головушку разломитъ; счастье да тристье, кого захочетъ, того и ломаетъ: счастье къ тебѣ, а ты отъ него; ты къ нему, оно отъ тебя; голый на Бога плачется, одѣтый и обутый на счастье; да кто же оно, счастье это? Счастье тать ночной, счастье Богъ святой...

Нѣтъ; счастье, — сказывалъ мнѣ мудрецъ восточный, — не слѣпо; у него только глазъ одинъ, да и тотъ

на самомъ темени, на макушкѣ; это бѣдная мать, утратившая, со временъ незапамятныхъ, единое дѣтище свое; она летаетъ быстро по землѣ да ищетъ дитя свое, ловитъ наудачу всякаго, кто только подъ руки подвернется: стало быть, играетъ, по-нашему, въ жмурки; а кого только поймаетъ, того приподымаетъ помалу, потихоньку, выше да выше, что, дескать, счастье мое скажетъ, не мой ли это сынъ? а какъ только приподыметъ его повыше головы своей да разглядитъ, да увидитъ, что это не любимое дѣтище ея, а ненавистный ей чужой, то и махнетъ его черезъ себя, да и полетѣла дальше. Хоть ты себѣ тутъ шею выломи, хоть топчи пожалуй, кому охота, тебя подъ ноги,—не оглянется, не воротится: прошла—и слѣдъ простылъ: а сама уже ловитъ другого, да поймавши и его туда же.

И баричъ нашъ, призадумавшись, захотѣлъ было идти искать счастья, спознаться съ нимъ, какъ спознался съ нуждою. «Хочу видѣть его», говорилъ онъ, «хочу извѣдать, каково оно и какъ съ нимъ обживаются!»

— Постой, баринъ, — сказалъ Игнашка: — погоди, за счастьемъ пойдешь, а Богъ вѣсть, что найдешь; не наткнуться бы опять на нужду-птицу! Есть у меня на примѣтѣ человѣкъ, про котораго шла когда то молва, что онъ заманилъ и залучилъ счастье; послушайте:

— «Есть наука мудрая, глаголемая: космографія, изучающая положеніе странъ свѣта и земель и показующая, гдѣ и какая земля къ какой примыкаетъ и какой товаръ и скотъ въ ней родится, и какія твари и человѣко-твари, василиски, сирины, счастливіи и несчастливіи людіе живутъ и обрѣтаются. И сія то наука любомудрая глаголетъ о счастіи тако:

«И бысть во царствѣ единомъ на востоцѣ царь,

сильный въ людѣхъ своихъ и могучій надъ враги своя ратію, ей же нѣсть числа; и неистощимъ въ житницахъ и сокровищницахъ своихъ, и зѣло великъ думцами своими. И бысть ему дщерь плоти его единая, овую же держахъ любовно на сердцѣ своемъ, паче злата и сребра и сокровищъ и ризъ драгихъ и самого даже царствія своего, душу свою въ оной дщери любой не чаявши.

«И низойде, въ годину овую, повѣтріе зѣльно на человѣцы страны тоя и погибоша и умроша людіе, аки злакъ дольный, лезвіемъ серпа усѣкновенный. И не бысть зелія ни единаго отъ немощи тоя: ниже молебствія со крестными ходы, съ ѳиміамы кадильными, отъ повѣтрія оваго не исцѣляху людіе погибающи.

«И сокруши немощь смертная дщерь плоти царя единую, юже любовно держахъ царь паче имени и царствія своего; и воззва царь сильный силою и мощный мощію: «егда обрящется мужъ велемудрый, вѣдущъ во травѣхъ и зеліяхъ, иже исцѣлитъ дщерь плоти его единую отъ немощи смертныя, ему же царствомъ воздастся цѣлымъ, нераздѣльнымъ, и короною державною, и всѣми сокровищи и скарбы насущными; ему же въ царѣ, сильномъ въ людѣхъ своихъ и карающемъ враги своя ратію присно-побѣдною, рабъ обрящется покорный, раболѣпный, и съ сокровищи и земли и люди своя и царства своего, отъ нынѣ и до скончанія вѣка; и быти во царствіи овомъ единой душѣ не рабской, дщери плоти и любви царской.»

«И предста хиромантъ всевѣдущій въ травѣ и зеліяхъ предъ царя того, и рѣче: «аще хощеши исцѣлити дщерь свою, да обрящешь во царствіи твоемъ счастливца единаго, самого себя блаженства земнаго причастна глаголюща, ни единой потребы, ни единаго желанія не имуща; егда же обрящеши во царствѣ твоемъ мужа оваго, возложи натѣльную ризу, сирѣчь

сорочку его, на сокрушенну недугомъ смертнымъ дщерь твою, и возрадуется паки жизнію и возведетъ очеса на тя и возлюбитъ жизнь.

«И побѣжали гонцы во всѣ концы царства того, и изъѣздили всѣ углы и закоулки, всѣ улици и переулки, торные пути и захолустья, рѣдняки и трущобы, города и пригороды, села со приселки и выселки—нѣтъ у сильнаго и могучаго царя счастливаго подданнаго. Кто и доволенъ бы судьбой, да денегъ мало; кто и богатъ, да хотѣлось бы ему быть еще маленько побогаче; кто жены проситъ, кто разводу; кто знати, кто досужества; кто ума, кто пригожества...

— «Такъ умереть, что ли, единой дочери моей, которой не было и нѣтъ подобной на землѣ, за которую я и царство и себя самого отдаю любому пришельцу въ рабы вѣчные и покорные, — завопилъ отчаянный царь въ немощи своей, — умереть ей и погибнуть неминуемо и неспасимо?

— «Да нешто она первая или послѣдняя гаснетъ во цвѣтѣ лѣтъ и въ красотѣ дѣвственной, развѣ не всѣ мы такіе же смертные, какъ она? Развѣ остался живымъ кто-нибудь изъ предковъ нашихъ, или мы будемъ жить съ потомками? Всѣ мы тамъ будемъ, только что не въ одно время. — Такъ утѣшалъ царя неутѣшнаго мудрецъ его; но царь, ломая руки, взывалъ: «Ищите, ищите, найдите мнѣ счастливца, и царство мое ваше, и я слуга и рабъ вашъ по гробъ! Неужели этого мало, и не могу я, этою цѣною, искупить бѣдной жизни одной только души? Ужели для меня, который не щадилъ и не щадитъ жизни своей для блага подданныхъ своихъ, ужели для непорочной, бѣдной дочери моей никто не хочетъ сказаться и быть счастливымъ, хотя бы то на одинъ только мигъ?

— «Сказаться? — спросилъ мудрецъ царя, — коли это можно, *сказаться и быть*, государь, то кому же ближе спасать кровное дѣтище свое, какъ не тебѣ? скажись и будь счастливымъ; одного счастливца, ты знаешь, довольно.

— «Какъ мнѣ быть счастливымъ, когда дочь моя, безъ которой во мнѣ нѣтъ и не будетъ искры жизни, лежитъ на одрѣ смертномъ?» — такъ взываетъ царь неутѣшный: — «мнѣ быть счастливымъ?» — Такъ вотъ же тебѣ, государь, — отвѣчалъ мудрецъ: — вотъ тебѣ живое поличіе всѣхъ подданныхъ твоихъ: каждаго порознь и всѣхъ вмѣстѣ; и каждый бы радъ быть счастливымъ, да одного заботитъ одно, другого печалитъ другое; каждому думается: вотъ бы только это, либо то, такъ и былъ бы я счастливъ, а безъ того не могу.

«Но вотъ гонцы неутомимые все царство искрестили и — «нашли!» кричитъ запыхавшійся вершникъ, наскакавъ въ широкій дворъ царскій, «нашли блаженнаго счастливца!» Дворецъ царскій словно ожилъ весь—и стѣны, и простѣнки и золоченая кровля, отъ бута и до конька, все вздрогнуло и всюду раздалось: «нашли!» — Кто онъ таковъ? Гдѣ онъ? Подайте его сюда! да гдѣ отыскали его, отколѣ онъ взялся? Что нужды до этого; все равно; благо нашли, схватили и привели. Онъ здѣсь: не въ каретѣ, не въ колымагѣ, ни даже на дрожкахъ, и не верхомъ, подъ чеканною сбруею въ дорогихъ каменьяхъ; гонецъ поймалъ его за воротъ и притащилъ, какъ счастливецъ стоилъ да ходилъ, пѣшаго, на двухъ ногахъ...

— «Я твой рабъ вѣкожизненный, со всѣмъ царствомъ моимъ», возопилъ царь въ умилительной радости, преклоняя главу свою передъ счастливцемъ: «и этою цѣною, человѣкъ, покупаю я только сорочку твою: подай ее сюда; тебя межъ тѣмъ облекутъ въ златыя ткани...

— «Сорочки у меня нѣтъ, — отвѣчалъ скиренно блаженный счастливецъ.

— «Какъ, нѣтъ? рубахи нѣтъ, нѣтъ сорочки? отдай одну, послѣднюю, сыми съ себя!

— «Да то-то нѣтъ ея ни на мнѣ, ни за мною; была когда то, давно, да износилъ всю и кинулъ.

— И прекрасная царевна,—закричалъ баричъ нашъ, слушая Игнашку, любимаго стремяннаго своего: — и царевна умерла?

— Да, знать, умерла, сударь; по крайности, счастливаго, съ рубахой на плечахъ, въ обширномъ царствѣ не сыскалось, хоть царства въ сказкахъ живутъ и не нынѣшнимъ чета: царство это было въ сорокъ-сороковъ обхватовъ земли, а народу въ немъ, что былинокъ въ полѣ. Вотъ вамъ, баринъ, и счастье; теперь раскидывайте-ка бобами сами; въ потѣхахъ — не оно, въ избыткѣ—не оно; а гдѣ да въ чемъ оно? этого голышъ блаженный не сказалъ; рубахой, говоритъ, обзаводиться не стоитъ: что съ нею, что безъ нея, мнѣ все одно; судьбой я доволенъ, сытъ бываю почитай что каждый день; хотѣть я ничего не хочу, ничего мнѣ болѣ не надо, царства вашего не возьму и даромъ — не держите-жъ меня здѣсь, по пустому, а отпустите, безъ грѣха, домой; вотъ я чего хочу.

— А и то еще говорятъ, баринъ, — сказалъ Игнашка: — гдѣ правда, тамъ и счастье.

«Правда? а что такое правда? Это что за звѣрь, птица или рыба! Что такое на свѣтѣ правда? Правда— вещь совсѣмъ иная; это не нужда и не счастье и не имъ чета, ниже ровня. Правда мірская—это вещь потѣшная. Правда свѣтлѣе солнца; что правда, то не грѣхъ; да зачѣмъ же правда глаза колетъ? Правдою жить—съ людьми не знаться; неправдою жить — Бога погнѣвить; какъ же тутъ быть? стой за правду горой, и Богъ съ тобой; знай Бога да сказывай правду;

кто правдою живетъ, тому Богъ даетъ; это бы и ладно, да говорятъ: правда по міру ходитъ; молвить правду, не знать дружбы; а по міру ходить, да безъ друга жить, самъ себѣ опостынешь; а это уже и не ладно. Говорятъ: хлѣбъ ѣшь, а правду рѣжь—а говорятъ и такъ: хлѣбъ рѣжь, а правду ѣшь: то есть самъ глотай, да про себя и знай. Да опять и то сказать: ино правду говорить большому человѣку — не легче лжи; и правдою ину пору подавишься. Говорятъ, все на свѣтѣ сгинетъ, одна правда останется; да куда же она послѣ всего этого годится? Сами же говорите вы: правда къ добру не доведетъ—правдою не обуешься, сытъ не будешь! Вы мнѣ на это молвите: да въ комъ честь, въ томъ и правда; ладно, да не вы ли сказывали намедни: глупый да малый говорятъ правду: какая-жъ честь, скажите, въ глупомъ да въ маломъ? Грекъ, жидъ да армянинъ молвятъ правду по одному разу въ годъ; — это что? да развѣ они живутъ хуже нашего? Или они вѣрятъ тому, что сильна правда, да деньга сильнѣй? Такъ за что же, коли такъ, говорится: засыпь правду золотомъ, она всплыветъ; правда и въ золотѣ не тонетъ; дороги твои сорокъ соболей, а на правду и цѣны нѣтъ, а на что опять вы же говорите: хороша правда, годится и неправда? это что? или вотъ это: одно слово правды весь свѣтъ перетянетъ; да коли она по золоту плаваетъ, какъ вы сейчасъ же говорили, такъ стало быть золото будетъ потяжелѣе правды вашей? Куда ни сунься, кого ни послушай—все его правда, словно ее на откупу держатъ; а гдѣ двое сойдутся, тамъ и двѣ правды, да каждый хвалитъ свою; что же она за оборотень такой, что за двойникъ, и за что же она дорога, коли у всякаго есть своя, и всякій съ нею носится и няньчится? Живи правдой въ людяхъ, живи правдой дома; а между тѣмъ, не всякую правду женѣ

сказывай; не солгать, такъ и правды не молвить; не будь лжи, не стало бы и правды; хорошая ложь дороже плохой правды; стало быть, сами учите лгать; а соври кто, хоть одинъ разъ на вѣку своемъ, такъ вы же, махнувъ рукой, скажете: кто одинъ разъ совретъ, тотъ вѣку безъ другой неправды не доживетъ. Неправда отшельникомъ не живетъ: гдѣ одна, тамъ и другая, а гдѣ двѣ, тамъ плодятся онѣ и множатся, какъ змѣи около Знаменья. Отъ лжи не мрутъ, да впередъ вѣры неймутъ; да коли стародавніе пророки померли, а новые правды не сказываютъ, такъ тогда какъ быть? гдѣ добудешь ее, коли безъ нея, какъ говорится, вѣку не изживешь? Гдѣ она, правда эта, и гдѣ ее взять? И какая-жъ это правда, которая на свѣтѣ надобна, безъ которой вѣку изжить нельзя, которою свѣтъ пройдешь, да только назадъ не воротишься? Эта правда, сказываютъ, вещь потѣшная.

«Жилъ-былъ, во землѣ далекой, иноязычной, иновѣрческой, пастырь духовный, по-турецки мулла, по-нашему попъ, по-нѣмецки пасторъ, по-польски ксёндзъ. Онъ славился на весь міръ правдою и благочестіемъ, и самъ хвалился повседневно, что терпитъ напраслину за одну только правду; а онъ былъ убогъ и скуденъ до крайности.

«Однажды взяло его горе тугое и раздумье бѣдовое: «Плачусь я» — говоритъ: — «Богу, Богъ не слышитъ; плачусь людямъ — люди вѣры неймутъ; а голодъ не угаръ, отъ него не переможешься, не переспишь. Что я буду дѣлать и какъ мнѣ быть? По міру ходить съ котомкой—грѣшно, да и не велятъ, не приказываютъ,—попадешься, такъ не развѣдаешься; идти молотить за хлѣбъ насущный, такъ силъ нѣту, дѣло непривычное; духомъ я бодръ, а тѣломъ слабъ, потому что морилъ плоть свою, какъ велитъ законъ. Взаймы никто не даетъ; сидѣлъ бы дома да ждалъ, по-

кто правдою живетъ, тому Богъ даетъ; это бы и ладно, да говорятъ: правда по міру ходитъ; молвить правду, не знать дружбы; а по міру ходить, да безъ друга жить, самъ себѣ опостынешь; а это уже и не ладно. Говорятъ: хлѣбъ ѣшь, а правду рѣжь—а говорятъ и такъ: хлѣбъ рѣжь, а правду ѣшь: то есть самъ глотай, да про себя и знай. Да опять и то сказать: ино правду говорить большому человѣку — не легче лжи; и правдою ину пору подавишься. Говорятъ, все на свѣтѣ сгинетъ, одна правда останется; да куда же она послѣ всего этого годится? Сами же говорите вы: правда къ добру не доведетъ—правдою не обуешься, сытъ не будешь! Вы мнѣ на это молвите: да въ комъ честь, въ томъ и правда; ладно, да не вы ли сказывали намедни: глупый да малый говорятъ правду: какая-жъ честь, скажите, въ глупомъ да въ маломъ? Грекъ, жидъ да армянинъ молвятъ правду по одному разу въ годъ; — это что? да развѣ они живутъ хуже нашего? Или они вѣрятъ тому, что сильна правда, да деньга сильнѣй? Такъ за что же, коли такъ, говорится: засыпь правду золотомъ, она всплыветъ; правда и въ золотѣ не тонетъ; дороги твои сорокъ соболей, а на правду и цѣны нѣтъ, а на что опять вы же говорите: хороша правда, годится и неправда? это что? или вотъ это: одно слово правды весь свѣтъ перетянетъ; да коли она по золоту плаваетъ, какъ вы сейчасъ же говорили, такъ стало быть золото будетъ потяжелѣе правды вашей? Куда ни сунься, кого ни послушай—все его правда, словно ее на откупу держатъ; а гдѣ двое сойдутся, тамъ и двѣ правды, да каждый хвалитъ свою; что же она за оборотень такой, что за двойникъ, и за что же она дорога, коли у всякаго есть своя, и всякій съ нею носится и няньчится? Живи правдой въ людяхъ, живи правдой дома; а между тѣмъ, не всякую правду женѣ

сказывай; не солгать, такъ и правды не молвить; не будь лжи, не стало бы и правды; хорошая ложь дороже плохой правды; стало быть, сами учите лгать; а соври кто, хоть одинъ разъ на вѣку своемъ, такъ вы же, махнувъ рукой, скажете: кто одинъ разъ совретъ, тотъ вѣку безъ другой неправды не доживетъ. Неправда отшельникомъ не живетъ: гдѣ одна, тамъ и другая, а гдѣ двѣ, тамъ плодятся онѣ и множатся, какъ змѣи около Знаменья. Отъ лжи не мрутъ, да впередъ вѣры неймутъ; да коли стародавніе пророки померли, а новые правды не сказываютъ, такъ тогда какъ быть? гдѣ добудешь ее, коли безъ нея, какъ говорится, вѣку не изживешь? Гдѣ она, правда эта, и гдѣ ее взять? И какая-жъ это правда, которая на свѣтѣ надобна, безъ которой вѣку изжить нельзя, которою свѣтъ пройдешь, да только назадъ не воротишься? Эта правда, сказываютъ, вещь потѣшная.

«Жилъ-былъ, во землѣ далекой, иноязычной, иновѣрческой, пастырь духовный, по-турецки мулла, по-нашему попъ, по-нѣмецки пасторъ, по-польски ксёндзъ. Онъ славился на весь міръ правдою и благочестіемъ, и самъ хвалился повседневно, что терпитъ напраслину за одну только правду; а онъ былъ убогъ и скуденъ до крайности.

«Однажды взяло его горе тугое и раздумье бѣдовое: «Плачусь я» — говоритъ: — «Богу, Богъ не слышитъ; плачусь людямъ — люди вѣры неймутъ; а голодъ не угаръ, отъ него не переможешься, не переспишь. Что я буду дѣлать и какъ мнѣ быть? По міру ходить съ котомкой—грѣшно, да и не велятъ, не приказываютъ,—попадешься, такъ не развѣдаешься; идти молотить за хлѣбъ насущный, такъ силъ нѣту, дѣло непривычное; духомъ я бодръ, а тѣломъ слабъ, потому что морилъ плоть свою, какъ велитъ законъ. Взаймы никто не даетъ; сидѣлъ бы дома да ждалъ, по-

куда Господь что пошлетъ, такъ скоро пропаду я и самъ, замерзнутъ да вымрутъ голодомъ и холодомъ ребятишки мои;—не сидится, нѣтъ больше силъ!»

«Такъ разсуждалъ, окропивъ черствую краюшку хлѣбца горючими слезами, заморской земли пастырь, когда вдругъ вошелъ къ нему зажиточный мужичекъ, помолился, поклонился, подошелъ подъ благословеніе и звалъ дать имя новорожденному; другой вошелъ, хочетъ дочь подъ вѣнецъ вести; третій пришелъ съ заплаканными очами, зоветъ хоронить отца. Пастырь вымолвилъ теплое моленіе къ небесамъ: послалъ-де Господь, за правду мою, хлѣба насущнаго, и, какъ дѣло было почитай натощакъ, то пастырь нашъ и сталъ разсчитывать, сколько мѣрочекъ муки, да сколько яицъ, пироговъ, утокъ, куръ, возьметъ онъ на крестинахъ, сколько на свадьбѣ, сколько на похоронахъ. Разсчитавъ все это, сталъ уже думать, какъ поправится онъ помаленьку изъ нищеты своей и заживетъ домкомъ, съ чадами и домочадцами своими. Но думай да гадай, а конца поджидай: у новорожденнаго поднесъ ему кумъ лыковыхъ лаптей пару; за то, что повѣнчалъ, насыпали ему въ берестовый кошель смородины да лѣсной малины; на похоронахъ — напоили, накормили, да съ тѣмъ и домой отпустили.

— «Не хочу жить! сказалъ отецъ: — пойду утоплюсь. Мнѣ ли домой показаться опять ни съ чѣмъ, и плачь и жалобу слушать споконъ вѣку одну и ту же, жалобу горькую: тятя, дай хлѣбца? Мнѣ ли пропадать и высыхать по каплѣ, что дудловому пню, безъ радости, безъ утѣхъ, безъ хлѣба, съ одною правдою? А ужъ я-ль не молился тепло и правдиво; я-ль не терпѣлъ, въ чаяніи лучшаго, смиренно, безропотно? Нѣтъ силъ больше, ни за себя, ни за своихъ! Дары міряиъ вложу я у подножія символа вѣры своей, какъ послѣднюю дань отходящаго, а самъ я... пойте послѣ по

мнѣ, коли кто на селѣ безъ меня споетъ, вѣчную память!

«Пошелъ, дождался ночи, сложилъ дары мірянъ, ещежды помолился и съ твердою рѣшимостью вышелъ на росточь побережную, на крутояръ; и видитъ, идетъ къ нему, въ теми ночной, бѣлобородый старецъ. «Что дѣлаешь, отецъ?»

«Отецъ повѣдалъ старцу все, отъ аза до ижицы. Вы уже знаете, что иновѣрческій пастырь нашъ любилъ правду; онъ не утаилъ ничего, во всемъ признался, что на исповѣди, держалъ отвѣтъ, какъ передъ Богомъ.

— «Не топись,—сказалъ ему старикъ:—смерть отъ тебя не уйдетъ, ниже ты отъ нея; и я такой же, какъ и ты, бобыль; станемъ горе мыкать пополамъ; у меня за пазухой ржаная лепешка есть; уломилъ ее на полы, что тебѣ, то и мнѣ, поровну, да и пойдемъ, куда Господь поведетъ: утро вечера мудренѣе!

«Шли, шли они вмѣстѣ, не день и не два; старикъ, что заря, что сумерки, изъ-за пазухи лепешку тащитъ и дѣлитъ пополамъ. Наконецъ—не житницы-жъ египетскія у старика за пазухой—ложатся они въ чистомъ полѣ спать, а старикъ и досталъ было лепешку, да и положилъ опять назадъ. «Послѣдняя», говоритъ: «только одна и осталась; ужъ лучше мы ее на утро оставимъ да и подѣлимся.» Утро красное взошло — старикъ проснулся, Богу помолился. «Ну», говоритъ: «односумъ, давай, подѣлимъ теперь послѣднюю лепешку нашу; а тамъ—что Богъ дастъ». Хвать — анъ ея ужъ и нѣтъ.

— «Товарищъ,—сказалъ старикъ: — ты съѣлъ лепешку?

«Нашъ пастырь крестился и божился, на чемъ свѣтъ стоитъ,—не я. «Ну, ладно», говоритъ старикъ: «не ты, такъ не ты, пойдемъ дальше. Правда,—слово

великое;—я ему вѣрю и безъ божбы». Шли, шли они опять, съ утра до поздней ночи; отецъ духовный голодомъ изнылъ. «Нѣтъ силъ», говоритъ: — «издохну здѣсь, на мѣстѣ!»

«Старикъ полѣзъ за пазуху—нашелъ еще лепешку; а попутчикъ его рукой за нею тянется да ужъ и слова не вымолвитъ, уморился на смерть! «Ты, что ли, съѣлъ лепешку, такъ сказывай лучше; я не взыщу: не бось, только признайся!»

— «Чтобъ мнѣ на мѣстѣ, тутъ же, растянуться,— отвѣчалъ тотъ:—коли я безъ вѣдома твоего хоть одну кроху насущную подобралъ!

— «Ну, не ты, такъ не ты; я только спросилъ Вотъ тебѣ половина лепешки моей.

«И шли они опять, подновивъ силы свои, поколѣ не дошли до рѣки. Старикъ, подобравъ ризы свои до колѣнъ, пошелъ вбродъ; духовный пастырь за нимъ, да вдругъ и началъ тонуть. Захлебываясь и задыхаясь, боролся онъ съ мокрою смертію и молилъ старика о помощи. «Ты, что ли, съѣлъ лепешку?» спросилъ опять старикъ; и снова спутникъ его сталъ заклинаться всѣми святыми и отрекаться отъ лепешки, и еще похвалился, что всегда говорилъ правду. «Не ты, такъ не ты», сказалъ старикъ: «на что божишься?» Самъ подалъ ему руку, вытащилъ его и вывелъ, вслѣдъ за собою, на сухой берегъ.

«Къ ночи залегли они въ солому, къ мужику на токъ, среди чистаго поля, да развели огонекъ и стали сушиться. Не успѣли они заснуть, какъ пламень обнялъ ихъ со всѣхъ сторонъ: кругомъ нихъ стлался клубомъ огонь и дымъ и смрадъ и жупелъ и, съ трескомъ приближаясь, смыкалъ пламенною ужицею своею роковой кругъ тѣснѣе и тѣснѣе Старикъ толкнулъ и разбудилъ товарища; онъ вскочилъ и, заломавъ пальцы, *прощался* съ жизнію: лютое пламя пожирало уже ризы

его. «Не ты ли, отецъ, съѣлъ намедни лепешку нашу?»—Не я,—отвѣчалъ тотъ:—отходя отъ міра сего въ царство вѣчности, завѣщаю тебѣ, благодѣтелю моему, слово правды: не я. — «Коли такъ», сказалъ старикъ: «Господь съ тобою», накрылъ его полою ризы своей и вывелъ изъ огня невредима.

«И шли они, доколѣ не пришли въ заморское царсто, гдѣ объѣзжали глашатаи царскіе по городамъ, пригородамъ, селамъ, выселкамъ, слободамъ и разглашали:

«Извѣстно и вѣдомо да будетъ всякому и каждому, что буде кто на свѣтѣ живой человѣкъ найдется свѣдущъ и могучъ въ тайнѣ бытія и смерти, и, изыскавъ ключъ жизни живой, ключъ мертвой и живой воды, воззоветъ изъ мертвыхъ двухъ царевенъ царскихъ, вдохнувъ въ бренные останки ихъ жизнь и дыханіе, тотъ наградится, за каждую, такимъ количествомъ злата чеканнаго, каковое силою мышцъ своихъ поднять и вынести изъ казнохранилища царскаго возможетъ; буде же кто ложными снадобьями и не животворящими обманами единую токмо безуспѣшную проволочку времени учинитъ, то таковой неминуемо имѣетъ сложить съ плечъ главу свою, на плаху. Данъ, во градѣ нашемъ престольномъ такомъ-то—и прочая.»

— «Пойдемъ,—сказалъ старикъ товарищу своему,—попытаемся!—Товарищъ золоту и радъ бы, да смерти боится; самъ идетъ, самъ хоронится за старика. Этотъ взялъ одну обмершую, не то покойницу, не знаешь, какъ и честить — положилъ ее въ чанъ, обварилъ кипяткомъ, рознялъ на части, очистилъ косточки, продулъ ихъ, налилъ снова мозжечкомъ, составилъ, одѣлъ живымъ, кровянымъ тѣломъ, жилками да прожилками, одѣлъ и тонкой бѣлой пеленою съ алымъ отливомъ, кожицею; дунулъ — и дѣвица, пригожѣе зари утренней, встала и пошла, только застыдилась да зарумя-

нилась. Старику отсыпали мѣшокъ червонцевъ: столько золота, сколько онъ на себѣ унесъ!

— «Что же,—сказалъ онъ товарищу:—берись ты теперь за другую царевну; что я взялъ, то пополамъ; а возьмешь одинъ, такъ все твое; вѣдь видалъ, чай, какъ дѣло дѣлается!

«Тотъ подумалъ — и рукой махнулъ. Золото ослѣпило его, оглушило, смутило, отуманило. Онъ взялъ другую обмершую царевну, распласталъ ее на части, рознялъ по суставчикамъ, облупилъ и выскребъ косточки, продулъ и налилъ и сложилъ — а духъ и жизнь — Богъ дастъ; надсѣлся товарищъ; все дулъ да подувалъ — нѣтъ! не беретъ; не оживаетъ царевна!..

«И пришла отцу бѣда неминучая: ужъ его и взяли, и засадили, и присудили, ужъ и вывели на лобное мѣсто, ужъ и за плахой пошли, а кто сказываетъ, что ужъ и петлю на шею закинули...

— «Ты, что ли,—шепнулъ ему старикъ: — съѣлъ лепешку то? такъ скажи; ты знаешь, что я тебя не обманывалъ; признайся, коли ты, никто за это пальцемъ тебя не тронетъ! — Не я,—отвѣчалъ тотъ: умираю за грѣхи свои, а въ этомъ не грѣшенъ, я бы тебѣ покаялся.

«И старикъ опять спасаетъ товарища своего отъ бѣды неминучей, отъ позорной смерти. Царевна повелѣньемъ старика ожила, встала и пошла, будто ни въ чемъ не бывало, и странникамъ нашимъ опять отмѣрили мѣшокъ чеканнаго монетнаго золота. Забравъ казну свою, вышли они оба вмѣстѣ изъ города того и снова пустились въ путь.

— «Ну, сказалъ старикъ: — теперь намъ съ тобой пришлось разставаться: мнѣ путь предстоитъ одинокій, а ты больше плакаться на меня не будешь, домой пойдешь не безъ копѣйки; пора тебѣ припомнить

и своихъ. Давай дѣлить казну.—Отъ этого попутчикъ нашъ не прочь:—давай.

«Старикъ началъ раскладывать золото на три кучки. — Да для чего же на три, а не на двѣ?—кричитъ запальчивый товарищъ его, — насъ только двое, а ты же самъ сказывалъ: все пополамъ! —« Постой», отвѣчаетъ этотъ: «дай срокъ, дай мнѣ управиться, твое не пропадетъ. Ну, гляди, вотъ эта кучка — моя; вотъ эта твоя; а эта пусть достанется тому, кто съѣлъ лепешку!»

— «Я! — вскрикнулъ спутникъ его громкимъ и твердымъ голосомъ, и накрылъ золото обѣими руками...

«Итакъ, вы видѣли, сударь, нужду, спознались, на загадочкахъ, со счастьемъ; — а вотъ вамъ и мірская правда. Такова то она живетъ въ людяхъ, такова и въ поговоркахъ ихъ, такова жила она и споконъ вѣку».

Вотъ вамъ та самая правда, безъ которой никто на свѣтѣ вѣку не доживаетъ, про которую придумали люди столько поговорокъ, о которой говорятъ, что она и на золотѣ всплыветъ... да оно такъ и есть: и въ нашей сказкѣ всплыла она на золото, а безъ него какъ то не подавалась! Падокъ человѣкъ на ложь, а на золото и того пуще; оно сильнѣе лжи, сильнѣе правды.

СКАЗКА ОДИННАДЦАТАЯ

О Караѣ-царевичѣ и Булатѣ-молодцѣ.

(Богатырская сказка).

Славное славному, могучее могучему, удалое удалому.

Подъ нѣкоимъ царствомъ, бокъ-о-бокъ съ Макарійскимъ государствомъ, жилъ-былъ царь Ходоръ, по прозванію: Оловянное-Ухо. У царя Ходора былъ одинъ только сынъ, Карай-царевичъ, а у Карая-царевича одно только помышленіе, одна думка: ѣхать за лѣса-моря далекіе, за горы высокія, на людей посмотрѣть и себя показать и воротиться во-свояси со княжною прекрасною, потягавшись да помѣрявшись съ чудовищемъ-великанищемъ силами молодыми, копьями удалыми. И когда Карай-царевичъ сталъ на возрастѣ да побывалъ во наукѣ богатырской, спознался, у стараго да у бывалаго, со щитомъ да съ мечемъ, тогда сталъ онъ проситься у царя-батюшки за море, повитяжествовать, глянуть за ворота царства своего и закалить булатную, разъяренную грудь въ холодкѣ чужомъ, подъ синимъ шатромъ.

«Поди», сказалъ царь Ходоръ Оловянное-Ухо, не дослышавъ, куда Карай-царевичъ просится: «поди погуляй, да скорѣе опять приходи. Да безъ дядьки не ходить!

Тогда Карай-царевичъ пошелъ на конюшни царскія, и сталъ выбирать себѣ жеребца по рукѣ, по могутѣ своей; прошелъ уже по всѣмъ стойламъ, не выбралъ ни одного: что руку ни наложитъ ему на холку либо на крестецъ, то жеребецъ палъ какъ палъ на колѣни—самъ заржетъ ярымъ голосомъ, да уже для Карая-царевича и не годится. Пусть бы ржалъ, когда ляшками его пожалъ—а отъ руки палъ, такъ не рука царевичу такой жеребецъ.

Тогда Карай-царевичъ взялъ тугой лукъ кабульскій съ золоченой прописью, взялъ калены стрѣлы тростниковыя, пернатыя, что перены были летками орлиными, да пошелъ во чистое поле, не то кличъ кликать, не го горе мыкать.

И вышедъ во чистое поле, на вольную волю, видитъ онъ—летитъ лебедь бѣлъ, что не пилъ, не ѣлъ, изъ-за тридевять земель летѣлъ. Карай-царевичъ вынулъ любимую стрѣлу свою, со булатнымъ клювомъ, вытянулъ ее по самое копейцо и пустилъ ее подъ лебедя того, приговаривая: «а и вышиби, стрѣла, орлинымъ перомъ перена, лебедю бѣлому, ширококрылому, долгоперому, вышиби ему третіе маховое правильное перо изъ лѣваго крыла, да накажи ему, лебедю, чтобы горе-тоску разогналъ, коня по помышленію моему указалъ, не то пошлю я другую стрѣлу по душу ему, лебедю бѣлому!

И лебедь бѣлый, путникъ смѣлый, человѣчьимъ гласомъ возговорилъ: «спасибо, Карай-царевичъ, что ты меня не погубилъ, а помиловалъ; иди туда, гдѣ стрѣла твоя упала, тамъ найдешь, чего ищешь.»

Пошелъ Карай-царевичъ за стрѣлой своей за пер-

натою, зашелъ истинно въ тридевятое царство, гдѣ всякія и премудрыя доморощенныя чудеса, словно у насъ въ парникахъ огурцы, растутъ и, примѣромъ сказать, скатный жемчугъ и цвѣтной янтарь уполовниками съ моря тихаго собираются, а бирюза и яхонтъ и каменья самоцвѣтные лопатами нагребаются,—а все еще стрѣлы своей не нашелъ. И проходя въ раздумьѣ и въ тоскѣ, помимо каменной горы, что жилы золотыя самородковыя, словно пальцы изъ-подъ слоевъ породистыхъ выказывались, — слышитъ онъ, стонетъ человѣкъ въ горѣ, а его не видать. Обозвался Карай-царевичъ съ невидимкою, допросилъ его—и узналъ, что сидитъ въ горѣ живой человѣкъ; а стрѣла Карая-царевича, со булатнымъ клювомъ, пробила ту гору каменну, кремневую, да поранила невольника подземнаго. Карай-царевичъ отворилъ плиту невеличку, и всего-то съ простѣнокъ продольный грановитой палаты—и увидалъ, коли кто видалъ, какъ вырѣзанъ на мѣди да напечатанъ въ извѣстномъ жизнеописаніи своемъ французскій Ванька-Каинъ, Картушъ, съ треугольною шляпою на головѣ, за желѣзною рѣшеткою,—увидѣлъ, говорю, Карай-царевичъ такого же человѣка за желѣзною рѣшеткой, за малымъ оконцемъ. Тогда Карай выломалъ рѣшетку и вытащилъ оттолѣ плѣнника; а тотъ ему теперь отвѣтъ держалъ, рѣчь говорилъ, самъ поклоны въ поясъ клалъ:

«Я», говорилъ онъ: «славный разбойникъ Булатъ-Молодецъ и засаженъ сюда въ склепъ подземный твоимъ отцомъ-батюшкой, который на меня прогнѣвался за то, что учинилъ я самовольное пошибаньице, да перебилъ у него съ охапку мѣщанъ, съ три короба купцовъ да честныхъ горожанъ. А за услугу твою, Карай-царевичъ, вотъ тебѣ твоя любимая каленая стрѣла, и ступай, куда скажу, найдешь ты себѣ кони

по мысли, коня, на которомъ я разбойничалъ двѣнадцать лѣтъ.

— Да нешто страны эти при царствѣ и подъ державою моего батюшки?—спросилъ царевичъ, и дивился, что царь Ходоръ Оловянное-Ухо, родной отецъ его, знать не знаетъ, вѣдать не вѣдаетъ о такихъ богатствахъ.

«Поди ты во чистое поле», продолжалъ Булатъ: «тамъ по моей волѣ найдешь три дуба зеленые, стоятъ они середи травы, по той травѣ ведутъ три тропы; подъ дубами есть чугунная дверь, во дверяхъ мѣдное кольцо; подъ чугунною дверью сидитъ конь мой въ конюшнѣ каменной, за двѣнадцатью дверьми стоячими, за двѣнадцатью замками висячими; отбей замки—и конь молодецкій твой.

Учинивъ Карай-царевичъ по сказанному, что по писанному, вывелъ изъ подъ двѣнадцати дверей стоячихъ, изъ подъ двѣнадцати замковъ висячихъ, изъ подъ трехъ дубовъ зеленыхъ, и повелъ травой, торной тропой, жеребца удалого, который не присѣдалъ, не гнулся подъ тяжелой рукой царевича, а, послышавъ сѣдока по себѣ, взыгралъ радостно, и царевичъ прозвалъ его: *Граемъ* [1]). Какъ сѣлъ царевичъ на коня своего Грая, конь Грай разсержается, отъ сырой земли отдѣляется, выше лѣсу стоячаго, ниже облака ходячаго подымается, долы и горы межъ ногъ пропускаетъ, мелкія рѣки хвостомъ устилаетъ, а по глубокимъ челномъ живымъ проплываетъ, черезъ болота широкія перепрыгиваетъ и ногами не подрыгиваетъ. «Стой!» закричалъ Булатъ-молодецъ царевичу Караю: «послужилъ ли я тебѣ?» Царевичъ осадилъ коня, услышавъ голосъ пріятельскій, и увидѣлъ предъ собою Булата. «Хорошо отслужилъ,» отвѣчалъ царевичъ: «я

---

[1]) По-цыгански конь называется грай.

и впередъ твой слуга».—Нѣтъ,—молвилъ Булатъ-молодецъ:—кабы ты меня не выпустилъ, тамъ бы меня и черви поточили; и то уже, вишь, моль волосы поѣла, крысы каблуки обглодали; я твой слуга, царевичъ, а не ты мой: за мною три службы; слушай: въ тѣ поры, когда я тебѣ нуженъ буду, когда тебя самого себя на какое дѣло не станетъ, то молви только: гдѣ-то мой Булатъ-молодецъ? и я передъ тобою.—Самъ же Булатъ крикнулъ, свистнулъ: «Сивка-бурка, вѣщій коурка, стань передо мной, какъ я передъ тобой!» Сивка-бурка тутъ, словно съ лука спрянулъ Булатъ ему въ одно ухо влѣзъ, въ другое вылѣзъ, наѣлся, напился, молодцомъ перекинулся—съ царевичемъ простился, самъ своимъ путемъ въ дорогу пустился.

Царевичъ теперь только спохватился дядьки да припомнилъ наказъ государя своего батюшки, царя Ходора Оловяннаго-Уха, безъ дядьки въ путь не пускаться. Итакъ, прискакавши въ три годины со причасками на царскій дворъ, вызвалъ царевичъ дядьку своего и съ нимъ вмѣстѣ пустился уже по своимъ стезямъ, по бывалымъ путямъ, да заѣхалъ снова въ даль далекую, въ темь глубокую, во лѣса кедровые, подъ шишки сосновыя, подъ орѣхи-кокосы, гдѣ люди наги и босы; гдѣ есть гады въ обхватъ толщины, да зміи по сту саженъ длины; гдѣ человѣки въ плечѣ по глазу имѣютъ, чревомъ снѣдь ѣдятъ, а для ради единаго перевѣсу на ходу главу посверхъ шеи на плечахъ богатырскихъ носятъ. Тамъ-то знойные жары путника сокрушаютъ, тамъ-то и царевичъ нашъ съ дядькою теперь пропадаютъ.

Промежъ лѣсу высокаго, подъ гнилыми колодами, нашли они наконецъ, измаявшись такъ, что хоть бы Господь по душу послалъ, такъ отдать бы ее въ ту-жъ пору—нашли яму глубокую, копань темную.

— Надо быть, это колодецъ,—сказалъ царевичъ:— полѣзай туда, дядька, я спущу тебя на арканѣ, не наберешь ли воды!

— Нѣтъ, Карай-царевичъ,—сказалъ дядька его:— я тебя потяжелѣе, и тебѣ меня, чай, не сдержать; давай, я тебя опущу, такъ это дѣло, ты же меня и моложе.

Царевичъ послушался, полѣзъ, привязавъ себѣ арканъ за поясъ, напился воды и зачерпнулъ въ шеломъ битый на долю дядьки своего, а тотъ рѣчь иную ведетъ.

— Послушай,—молвилъ онъ царевичу:—ты жилъ на свѣтѣ царевичемъ, а я простымъ человѣкомъ, ясельничимъ, приворотникомъ, придверникомъ, комнатнымъ, постельничимъ—а ужъ тамъ попалъ къ тебѣ въ дядьки; дай, помѣняемся саномъ и званіемъ, побудь-ка ты дядькой моимъ, а я царевичемъ твоимъ; коли миришься на этомъ, то ладно; а нѣтъ, такъ я тебя утоплю!

— Не топи,—сказалъ царевичъ:—что тебѣ пути будетъ въ томъ, коли изведешь меня? Самъ же сказывалъ и училъ меня, какъ на томъ свѣтѣ Богъ наказываетъ грѣшниковъ: убійцамъ—помнится, сказывалъ ты—кисти рубятъ да деревянной пилой семь вѣковъ шею пилятъ; такъ сказывалъ ты, кажись, бываетъ во тьмѣ кромѣшной?

— Пили же ты меня на томъ, а я тебя на этомъ свѣтѣ,—сказалъ дядька и сталъ топить царевича.

— Постой,—закричалъ ему этотъ:—постой, дядя, побойся Бога; я твой слуга, ты мой господинъ; быть дѣлу такъ, аминь.

— «Не вѣрю», сказалъ дядька: «поклянись, что дашь мнѣ своей руки письмо, чтобы быть тому дѣлу такъ»

— Дядя,—началъ опять царевичъ:—да не ты ли меня училъ, что клятва подъ истязаніями не клятва, а

что слово—дѣло великое, а слово царское, что стѣна стоитъ? коли вѣришь слову, такъ вѣрь; а нѣтъ, такъ не пеняй, что́ я съ тобою дѣлать стану; заставляй писать и прописывать, что́ хочешь.

Дядька подалъ царевичу въ колодецъ бересты и сталъ говорить ему: пиши: «Клянусь и обѣщаюсь, царскою кровію своею, быть рабомъ вѣчнымъ дядьки Митрюка, а его признавать царевичемъ своимъ.» Такъ проговорилъ дядька; а царевичъ писалъ по берестѣ, подалъ дядькѣ своему, приложилъ царскую тамгу свою, по нашему, печать либо подпись; дядька вытащилъ его и сталъ разувать и раздѣвать до-нага и мѣняться одеждою, ратнымъ оружіемъ и сбруей.

Жаль разстаться было царевичу съ доспѣхами завѣтными—да дѣлать нечего. Отдалъ онъ дядькѣ шеломъ свой съ прилбицей златой да со гремучимъ змѣемъ, который на серебряныхъ ногахъ изъ витой пружины хитро когтями за гребень шеломный держался и на ходу и на концѣ знай себѣ покачивался; отдалъ и бархатецъ кольчатый, съ сѣткою изъ граненаго бѣлаго желѣза; и чеканъ съ насѣчкою, и копье мурзамецкое, и тугой лукъ, съ налучникомъ въ мережкахъ, и калены стрѣлы тростниковыя, орлиными перьями переныя, и съ колчаномъ, кованнымъ серебромъ и златомъ; а самъ надѣлъ хорошій кафтанъ дядькинъ и поѣхалъ за нимъ слѣдомъ, что стремянный за охотникомъ.

Такимъ то побытомъ ѣхали они, ѣхали—кто говоритъ близко, кто далеко, кто низко, кто высоко,—доѣхали до Пантуева государства, до первопрестольнаго града его, до стѣны высокія, до рѣки глубокія, до мостовъ подъемныхъ, до воротъ суконныхъ. Тутъ дядька Митрюкъ закричалъ зычнымъ голосомъ своимъ: «Гой ты, царь Пантуй, ты колдуй не колдуй, отворяй ворота суконныя, берись за ремни ременные, подымай мосты подъемные; ты думай да гадай, про гостей

обѣдъ доспѣвай, за бѣлы руки ихъ принимай; сажай на кресла рѣзныя, кленовыя, за столы дубовые, за постланцы камчатные, ставь на столъ вина печатныя, да пирогъ подавай гора-горой, скомороховъ сзывай да пиръ затѣвай!»

Царь Пантуй, услышавъ о пріѣздѣ великаго и славнаго царевича Карая, сына и наслѣдника сосѣда и пріятеля его, царя Ходора Оловяннаго-Уха, накинулъ багряницу свою черезъ плечо, ухватилъ шапку горностая бѣлаго и побѣжалъ встрѣчать Карая-царевича. Отворялъ онъ, царь Пантуй, ворота суконныя, брался за ремни ременные, опускалъ мосты подъемные, гостя дорогого встрѣчалъ, за бѣлы руки бралъ, по стогнамъ градскимъ провожалъ, вводилъ во палаты свои изразцовыя, на лѣстницы бѣлодубовыя, сажалъ на сѣдалища кленовыя, за столы крытые, готовые, за яства, питья медовыя, за постланцы камчатные, за вина фряжскія, печатныя, а скомороховъ заставилъ пѣть да плясать, дорогихъ гостей забавлять, потѣшать.

«Я пріѣхалъ», таково слово началъ Карай-царевичъ,—а не забудьте, что Карай-царевичъ этотъ не Карай-царевичъ, а просто дядька его Митрюкъ,—«я пріѣхалъ», молвилъ лже-царевичъ: «къ твоей царской милости, сильный и могучій Пантуй, сватать за себя»... а самъ, глянувъ на царевича, который стоялъ въ дверяхъ косящатыхъ, словно комнатный, оторвалъ рѣчь свою, да перегнувшись, избоченившись, молвилъ царю Пантую: «прикажи, царь Пантуй, отдать слугу моего, Митрюка, на кухню, въ черновую работу, за то, что онъ дорóгою мнѣ крѣпко досаждалъ!»—Царевича отдали на руки судомойкамъ да полотерамъ, а самозванецъ продолжалъ: «я пріѣхалъ къ твоей милости, сильный, могучій Пантуй, сватать за себя дочь твою, царевну Церію, про которую много наслышанъ я, хоть и не былъ еще осчастливленъ лицезрѣніемъ ея—

не видалъ то есть ея, а знаю, говорю по наслышкѣ, всѣ дѣвичьи доблести ея; слухомъ земля полнится, а про царевну Церію и въ нашихъ краяхъ, слышалъ я, поютъ:

Очи сокольи, брови соболья,
Грудь лебедина, походка павлина...

— Съ моимъ удовольствіемъ и радостію,—держалъ отвѣтъ царь Пантуй,—съ моимъ удовольстіемъ я отдаю за Карая-царевича, любезнаго сосѣда и пріятеля моего, дочь мою единородную, Церію царевну. Но только, любезный нареченный зять мой, подъ царство мое, подъ градъ первопрестольный, подступаетъ войско нечестивое, подступаетъ царь Калинъ; онъ меня осилитъ, градъ мой выжжетъ, вѣрноподданныхъ моихъ вырѣжетъ всѣхъ до единаго—это бы еще все ничего, да онъ и меня самого полонитъ, кровью моею царскою землю обагритъ; а что будетъ тогда съ нареченною невѣстою твоею, а моею любезною дщерію, съ царевной Церіей, самъ ты, какъ храбрый витязь, которому воевать, чай, не разъ и не два со славою случалось, знаешь, и учить тебя нечего. Итакъ, побей царя Калина, тогда Церія будетъ твоею.—А тутъ—глядь, гонцы уже и наскакали съ повѣсткою, что идетъ-де царь Калинъ, ко граду престольному Пантуйскаго царства подступаетъ, войско, словно шайтанъ его съ клубка мотаетъ, видимо-невидимо, раскаты облегаетъ.

«Хорошо», молвилъ на это лже-царевичъ, «хорошо, царь Пантуй, это все сдѣлать можно, дай срокъ; утро вечера мудренѣе, а хмель воды попьянѣе. Мнѣ нѣтъ счастья воевать днемъ, а ночью я все это сдѣлаю.» Самъ же, только что смерклось, вызвалъ изъ черной избы царевича и сталъ его просить, ему кланяться: «Не помни ты, царевичъ, неучтивства моего, недогад-

ливости; бѣда, видишь самъ, приходитъ общественная; поди-ка да разгони нечестивыхъ, я отдамъ тебѣ тогда и расписку твою!»

Царевичъ взялъ тугой лукъ, писанный китайскимъ золотомъ; взялъ стрѣлы легкія, переныя перьями орлиными, выѣхалъ за ворота суконныя, за мосты подъемные, за стѣны высокія, за канавы, за рвы глубокіе; тутъ сталъ онъ и крикнулъ: «Гой, Булатъ-молодецъ, гдѣ-то ты теперь?»—Здѣсь я!—обозвался Булатъ:—что нужды, что службы, сказывай скорѣй!—Карай-царевичъ указалъ ему на рать хорасанскую, на царя Калина. Булатъ-молодецъ свистнулъ богатырскимъ посвистомъ, крикнулъ молодецкимъ покрикомъ: «Сивка-бурка, вѣщій коурка, стань передо мной, какъ листъ передъ травой!» И конь бѣжитъ, земля дрожитъ, дымъ столбомъ изъ ушей валитъ, изъ ноздрей полымя пышетъ, слѣдомъ только головешки летятъ, паромъ, что тучею, небо устилаетъ, копытами однѣ маковки цвѣточныя задѣваетъ; и сѣли на добрыхъ коней молодцы, и говоритъ Булатъ: «руби ты, Карай-царевичъ, мечомъ кладенцомъ рать вражескую съ праваго крыла, а я рубить стану съ лѣваго». И пошли тесать богатыри наши одинъ съ праваго, другой съ лѣваго крыла, и съѣхались на самой середкѣ, гдѣ была ставка Калина царя, и поздоровались. «Много ли ты побилъ?» спросилъ Булатъ-молодецъ царевича.—Да какъ заѣхалъ я,—отвѣчалъ тотъ:—съ праваго крыла, такъ отъ самыхъ сумерекъ до темной ночи билъ я ихъ все по головамъ, все по темени да по маковкѣ; тамъ, отъ темной ночи до полуночи, когда крикъ подняли, да стали на меня оглядываться, перелобанивалъ я ихъ прямо въ лобъ; а потомъ, какъ уже зря на побѣгъ пошли, билъ я ихъ отъ самой полуночи по затылкамъ да по широкимъ плечамъ; а теперь, самъ ты видишь, возница почитай на закатѣ, скоро свѣтъ будетъ. А ты, Бу-

латъ, много ли побилъ?—«Да я», отвѣтилъ этотъ, «ни много, ни мало, а всѣхъ выбилъ, съ лѣваго крыла начавши, до самой ставки царя Калина, и, видишь, на самой середкѣ съ тобою съѣхался!»

Тѣмъ часомъ, царевна Церія, сидя со страхомъ и боязнію на вышкѣ терема своего, растворивъ многоцвѣтныя окна, видѣла и слышала все, что ни дѣялось, ни творилось; видѣла и то, какъ Булатъ-молодецъ, отслуживъ царевичу нашему третью службу свою, простился съ нимъ, сгинулъ и пропалъ, пыхнувъ изъ ноздрей коня своего полымемъ, да разостлавшись утреннимъ туманомъ, сизымъ, дымчатымъ; какъ царевичъ воротился на широкій дворъ да царя Калина на сворѣ привелъ, что выжлока татарскаго, и отдалъ дядькѣ своему, самъ доспѣхи скинулъ съ себя ратные, надѣлъ кафтанъ сермяжнаго сукна и пошелъ въ избу къ судомойкамъ; а лже-царевичъ облекся въ доспѣхи царевича, велѣлъ стражѣ приворотной трубить побѣду великую и повелъ ко царю-батюшкѣ, къ дорогому нареченному тестюшкѣ, Калина царя, что на сворѣ выжлока татарскаго.

На-утріе, когда царь Пантуй сталъ праздновать пиръ великій, пиръ на весь міръ, когда лже-царевича на рукахъ носилъ царскихъ, дарилъ милостями великими, подарочками большими, кольцами золотыми, перстнями дорогими, крестами серебряными, когда сталъ сажать за столъ единый мнимаго спасителя со царевною Церіею и велѣлъ ей съ нимъ слюбитися да обручитися,—тогда царевна встала, подошла къ царевичу Караю, котораго, ради празднества великаго, уже пожаловали было комнатнымъ и блюда со яствами сахарными подавать къ столу приказывали,—подошла къ нему и, зардѣвшись подъ долгой фатой, взяла его за руки бѣлыя, сама говорила рѣчи смѣлыя: «Гой, батюшка, ты родитель мой, отецъ дорогой,

арь Пантуй, и вы, вельможи царскіе именитые, и
ы, народъ вѣрноподданный, вотъ женихъ мой суже-
ый, вотъ нареченный дорогой супругъ, вотъ и спа-
итель вамъ, и царевичъ благочестивый, а вы, само-
анцу нечистому поклонялися, меня за холопа крови
олопей прочили! Я не спала всю ночь напролетъ,
идѣла въ тайникѣ на вышкѣ терема своего, Богу за
асъ, за царя-батюшку молилася, и услышалъ меня
осподь, велѣлъ видѣть мнѣ наяву, чего вы во снѣ
е видывали, слышать ушами своими, чего вы отро-
лись не слыхивали!»

И когда царевна повѣдала во всеуслышанье, что
идѣла и слышала она, и стала изобличать лже-царе-
ича въ самозванствѣ его, тогда царь Пантуй и со-
ѣтъ его государственный приступили къ нему съ
опросами: «Гой», — рекли они:—«коли умѣлъ ты
расть, воровать, умѣй и отвѣтъ держать: кто изъ
асъ царскій сынъ, кто холопій сынъ?»

Дядька Митрюкъ вытащилъ изъ-за пазухи ветошку
вернутую; моталъ, моталъ ее, развертывалъ и выло-
килъ письмо руки царевича берестовое: «вотъ», го-
оритъ, «билетъ, пашпортъ мой, на немъ прописано,
то я таковъ на свѣтѣ живу».

И приняли отъ лже-царевича грамоту скорописан-
ую, стали читать ее гласно: «Объявитель записи сея,
лутъ, мошенникъ, Герасимъ Панфиловъ, сынъ Ми-
рюкъ, дядька царевича Карая, бьетъ челомъ низменно,
о холопьи, испрашиваетъ себѣ казни достойной.»

«Какъ такъ?» закричалъ Митрюкъ.—Да такъ; иди
оть самъ читай!—отвѣчали ему.—«Эхъ-ма», молвилъ
нъ, почесавъ затылокъ, «видно, быть тому дѣлу такъ,
оли такъ написано— я письмо уставное тямлю ма-
енько, а ужъ на скоропись эту устарѣлъ, не разберу,
е вижу!»

Царевича обвѣнчали, по царски честили, на рукахъ

качали; дядьку Митрюка на воротахъ было разстрѣляли, да уже помиловалъ его самъ царевичъ и отпустилъ его на свой хлѣбъ, на подножный кормъ, а слышно было, что произвели его никакъ въ свинопасы. И жилъ онъ хорошо, смирно, да съ тѣмъ и состарился—не знаю, живъ ли нѣтъ ли, нынѣ—да только *бересты* старикъ страхъ не любилъ и кошеля берестоваго, въ которомъ пастухи хлѣбъ носятъ, не терпѣлъ, не надѣвалъ и часто за мальчишками гонялся бывало, когда тѣ его изъ-за угла зывали: *дядюшкой берестой!*

А царевичъ пріѣхалъ въ царство свое, къ отцу-батюшкѣ, царю Ходору Оловянному-Уху, и привезъ ему невѣстку, Церію царевну. «А гдѣ долго былъ?» спросилъ царь Ходоръ, «куда тебя нелегкая носила?» И когда царевичъ разсказалъ царю все, что съ нимъ, царевичемъ, дѣялось, что творилось, и какъ ѣздилъ онъ и просился на это у царскаго величества,—тогда царь Ходоръ молвилъ: «А мнѣ и невдогадъ; я, признаться, не дослышалъ маленько, чаялъ, ты недалечко куда у меня просился. Я старъ, сынъ, Карай-царевичъ; чай, скоро Господь по душу пошлетъ, садись-ка за меня на престолъ царскій, суди да ряди, судъ и правду твори, меня хлѣбомъ корми, благовѣрную царевну люби, вѣрноподданными своими потѣшайся, а о прочемъ, а пуще о прошедшемъ, не сокрушайся; не дослышалъ я, правда, что̀ ты мнѣ говорилъ—ну, да уже гдѣ ни бывалъ, что ни дѣлалъ, ни творилъ—для радости нашей все забываемъ и васъ со престоломъ нашимъ царскимъ поздравляемъ.

СКАЗКА ДВѢНАДЦАТАЯ

о бѣдномъ Кузѣ Безталанной-Головѣ и о перемет-чикѣ Будунтаѣ.

«А что, ребята, какой нынѣ у насъ день? кто скажетъ, не заглядывая въ святцы, не справляясь у церковника нашего, ни у тещи его, у просвирни?

— А нынѣ трынка-волынка-гудокъ, прялка-моталка-валекъ да матери ихъ Софіи,—отвѣчалъ косолапый Терешка, облизываясь.

«А коли такъ», молвилъ сватъ, «коли праздникъ, то, видно, быть тому дѣлу такъ: чтобы не согрѣшить, не ухватиться отъ бездѣлья за дѣло, подите-тка сюда, садитесь на солнышко, въ кружокъ, да кладите головы другъ дружкѣ на колѣни; сами дѣлайте свое, а сами слушайте!..

«Жили-были, во землѣ далекой, промежъ чеховъ да ляховъ, старикъ гусляръ да старуха гуслярка...»

— И страхъ ихъ не беретъ,—сказалъ долгополый церковникъ, проходя мимо нашихъ молодцовъ и подпираясь терновой тросточкой своей,—и страхъ ихъ не беретъ! Хоть бы воскреснаго дня дождались, да и зубоскалили-бъ; такъ нѣтъ, вишь, и въ будень... погоди, я васъ!—«Не сердись, дядя Агафонычъ», молвилъ

сватъ: «что пути, печенку испортишь; позволь-ка милость твою поспрошать: у васъ коли бываетъ воскресный-этъ день?»—Въ воскресенье, антихристы,—гаркнулъ Агафонычъ.

«Анъ въ субботу», подхватилъ тотъ же молодецъ, «въ субботу, передъ вербнымъ, у насъ бываетъ Лазарево Воскресеніе!»

— Вотъ каковъ, и церковника сбилъ да загонялъ,— закричали робята, заливаясь хохотомъ:—ай да письмословъ! — А разсказчикъ продолжалъ: «Жили, говорю, старикъ гусляръ да старуха гуслярка. Спросите вы, что-де за гуслярка, коли онъ игралъ на гусляхъ, а не она? Сами разумные вы, кажись, знаете, что по шерсти собачкѣ кличка бываетъ, а по мужу и жену честятъ; коли мужъ гусляръ, такъ жена неужто, по вашему, пономариха? А коли этого про васъ мало, такъ скажу вамъ, молодцамъ молодецкимъ, что и старухѣ намедни прилучилось поиграть на гусляхъ, какъ полѣзла она за рѣшетомъ да стянула ихъ рядномъ съ полатей—загудѣли, сердечныя, сказываютъ, вѣчную память по себѣ пропѣли да и смолкли.

«До этого грѣха, старикъ нашъ кой-какъ съ ломтя на ломоть перебивался; хотя, правда, родовое добро его, голосъ молодецкій, сталъ уже отказываться и подламываться о ту же пору, какъ и зубы, промоловъ съ лихвою два-сорока годовъ; но наживное имущество, гусли, все еще служили вѣрою и правдою безволосому и бѣлобородому, утѣшали жителей села Поищихи, со проселки и выселки, и кормили старичковъ нашихъ и сына ихъ, бѣднаго Кузю. Но теперь, послѣ того, когда старухѣ нехотя, какъ сказывалъ я вамъ, случилось поиграть на гусляхъ этихъ и въ первый и въ послѣдній, когда сверхъ того старички, живучи въ сырой, дряблой землянкѣ, захворали, то пришлось было имъ пропадать совсѣмъ. Вотъ они и сложили

поскребыши и осколки гуслей своихъ въ мѣшокъ, повѣсили его сыну, бѣдному Кузѣ, на шею, и послали его собирать подаяніе милосердныхъ и жалостныхъ прихожанъ; кто зналъ старика и помнилъ гусли его, тотъ-де не отринетъ и теперь, а подастъ. Ходитъ Кузя по́ міру и поетъ подъ оконцами пѣсни:

Гляньте-загляньте въ дыряву котомку,
Дайте, подайте хлѣба ломоть!
Тятька гусляръ, моя мама гуслярка —
Гдѣ твои гусли, бѣдный Кузя?
Гляньте-загляньте въ дыряву котомку,
Дайте, подайте хлѣба ломоть!

«Разъ какъ-то, въ воскресный день, бѣдный Кузя нашъ подошелъ позднимъ вечеромъ подъ свѣтлое оконце брусяной десятской избы, пропѣлъ пѣсенку свою, тряхнулъ осколышами гуслей въ мѣшкѣ—нѣтъ отвѣту, ни привѣту, а шумъ и тары да бары въ избѣ слышатся большіе. Подошелъ Кузя поближе, вплоть подъ окно; глянулъ—сидятъ бабы; прислушался—идутъ у нихъ толки о нечистой силѣ, про знахарей, волхвовъ, кудесниковъ да про кіевскихъ вѣдьмъ. Всего, чего бѣдный Кузя наслушался у окна, пересказывать не станемъ: «бабы дуры» подумалъ онъ и самъ, какъ отошелъ, и затянулъ ту же пѣсню свою подъ другимъ окномъ, «кто бабѣ повѣритъ и трехъ дней не проживетъ»—одначе долго у него не выходило изъ головы, какъ бабы клялись и божились, что коли кто чары творитъ, да зажмешь въ это время пальцемъ сучокъ въ стѣнѣ бревенчатой избы, такъ пересилишь его; а еще говорили, что вѣдьму, знахаря, колдуна и всякаго, кто только спознался да живетъ съ нечистой силой, можно пригвоздить къ мѣсту и покорить себѣ на животъ и на смерть, коли прико-

лоть булавкой тѣнь его къ землѣ либо къ стѣнѣ: бѣдняга пропалъ тогда и съ нечистымъ своимъ,—будетъ моргать очами да повертываться, что на колу, и наконецъ взмолится: *аманъ!*—передъ булавкой твоей, какъ турокъ невѣрный передъ русскимъ штыкомъ!

«Бѣдный Кузя рылся какъ-то въ золѣ, въ сору и въ навозѣ, собирая кости, которыя онъ жегъ и продавалъ, на ваксу и на разныя снадобья, какому-то засѣвшему въ ближнемъ уѣздномъ городишкѣ осколышу наполеоновской арміи, учителю всякой всячины и досужему дѣлателю ваксы и помады,—какъ вдругъ къ нему, къ Кузѣ, подошелъ, отколь ни взялся, цыганъ-ли, татаринъ-ли какой, поглядѣлъ на него и присѣлъ на кучку навоза, будто хотѣлъ стеречь ее отъ суковатой клюки бѣднаго Кузи. Кузя поглядѣлъ на него искоса, сталъ опять разгребать соръ поодаль отъ шабра, отъ сосѣда, и смѣтилъ, что новый сторожъ, на кучкѣ сидючи, задремалъ. «Кто это?» спросилъ тогда Кузя потихоньку шальную Мотрю, которая пасла телятъ и свиней.—Неужто ты эту собаку не знаешь?—сказала Мотря шальная:—это Будунтай, чортовъ пай, всѣмъ вѣдомый переметчикъ; онъ въ Вяткѣ барсукомъ изъ норы вылѣзъ, въ свояки семи шаманамъ сибирскимъ приписался, подъ Чудовымъ въ козла оборотился, въ Вологдѣ свѣчей подавился, да кабы казанскіе татары не сняли съ него шкуры на сафьянъ, такъ бы и свѣтильня за нимъ пропала! Онъ перекинулся въ тройку бѣгуновъ,—а изъ нихъ двѣ лошаденки бѣлыя, а одна голая,—да и ушелъ на три стороны; ищи его! Вотъ онъ за что и слыветъ у насъ переметчикомъ, что перекидывается, собака, во что ни задумалъ!

«Бѣдный Кузя оглянулся на Будунтая, испугавшись голосистаго крика шальной Мотри,—а ужъ Будунтая и нѣтъ: на томъ мѣстѣ, гдѣ онъ сидѣлъ, ле-

житъ только камень, а камня того, кажись, прежде не было. Кузя застрогалъ деревянную шпильку, подкрался къ камню противъ солнца, да и прикололъ тѣнь камня того къ землѣ. «Что-то будетъ?» подумалъ онъ. Долго камень лежалъ да отмалчивася, а Кузя сталъ разгребать подъ нимъ кучу навоза. Тогда и камень не утерпѣлъ: онъ перекинулся пошехонцемъ, въ поршняхъ, въ зипунѣ, съ берестовой котомкой за плечами, и сталъ просить Кузю, чтобы онъ не ругался надъ бѣднымъ, бездомнымъ поденщикомъ, чтобы не подрывался подъ него суковатою клюкою, а вынулъ бы колышекъ, на который-де, того и гляди, либо скотина, а не то и прохожій человѣкъ наступитъ да напоретъ ногу. Тогда Кузя нашъ догадался, что Будунтай не даромъ о колкѣ заговариваетъ, и не вынулъ его, доколѣ тотъ не посулилъ ему за волю свою любого. «Сокрушилъ меня злодѣй! Проси, чего хочешь», сказалъ наконецъ Будунтай, а самого сердце такъ и подмываетъ; потомъ снялъ шапку, отеръ потъ съ чела полотенцемъ съ алыми шитками да со владимірскими городочками—и вздохнулъ тяжело, словно въ оглобляхъ.

— «Выучи меня своему досужеству,—сталъ тогда просить бѣдный Кузя.

— «Изволь,—отвѣчалъ Будунтай, отпусти-жъ меня!

— «Нѣтъ, врешь, обманешь, въ лѣсъ уйдешь,—приговаривала шальная Мотря.

— «Дай задатокъ,—сказалъ Кузя:—видно, Мотря шальная правду говоритъ; мужикъ тонетъ—топоръ сулитъ, вытащишь—и топорища жаль! дай задатокъ, а не то не отпущу!—Будунтай разгребъ, не вставая съ мѣста, подъ собою кучу, досталъ горсть алтына, золота, и высыпалъ его Кузѣ въ котомку.

— «Вретъ, обманетъ, въ лѣсъ уйдетъ,»—приговаривала опять Мотря.—Все это хорошо,—сказалъ Кузя:—

да этого мало; надо мнѣ тебя затаврить, чтобы ты не ушелъ, да окарнать, для примѣты, одно ухо; пой пѣсни, хоть тресни, а безъ примѣты не пущу; ты не курица, ногавки на тебѣ не навяжешь,—давай ухо!

«Будунтай-переметчикъ осерчалъ, сталъ браниться по-своему, по-вятски: «Чего, *талы* [1]), натаращилъ на меня, *блябла* [2]) те въ ухо, чтобъ тебя *комуха* [3]) въ *ромухъ* [4]) свернула! Чтобъ тебя *уроса* [5]) въ *вицу* [6]) изсушила, да *шоры* [7]) и *сильки* [8]) пупочки съ тебя посклевали! Бери ножъ», сказалъ онъ наконецъ, «да рѣжь ухо!»

— «Нѣтъ у меня ножа,—отвѣчалъ Кузя:—доставай свой, не то зубомъ грызть стану!

«Будунтай снялъ съ пояса складной ножъ, раскинулъ его, подалъ Кузѣ и подставилъ правое ухо.

— «Лѣвое давай, собака,—сказалъ Кузя,—не даромъ что-то ты его отворачиваешь!

«Будунтай подставилъ и лѣвое. Кузя ухватилъ ухо, перегнулъ его, какъ сгибаютъ сапожный товаръ, когда клюшву выкраиваютъ, вырѣзалъ и ускорнячокъ угломъ, положилъ лоскутъ въ котомку, гдѣ лежали гусли, и выдернулъ изъ земли колышекъ. Будунтай только крякнулъ, всталъ, встряхнулся, въ чернаго пѣтуха обернулся и приказалъ Кузѣ приходить въ самую полночь за село, на распутье, гдѣ дороги разбѣгаются, въ лѣсъ, на водопойное озеро да на кладбище. Самъ взмахнулъ крыльями, перекинулся рябой сорокой и полетѣлъ, какъ сороки летаютъ, поджимая крылышки подъ мышку, да все прямо, что изъ лука стрѣла.

«Бѣдный Кузя пришелъ домой, высыпалъ старикамъ своимъ пригоршню золота, сказалъ, что богатый

---

1) Глаза. 2) Оплеуха. 3) Лихорадка. 4) Трясовица. 5) Упрямца; это испорченное татарское *урусъ*, русскій. И поляки говорятъ: uparty, jak Moscal. 6) Хворостина. 7) Индѣйки. 8) Цыплята.

человѣкъ беретъ его въ услуженье да въ ученье и вотъ прислалъ-де имъ задатокъ. Старики порадовались и потужили; сынъ покинулъ имъ отставныя гусли и пошелъ въ полночь на перепутье.

«Прислонившись къ верстовому столбу, прождалъ онъ уже долгонько, стало время за полночь, а Будунтая нѣтъ. Кузя сказалъ про себя: «Не даромъ, видно, Мотря честила тебя; видно, знаетъ она дружка! Ну, да меня теперь не проведешь, отъ меня въ лѣсъ не уйдешь!» Самъ вынулъ ухо Будунтая и укусилъ его зубами. Столбъ, у котораго стоялъ бѣдный Кузя, взвизгнулъ по-верблюжьи и закачался. Кузя отскочилъ въ сторону, поглядѣлъ на версту, на столбъ: «кой чортъ! ты что ли это, Будунтай?»

— «Я, да чтожъ ты кусаешься, знакомъ?—сказалъ пѣгашка-столбъ:—пойдемъ, что съ тобой дѣлать, пойдемъ ко мнѣ въ науку: да только, гляди, теперь ты мнѣ слуга, поколѣ не выучишься всему досужеству моему, отъ аза до ижицы!—«А тамъ что», спросилъ Кузя: «какъ выучусь?» А тамъ,—отвѣчалъ Будунтай,—на свой пай самъ промышляй; беркутъ пискленка кормитъ, а орла не кормитъ.

«Будунтай взялъ его и продержалъ въ наукѣ довольно долгое время. Какъ онъ училъ его своему художеству? спросите.—Да вотъ какъ: выдернетъ у него руки, ноги, самого въ комъ свернетъ—вотъ вамъ кочанъ капусты; запуститъ ему руку въ глотку, по самое плечо, ухватитъ тамъ за что ни попало, вывернетъ наизнанку—вотъ вамъ ни то, ни се, ни чортъ знаетъ, что. Такое ученье бѣдному Кузѣ наскучило и надоѣло; онъ сталъ проситься домой, увѣряя, что онъ уже всю науку прошелъ и всему научился. Будунтай-переметчикъ позвалъ стариковъ, родителей его, вывелъ имъ трехъ коней и спросилъ: «который вашъ сынъ?» Старикъ поглядѣлъ да и указалъ, на-

удалую, на-авось, среднюю. «Нѣтъ», отвѣчалъ Будунтай, «знать, сынъ твой не доучился. Поди и приходи черезъ полгода.»

«Вы знаете, ребята, что ждать полгода долго, страхъ долго; а между тѣмъ, оглянись назадъ, его уже и нѣтъ!

«Старикъ пришелъ въ срокъ, а Кузя какъ-то тихомолкомъ шепнулъ ему: «укажи-де на ту кобылу, которая будетъ вертѣть хвостомъ». Но Будунтай вывелъ ему трехъ куцыхъ куропатакъ и велѣлъ узнать сына. Старикъ указалъ опять на какую попало—и не угадалъ. Кузя извѣстилъ отца, что въ слѣдующій разъ будетъ оправлять носомъ перышки на шейкѣ—а Будунтай вывелъ опять коней. Средній махнулъ однакожъ хвостомъ, старикъ его узналъ и взялъ выученнаго сына домой. «Возьми его», сказалъ переметчикъ Будунтай: «да слушай: береги его какъ око свое; еслижъ понадобятся тебѣ деньги, то вели сыну оборотиться въ коня, веди на базаръ и продавай: да только, смотри, уздечки съ нимъ не отдавай, а сыми да неси домой, такъ и онъ дома будетъ.» Колдунъ махнулъ рукой и пропалъ, словно сквозь землю провалился, а лошади оборотились въ людей: вороной жеребчикъ въ Кузю безталаннаго, рыжая кобыла въ шальную Мотрю, а чалый меринъ никакъ въ тебя, Терешка!

«Старикъ пришелъ съ сыномъ домой, дождался торговаго дня; Кузя оборотился конемъ, отецъ повелъ его на базаръ, продалъ, накупилъ сладкаго и горькаго, квашенаго и соленаго,—а онъ, вишь, держался русской поговорки: пей кисло, да ѣшь солоно, такъ и на томъ свѣтѣ не сгніешь. Накупивши всего, чтобы было, чѣмъ полакомить и старуху свою, пошелъ домой; а Кузя, его сынъ безталанный, дорогою его нагналъ, и они опять оба вмѣстѣ, разсмѣявшись да порадовавшись, какъ ни въ чемъ не бывало, воротились домой.

«А ушелъ нашъ Кузя отъ новаго хозяина своего отъ какимъ дѣломъ: ржевскій мѣщанинъ, барышникъ, пріѣхавшій въ нашу сторону закупать лошадей, чтобы тамъ гнать ихъ на лебедянскую ярмарку, сторговалъ и купилъ у старика гусляра караковаго коня, четырехъ лѣтъ, трехъ съ половиною вершковъ, безъ тавра и безъ отмѣтинъ, поспорилъ было съ хозяиномъ за то, что этотъ, поупрямившись, не хотѣлъ передать ему, какъ водится, поводъ ново-купки изъ полы въ полу, а съ коня, не по обычаю, снялъ недоуздокъ,—извѣстно, что корова покупается съ подойникомъ, а конь съ недоуздкомъ,—наконецъ, однакоже, чтобы не упустить выгодной покупки, на все согласился и заплатилъ гусляру деньги. Не успѣлъ этотъ отойти, а ржевскій барышникъ оглянуться на бойкую, голосистую торговку, съ которой тѣмъ часомъ молодой калмыцкій щеребчикъ стянулъ зубами головной платокъ, какъ народъ, обступивъ нашего коновала и барышника, сталъ хохотать и указывать на него пальцами. Ржевскій мѣщанинъ оглянулся назадъ — у него въ поводу не конь, а человѣкъ. Что тутъ было шуму, крику, брани, божбы и смѣху—весь базаръ расходился; какаки отняли у рыжаго коновала бѣднаго Кузю; этого отпустили, а того прозвали полоумнымъ. Хотѣлъ онъ было идти просить—да къ кому пойдешь и на кого? Но это, слышь, не все, а была еще потѣха вотъ какая: крымскій цыганъ, подкочевавшій на базаръ съ походною кузницею и увидѣвшій, что́ приключилось со ржевскимъ коноваломъ, разсудилъ, что Кузькино ремесло не плохой хлѣбъ, и что не худо бы попытаться перенять у него доброе дѣло; загадано, сдѣлано; цыганъ продалъ тому же барышнику клячонку свою, а потомъ укралъ ее у него же изъ рукъ, передалъ товарищу, а самъ надѣлъ на себя недоуздокъ. Когда же барышникъ нашъ оглянулся, и снова уви-

дѣлъ, что ведетъ въ поводу не коня, а живого человѣка, только другой масти, смураго цыгана, то плюнулъ, кинулъ поводъ, перекрестился, прочелъ: съ нами крестная сила и помилуй мя, Господи!—уѣхалъ съ базара, и съ той поры въ Черкаскъ болѣе ни ногой. Ну его, рыжаго, къ семи Симеонамъ, обойдемся и безъ барышниковъ! Только, окаянные, цѣны портятъ, съ чужого добра сбиваютъ, на свое наносятъ да набиваютъ, а проку въ нихъ ни на волосъ!

«Дождавшись другого базарнаго дня, гусляръ нашъ опять вывелъ лошаденку на продажу. На грѣхъ навязался какой-то шестипалый пройдоха, подпоилъ нашего старика, присударивалъ да присударивалъ и купилъ у пьянаго гусляра коня и увелъ его со всѣмъ, съ недоуздкомъ. Старикъ пришелъ домой, проспался, спохватился, да ожидаетъ сына своего чуть ли не понынѣ.

«На этотъ разъ купилъ Кузю безталаннаго самъ Будунтай. Первымъ дѣломъ Будунтая было отрѣзать у ново-купки лѣвое ухо, на обмѣнъ, на выкупъ своего, котораго иверень о-сю-пору еще оставался за Кузею. Размѣнявшись, оба они стали съ ушами; да ужъ отнынѣ, хоть и былъ Кузя попрежнему мастеромъ науки, въ которой искушался на выучкѣ у Будунтая, не стало ему, однакоже, болѣе попрежнему власти надъ учителемъ своимъ, а долженъ былъ Кузя поневолѣ ему покориться.

«Будунтай, изморивши да загонявши коня новокупленнаго до бѣла мыла и задавши на немъ концовъ десятокъ-другой по городу, прискакалъ домой—а домъ у него стоялъ въ чистомъ полѣ невидимкою — и привязалъ лошадь подлѣ тына. Никакъ у тебя, Лукашка, кобыла была, изъ Гукеевской орды, что не терпѣла на себѣ въ стойлѣ недоуздка: бывало, какъ ни пригонишь на нее оброть, какъ ни подтянешь его

пряжкою, она дотолѣ чешется, доколѣ не скинетъ его съ головы долой. Кузя безталанный у нея, знать, наострился: только-что Будунтай въ избу, а онъ ну чесаться щекою, задравъ голову къ верху,—задѣлъ недоуздкомъ за колъ плетня, да стащилъ ее долой съ головы, черезъ уши.

«Мальчишка, сынъ Будунтая, увидѣлъ это, на дворѣ стоя, и побѣжалъ сказать отцу. Тотъ, выскочивъ, пустился въ погоню за конемъ, и тутъ то пошла потѣха. Кузя, видя, что лютый барсъ его нагоняетъ, ударился объ землю, перекинулся бѣлымъ кречетомъ и взмылъ по-надъ крутымъ берегомъ рѣки. Будунтай ударился на него сизымъ беркутомъ; Кузя ринулся клубомъ объ берегъ, перекинулся пескаремъ и соскочилъ въ воду. Будунтай, таки прямо, какъ мчался за нимъ, комомъ грянулся объ воду, распластавъ высокій валъ на-двое, и щукою зубастой насѣлъ на хвостъ мелькавшаго серебряной чешуйкой пескарика. Кузя-бѣдняга вынырнулъ стрѣлою изъ воды, сдѣлалъ, собравшись съ послѣдними силами, скачокъ въ маховую сажень, обернулся въ золотое колечко и подкатился подъ ноги гулявшей въ тѣ поры на муравкѣ побережной, княжны Милолики, дочери владѣльца той земли. Княжна Милолика подхватила колечко, надѣла его на пальчикъ и съ радостнымъ удивленіемъ оглядывалась вокругъ. Будунтай вынырнулъ гусемъ лапчатымъ изъ воды, выплылъ на берегъ, встряхнулся, оборотился въ купца кашемирскаго, подошелъ къ княжнѣ и сталъ просить убѣдительно отдать ему потерянное имъ колечко. Княжна испугалась густой черной бороды и воровскихъ карихъ очей да сурменыхъ бровей и чалмы кашемирца, закричала и прижала колечко къ груди своей. Сѣнныя дѣвушки да подруженьки набѣжали, окружили младую княжну свою, кинулись всѣ на неотступнаго бородача и начала его щекотать безъ пощады, до того, что не-

званый гость хохоталъ и кашлялъ и, плакалъ и чихалъ, и ногами и руками лягался, и снопомъ овсянымъ по муравѣ катался, да такая надъ нимъ бѣда приключилася, что позабылъ было всю науку свою; черезъ великую силу опамятовавшись, оборотился онъ мигомъ въ ежа, отъ котораго дѣвушки, поколовъ алые пальчики свои чуть ли не до крови, съ крикомъ отскочили. Пастухъ, прибѣжавшій на крикъ и шумъ, взмахнулъ долгимъ посохомъ своимъ и ударилъ свернувшагося тугимъ клубомъ ежа, и ежъ разсыпался калеными орѣхами; запрыгали орѣшки по землѣ, а дѣвки кинулись ихъ подбирать, да опять таки съ крикомъ отскочили, побросавъ все, что захватили въ лайковыя ручки свои: орѣшки не тѣмъ отозвались; это были раскаленныя ядрышки, и барышни наши пообожгли себѣ пальчики.

— А я бы рукавицы надѣлъ, да подобралъ—сказалъ косолапый Терешка.

— Знать, ты уменъ чужимъ умомъ; ты и въ Кіевъ дойдешь, коли люди дорогу укажутъ,—отвѣчалъ сватъ:— а самъ ты, братъ, и лапы обжегши, не очень бы догадался, какъ управиться; чай, стоялъ бы, вытуливъ очи, да поглядывалъ бы на диво дивное, что красноносый гусь на татарскую грамоту!

«Княжна показала царственнымъ родителямъ своимъ ненаглядное колечко, да испросила позволеніе любить его и не сымать съ пальчика своего ни день, ни ночь. Какъ только осталась она одна, то и начала играть колечкомъ: надѣла его на тонкій шитый платочекъ свой и забавляясь покачивала да перепускала по платочку отъ конца до конца. Вдругъ колечко какъ-то упало, покатилось, и—казакъ, молодецкая душа, Кузя безталанный, стоялъ передъ княжною. Онъ убрался на этотъ разъ въ малиновый бархатъ да въ тонкое *синее* сукно. Никто въ палатахъ царскихъ не слы-

халъ разговоровъ его — княжна однакоже вышла къ браному столу и грустна и радостна, и опять таки съ завѣтнымъ колечкомъ на рукѣ. Она сказала только батюшкѣ, что сегодня-де навѣрное опять явится тотъ страшный купецъ, кашемирская борода, и будетъ просить выдачи колечка, и умоляла отца не отбирать у нея этого сокровища. Когда же и въ самомъ дѣлѣ повечеру явился купецъ, у котораго все еще не прошла икота послѣ вчерашней щекотки да хохотни, — когда пришелъ, говорю, кашемирецъ, за потеряннымъ, будто бы, на берегу рѣки колечкомъ — то царь-отецъ позвалъ дочь свою и приказывалъ отдать купцу кольцо: «намъ чужое добро таить, дескать, не идетъ». Княжна отвѣчала, что не смѣетъ ослушаться дорогого родителя своего, но и не можетъ передать мужчинѣ колечко изъ рукъ въ руки; а поэтому и кинула его на полъ,— пусть-де не прогнѣвается, да самъ подыметъ. Но колечко разсыпалось мелкимъ жемчугомъ; купецъ живо встряхнулся, перекинулся чернымъ пѣтухомъ и началъ проворно подбирать жемчужинки; а подобравши всѣ, взлетѣлъ онъ на окно, захлопалъ крыльями и закричалъ пѣтухомъ: *Кузя, гдѣ ты?* да словомъ и выпорхнулъ въ окно. Но княжна, которую нашъ Кузя, видно, напередъ уже подучилъ да настроилъ, кинувъ колечко, уронила въ то же время, будто невзначай, платокъ свой, да имъ и прикрыла одну, самую крупную жемчужинку. Она то вдругъ выкатилась теперь изъ-подъ платка, отвѣчала на спросъ пѣтуха, словно пѣтухомъ же: *а я здѣся!* и ринулась соколомъ изъ окна; грянулъ соколъ съ налету — только шикнулъ крыльями по воздуху, — грянулъ клубомъ въ чернаго пѣтуха, подпоролъ ему заборнымъ когтемъ лѣвый бокъ, да черконулъ по лѣвому крылу, помялъ и поломалъ всѣ перья правильныя; упалъ камнемъ пѣтухъ замертво въ крутоберегій потокъ и понесло его волною

внизъ по рѣкѣ, по зеленой водѣ. Почернѣла и побагровѣла вода отъ пѣнистой крови; а подрѣзанное лѣвое крыло вскинуло и подняло вѣтромъ, оно и запарусило туда-жъ по пути, внизъ по рѣкѣ, поколѣ не завертѣло пѣтуха встрѣчнымъ теченіемъ, въ заводи—тамъ, сказываютъ, сомина, чортова образина, имъ было подавился, да нѣтъ, справился, проглотилъ; не подавится онъ, чай, и самимъ сатаной, не токмо конемъ его подсѣдельнымъ.

«Соколъ взмылъ надъ теремомъ царскимъ, вспорхнулъ въ широкое окно, сѣлъ на руку княжны своей и поглядывалъ на нее ясными, разумными очами. Въ это самое время черный пѣтухъ испустилъ дыханіе свое, а ясный соколъ спорхнулъ на полъ и предсталъ въ томъ же видѣ, какъ колечко давеча передъ княжною: перекинулся молодцомъ-молодецкимъ. Со смертію Будунтая, Кузя лишился, правда, силы и умѣнья перекидываться и принимать иной образъ, да и не тужилъ ужъ объ этомъ; живучи въ довольствѣ и въ богатствѣ съ супругою своею, бывшею княжною Милоликою, вскорѣ наслѣдовалъ онъ престолъ царскій, жилъ да княжилъ, правилъ да рядилъ, солоно ѣлъ да кисло пилъ, стариковъ своихъ, гусляровъ, поилъ да кормилъ, а Терешкѣ косолапому велѣлъ, братчиной да складчиной, насыпать песку за голенища! Держите его, дурака, ребята, держи его!»

СКАЗКА ТРИНАДЦАТАЯ

о кладѣ.

(Богатырская сказка).

Какъ подумаешь, да поразсудишь, что иной голышъ, бѣднякъ, бьется изъ-за послѣдней деньги, изъ-за куска хлѣба, колотится, что козелъ объ ясли, весь вѣкъ, — да и то, бываетъ, не добьется до торной тропы, чтобы пройтись, какъ люди ходятъ; — а иной, Господень крестникъ, только шапку наставитъ, и валится всякое добро и милость, живи да поживай. Какъ подумаешь, подгорюнясь, про эту притчу, такъ поневолѣ и сядешь, надувшись, какъ волостной нашъ, коли его кто обнесетъ случаемъ чаркой,—сядешь, да и переведешь духъ, что кузнечный мѣхъ, да повѣсишь голову и сидишь.

Мужичекъ, сказываютъ, живучи гдѣ-то въ понизовомъ захолустьѣ, также, по нашему, все тужилъ да тужилъ, что ему талану нѣтъ; а все, вишь, хотѣлось разжиться такъ, ни съ чего, здорово живешь; не то, чтобы работой да потомъ, а сидючи-глядючи, по бѣлу свѣту гуляючи, пляшучи да припѣваючи; и задумалъ онъ разбогатѣть кладомъ. Наладилъ онъ пѣсню ли,

сказку ли про этотъ кладъ, да все и читаетъ ее одну, словно вѣковую докучную сказку про Сашку, Сѣрую Сермяжку; и бредитъ кладомъ, и здоровается съ тобою кладомъ же, и прощается кладомъ, и куска, прости, Господи, ко рту не поднесетъ, не помянувъ, хоть про себя, кладъ. Чему же быть тутъ доброму, коли человѣку дурью глаза и уши запорошило, голову набило по самое темя? Люди берутся за цѣпъ, за косу, а онъ персты разставитъ пошире, словно грабли, уши развѣситъ, да такъ и ходитъ по селу, дуракъ-дуракомъ; только и норовитъ, гдѣ бы какого старика поймать, чтобъ поразсказать ему, какіе клады бываютъ, да гдѣ живутъ они, да кому даются, а кому не даются; и не одну ночь, чай, прошатался молодецъ нашъ, клада ищучи, то къ Лукашкину яру, то подъ Заячій лазъ, то на Мурзинскій курганъ, да, видно, не дается кладъ: молодецъ нашъ ходитъ все тѣмъ же оборванцемъ, въ сермяжномъ зипунишкѣ, что на одной подкладкѣ держится, а то бы давно развалился.

Первые клады въ понизовыхъ губерніяхъ положили, сказываютъ, волжскіе разбойники. Выѣдутъ они, бывало, ночью на матушку-Волгу широкую, въ *косной* лодкѣ, да прикроются сверху рогожами, чтобъ не видать было народа, и только поозрятся на расшиву какую, либо въ досчаникъ, въ кладную, то и держатъ прямо въ корму. Коли кормщикъ на путевомъ суднѣ, по обычаю, окликнетъ ихъ: «міръ, Богъ на помочь», да «откуда Богъ несетъ?» а потомъ: «чье судно, чья кладь, откуда бурлаки?» то чѣмъ бы имъ, какъ добрымъ людямъ, отвѣчать: «вамъ Богъ на помочь,—оттуда-то, хозяинъ такой-то, кладь такая-то», да выждать напутнаго слова: «съ Богомъ!» да и идти себѣ своимъ путемъ, такъ разбойники молчатъ, говорю, на окликъ, да держатся прямо въ корму, а, подошедши, *кидаютъ* причалъ, а атаманъ кричитъ: «бери причалъ!»

Бурлаки знаютъ, что разбойника ни одна пуля не беретъ, обухъ не одолѣетъ; принимаютъ молча причалъ, и на приказъ атамана: *сарынъ на кичку*, всѣ до одного прячутся въ *мурью*, въ порожнее мѣсто промежъ палубой и кладью. Хозяинъ тутъ управляйся одинъ, какъ знаешь, а бурлаки ни за что на разбойника руки не подымутъ. Разбойники взлѣзаютъ на судно, берутъ хозяина, либо приказчика, кто случится, и допытываютъ: гдѣ деньги? а коли устойчивъ больно да упрямъ, такъ бывало и то, что поджаривали на легонькомъ огонькѣ. Набравши золота и серебра много, случалось, что разбойникамъ дѣвать его некуда; они и зарывали его въ землю и писали на клады эти *записки*, гдѣ лежитъ кладъ, и кому онъ дается; вотъ, напримѣръ, запись на кладъ: «Отъ села Свекловихина на полдни, въ семи верстахъ отъ Краснаго-яру, супротивъ большого каменнаго мару, въ двухстахъ семнадцати шагахъ, а отъ раздвоившейся березы въ сорока семи шагахъ, положено кладомъ, въ двухъ чайникахъ мѣдныхъ да въ котлѣ чугунномъ, на глубинѣ косой сажени, золотомъ на двадцать на одну тысячу, серебромъ на семнадцать съ половиною тысячъ, да золотыхъ съ каменьями дорогими перстней два. А кладъ этотъ никому не дастся, только дастся онъ молодцу удалому, наканунѣ Ивана-Купала, коли задомъ пройдетъ отъ самаго села до мѣста и станетъ рыть, не оглядываясь, не озираючись, да обѣтъ положитъ выкупить трехъ человѣкъ изъ острога, да господскихъ троихъ на волю вольную. А буде зароку не выполнитъ, то кладъ пропадетъ, въ него самого уйдетъ и огнемъ въѣстся, и въ костяхъ мозги усохнутъ. Слово мое крѣпко.» А какой зарокъ, либо завѣтъ кто положитъ на кладъ, такое слово и твердитъ про себя, когда кладъ зарываетъ; затѣмъ уже кладъ не дастся тебѣ, коли завѣту не исполнишь, во вѣки вѣковъ. Сказываютъ, что одинъ

какой то обронилъ запись такую, а мужикъ нашелъ ее, вынулъ кладъ, самъ пропадалъ безъ вѣсти 40 лѣтъ, а, воротившись, выкупилъ у господина на волю всю деревню свою. Другой клалъ кладъ и приговаривалъ: «на сто головъ молодецкихъ», то есть, чтобы сто молодцовъ пришли за кладомъ этимъ, а больше онъ никому не дастся; а лыкодеръ въ лѣсу тутъ же подлѣ случился, да переговаривалъ за каждымъ словомъ по своему: «на сто коловъ осиновыхъ»; переговоривъ хозяина однимъ разомъ—а кто какое слово напослѣдокъ вымолвитъ, по тому и быть,—лыкодеръ вырубилъ сто коловъ осиновыхъ, поклонился ими кладу, да и вынулъ его, и кладъ ему дался безъ спору. Опять другой, сказываютъ, положилъ кладъ богатый, да не велѣлъ даваться никому, поколѣ на этомъ мѣстѣ станетъ море. Мужичекъ этотъ померъ, а запись досталась сыну, да только не зналъ онъ, какъ съ нею быть и какъ добыть кладъ. На селѣ этомъ жилъ мужикъ, про котораго шла молва, что онъ всякую пору и причину знаетъ и оборотъ во всякомъ дѣлѣ; къ нему и пришелъ съ записью молодой парень на совѣтъ, да и прогулялъ, по недогадливости своей, кладъ. Мужикъ этотъ провелъ парня, то тѣмъ, то другимъ его пробавилъ, а какъ весна пришла, такъ подпрудилъ мѣсто, гдѣ положенъ былъ кладъ, замѣтивъ его коломъ, да подъ водой и вынулъ. Вотъ-де тебѣ и море! Есть гдѣ-то, сказываютъ, пугачевскій кладъ; положенъ въ мѣшкѣ кожаномъ, а мѣшокъ въ рубаху, а посверхъ кладу положенъ убитый человѣкъ, нарочно, видно, чтобы, кто рыть станетъ, подумалъ, что это-де могила, и покинулъ бы ее. А это еще слышалъ кто, что есть жукъ, который летаетъ ночью наканунѣ Иванова дня, и самъ норовитъ налетѣть на человѣка: коли ротъ растворишь да подставишь его, и жукъ влетитъ, то выплюнь на руку, и у тебя богатый кладъ; сыпь скорѣе съ руки въ мѣшокъ, либо

въ шапку, да во всѣ карманы, — посыплется чистое золото!

Иные кладутъ благочестивый кладъ съ молитвою, а чаще того, спознавшись съ нечистой силой, съ бѣсовскою властію; тогда уже не вынетъ его никто, не отдавъ души чорту. Много есть кладовъ татарскихъ и калмыцкихъ старыхъ годовъ: такъ къ тѣмъ уже не приступайся безъ шайтана, либо веди такого-жъ некрещенаго татарина. Эти клады живутъ безъ записи, да не вынешь, хоть и зналъ бы, гдѣ лежитъ, коли съ шайтаномъ не побратаешься. Есть и такіе клады, что взаймы даютъ; приди, попроси честно, съ поклономъ:—дай-де, пожалуйста, кумъ, сотенку, я принесу тебѣ наканунѣ Рождества, либо тамъ въ Духовъ день, что ли,—и дастся, да только если, упаси Боже, обманешь, такъ пропалъ; помрешь, либо рука усохнетъ, а не то самъ пойдешь по свѣту бѣлому кладомъ ходить, до поры до времени, поколѣ кто не ударитъ тебя, какъ въ драку пьяный полѣзешь, по щекѣ, тогда самъ и разсыплешься кладомъ. А есть и такіе, ходячіе клады: мужикъ, сказываютъ, ночью нашатнулся на какую то сапатую кобылу, да хотѣлъ отогнать ее, ударилъ кнутовищемъ — она и разсыпалась кладомъ, да все старинными золотыми да крестовиками. Другой мужикъ этакъ же хотѣлъ ночью свинью выгнать изъ огорода, и, Богъ вѣсть, говоритъ, отколѣ она затесалась: тынъ плотный кругомъ, что и кошкѣ негдѣ пролѣзть, и калиточка на запорѣ, а хрюкаетъ, ходитъ да по грядамъ роется. Мужикъ выскочилъ изъ избы, ухватилъ полѣно, шарахнулъ свинью вдоль да по боку—она и разсыпалась кладомъ, да такимъ, что десять огородовъ можно купить, да по десятку работниковъ еще на каждый. А то есть и такой кладъ, что ни съ чѣмъ не дается, какъ только по своей по доброй волѣ; кто знаетъ, гдѣ онъ лежитъ, такъ ходятъ о полуночи туда

да упрашиваютъ его и кумомъ честятъ; ино разъ десять побывать доведется да потолковать съ нимъ, поколѣ покажешься ему да приглянешься да на него угодишь: а сдастся, такъ твой, бери смѣло.

Всего этого, а можетъ еще и побольше того, наслушался молодецъ нашъ, словно сыворотки нахлебался: брюхо набито, а ни вкусу, ни проку; и уже ничего не слышитъ, не видитъ, кромѣ клада. Одно на умѣ, одно на языкѣ. Человѣкъ видитъ свинью, либо другую какую скотину, такъ подумаетъ, можетъ статься, ину пору—кого грѣшная дума не одолѣла—подумаетъ развѣ только, что вотъ-де, кабы она моя, такъ я бы ее на рынокъ свезъ да продалъ; либо: вотъ, кабы моя свинья, такъ откормилъ бы ее къ праздникамъ да зарѣзалъ, ужъ по крайности зналъ бы и помнилъ, что Богъ далъ праздникъ; такъ подумалъ бы, говорю, иной человѣкъ; а нашъ молодецъ, на которомъ лохмотья сѣрой сермяги держались, какъ листья кочана капусты вокругъ кочерыжки, не иглой да ниткой, а тѣмъ, что приросли, — нашъ молодецъ, все только, какъ увидитъ свинку, то и норовитъ свистнуть ее изъ-за угла полѣномъ — не разсыплется ли кладомъ? А тутъ, глядишь, по рылу задѣнетъ ее полѣномъ, она и околѣла; и раздѣлывайся да вѣдайся съ хозяиномъ, какъ знаешь. Такъ то не разъ, бывало, отомнутъ нашему молодцу за проказы эти бока, что онъ про себя думаетъ: хоть бы ужъ самому мнѣ кладомъ разсыпаться, такъ ужъ былъ бы одинъ конецъ! Сказываютъ, что сдѣлалъ молодецъ нашъ разъ какъ то еще лучше: повстрѣчалъ онъ на чужомъ селѣ нѣмого старика, нищаго, и померещись ему, что это ходячій кладъ; онъ, подошедши, да и давай его, бѣдняка, колотить: а тотъ нѣмъ, слова не вымолвитъ, реветъ не своимъ голосомъ — а сказать, ничего не скажетъ. — *Тутъ набѣжали* ребята, схватили раба Божьяго, иска-

теля клада, валяли его часа два, словно гвардейское сукно, да еще и затаскали было по судамъ да волостнымъ правленіямъ, такъ что вышелъ онъ оттуда—еле-еле душа въ заплатахъ держится, весь костякъ наружу вылѣзъ. Кажись бы, это ли не наука ему? такъ нѣтъ; отдохнулъ да перемогся — и забылъ прошлое горе и готовъ, хоть нынѣ, хоть завтра, опять за кладомъ идти. То-то забывчивъ на прошлую бѣду русскій человѣкъ: и крута гора, да забывчива!

Подсиживалъ молодецъ нашъ и папоротниковый цвѣтъ, выжидалъ его, какъ пылинка въ засуху росинку, — не дался; собиралъ и семитравный травникъ,—либо не досушилъ, либо пересушилъ, а кладу не доискался; выходилъ и до зари по ночамъ подстеречь да высмотрѣть, на какомъ мѣстѣ въ *сухихъ буераковъ* черти поминки поминаютъ, потому что слышалъ отъ старыхъ людей, что тамъ быть и кладу,— не доискался и чертей; искалъ онъ и разрывъ, либо спрыгъ-травы, которую называютъ и желѣзнякомъ, и отъ которой всѣ запоры и затворы разлетаются, и клады сами въ руки даются, — такъ не далась ему и трава эта, Богъ вѣсть, отчего; словомъ — пришлось нашему искателю хоть камень на шею да въ воду, коли-бъ шайтанъ его не помиловалъ; слушайте:

На самаго Ивана-Купала, когда настоящая пора бываетъ клады искать, молодецъ нашъ пошелъ къ ночи въ раздумьѣ, куда глаза глядятъ, и сталъ думать про себя уже вотъ что: когда-бъ то найти мнѣ хоть такого сатану, что, сказываютъ, душу беретъ да чистымъ золотомъ за нее расплачивается—ахъ, когда-бъ найти! не пожалѣлъ бы душишки своей, отдалъ бы чорту, хоть самому ледащему, только бы отсыпалъ онъ мнѣ шапки двѣ этого добра—ей, не пожалѣлъ бы душишки, ниже для послѣдняго поганца, котораго,

можетъ статься, тамъ, на низу, и въ ломаный грошъ не ставятъ и бьютъ, и обдѣляютъ, и немного душишекъ на его долю достается.

Не успѣлъ такъ подумать молодецъ нашъ, какъ, не къ ночи разсказывать, закрутился передъ нимъ вихорь столбикомъ, круче да круче, гуще да гуще — вспыхнуло съ исподу, отъ земли, полымя, пробѣжало, словно зарево, по черному столбу—и вышелъ изъ него, отряхиваясь, человѣкъ. На немъ смурая епанча какая то, не то хламида, алая жилетка, смушчатая высокая черная шапка, съ алымъ верхомъ, а сапоги съ превысокими подборами, такъ что слѣдъ по дорогѣ оставался не отъ всей ступни, а только отъ каблуковъ подкованныхъ,—да подкованныхъ больно хитро: душкой напередъ, а шипами назадъ. Молодецъ нашъ поглядѣлъ на него — обдало его, молодца то, мурашками — однако, пошелъ впередъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Тотъ присталъ къ нему, словно попутчикъ какой, идетъ рядомъ и заговариваетъ. Молодецъ всмотрѣлся въ него — рожа черная, рыло широкое, глаза на выкатѣ, брови облѣзлыя, борода щетинистая, уши лопастью, лобъ поперекъ раздвоился, да изъ-подъ шапки комли роговъ выглядываютъ; а какъ сталъ господинъ попутчикъ кутаться въ хламиду да хоронить туда морду, чтобы Герасимъ не такъ бойко вглядывался, такъ показались и лапы перепончатыя, словно лягушачьи, да съ когтями вершка въ полтора. «Молчи, подумалъ Герасимъ — а такъ звали нашего молодца, хоть сколько ни таились, а пришлось сказать—молчи, подумалъ онъ, смекаемъ и мы кое-что: будемъ сватами, ударимъ по рукамъ.»

Слово за-словомъ — попутчикъ зоветъ уже Герасима къ себѣ въ гости; «и дамъ, говоритъ, тебѣ, чего хочется, добуду все это и достану, только и ты мнѣ *прислужись*, не откажи.» — «Чего хочешь, отвѣчаетъ

Герасимъ, того и проси; я-ль тебѣ не слуга буду? весь твой, на вѣки вѣковъ, только дай ты мнѣ натѣшиться добромъ своимъ, чтобъ былъ я въ людяхъ человѣкомъ, чтобъ была и мнѣ честь не хуже другихъ;— дай ты мнѣ найти кладъ; укажи, гдѣ онъ лежитъ, да пособи вынуть!»

— Что кладъ,—сказалъ на это попутчикъ,—у насъ есть добра этого довольно, найдется достаточное число-количество, не рывшись за нимъ далеко. — а самъ тряхнулъ на ходу одной рукой, тряхнулъ другою — полны горсти золота. У нашего молодца сердце такъ и замерло; какъ увидалъ онъ это, ино впередъ попутчика забѣгаетъ по тропинкѣ, да задомъ ногами частитъ да умаливаетъ и упрашиваетъ: «подѣлись, сватушка, подѣлись, куманекъ, вѣкъ служить буду.»—«Это что, сказалъ опять попутчикъ, изъ-за этакой щепоти нечего и рукъ марать; нѣтъ, мы найдемъ и почище этого. Да ты, признаться, сегодня очень кстати пришелъ: въ эту ночь мы повѣряемъ клады, пересчитываемъ ихъ, всѣ ли живы-здоровы и цѣлы; такъ ты, коли пойдешь со мною, самъ увидишь, что у насъ этого добра, какъ говорится по-вашему, тьма и пропасть. По-нашему, конечно, такія слова означаютъ совсѣмъ не то; у насъ свой языкъ, прямой, ясный, безъ всякихъ затѣй. Мы говоримъ промежъ собою на всѣхъ языкахъ и нарѣчіяхъ, да только половину словъ изъ обихода своего выкидываемъ вовсе, а понимаемъ другъ друга не хуже вашего. Сами-жъ вы или мудрецы ваши твердятъ: всякое излишество зло, — и пилите и мучите поговоркой этой и себя и другъ друга, а сами же ни въ чемъ мѣры не знаете; да послѣ еще плачетесь на бѣду свою, коли мы въ подземныхъ чертогахъ своихъ поемъ вашу же пѣсню: «а нашего полку прибыло!» Смѣшной вы народъ, право, смѣшной: и хочется, и колется — по этой поговоркѣ своей живете

вы отъ зыбки до могилы; вотъ хоть твоя милость, напримѣръ, половину вѣка отжилъ, добра никакого въ глаза не видалъ, а не попадись я тебѣ теперь, такъ и пропадалъ бы ты и бѣдовалъ въ свою голову до самой могилы — а все бы чертоговъ нашихъ не миновалъ, потому что, самъ знаешь, живучи не спасался.

— Дядюшка, — отозвался молодецъ нашъ, — дядюшка, да я ли не ухаживалъ за вами, я ли не напрашивался, возьмите-де меня съ начинкой, со всѣмъ, и душу и тѣло, какъ вотъ стою передъ вами; что же я дѣлать стану, коли не допросился, не домолился васъ?

Чортъ плюнулъ трижды и продолжалъ: «Вотъ то-то, видишь, безтолковый вы народъ: я говорю, что и хочется и колется, вы все мѣшаете одно съ другимъ; вамъ бы этакъ хотѣлось выкроить, чтобъ и волки сыты были и овцы цѣлы, пробраться середней дорожкой; за нашего брата хватаетесь, а не вѣсть, что поминаете, да по сторонамъ оглядываетесь, кому бы еще про запасъ поклониться, чтобы, на случай неудачи, было, куда пріютиться, да чтобы послѣ на нашего брата поклепъ наклепать, небылицу взвести, будто-де не по своей волѣ за эту грамоту взялся, а мы, вишь, соблазнили. Соблазнили! ахъ, вы, горемычные! коли-бъ вы насъ сами не затрогивали да двуязычіемъ своимъ ину пору въ бѣду не вводили, такъ кто бы сталъ займать васъ, и какой бы чортъ сталъ вамъ кланяться да въ батраки записываться, вотъ какъ я теперь, да потѣшать васъ и всѣ прихоти ваши и причуды? Нѣтъ, сосѣдъ, у насъ такъ нельзя; середка на половинѣ, это не приходится; этакъ не попадешь ни туда, ни сюда, а чортъ знаетъ, куда, какъ вы же говорите; нашъ, такъ нашъ, такъ уже и будемъ знать, *что нашъ*; а не нашъ, такъ такъ и скажи

— Да вашъ же, дядюшка, вашъ, весь вотъ какъ теперь передъ вами; и рожки прикажите мнѣ приставить, коли хотите, только, пожалуйста не больно великіе, чтобы, знаете, хоть подъ шапкой ихъ не видать было: я и отъ этого не прочь; что хотите, то и дѣлайте.

— Не въ рожкахъ сила,—отвѣчалъ сосѣдъ,—вы все, вишь, не то городите. Пожалуй, другой у васъ и въ рожкахъ ходитъ, да не сюда глядитъ, а тоже толкуетъ о всякой всячинѣ. Нѣтъ, ты ходи, въ чемъ хочешь; постный покрой нашему брату не помѣха; мы и сами иногда... Ну, да объ этомъ послѣ; вотъ видишь, гляди-ка сюда, мы дошли до мѣста: есть по чему глазамъ твоимъ поразбѣжаться!

Молодецъ нашъ оглянулся — и духъ въ немъ замеръ отъ радости; такъ вотъ льдомъ и окатило, а послѣ кипяткомъ. Земля передъ ними разступилась, и открылся вертепъ, весь въ огняхъ цвѣтныхъ, такъ что глазамъ не даетъ глянуть. Черти, и малые и большіе, таскаютъ мѣшки въ кучу, да котлы, да сундуки; одинъ ходитъ со связкой ключей, да отпираетъ, да свидѣтельствуетъ замки и печати, да сымаетъ ихъ; прочіе высыпаютъ золото, серебро, дорогіе каменья, да уже не счетомъ считаютъ, — куда! тутъ не найдешь никакого счета! — а гарнцами пересыпаютъ, да мѣрками и четвериками. Голова ты моя, головушка! что за пропасть добра, серебра да золота: словно утроба земная передъ тобою разверзлась и кажетъ всѣ сокровища свои, которыя накопила со дня мірозданія! Страшно глянуть было на богатство это; нашего Герасима взяла бить лихоманка, таки не выждетъ, думается, не доживетъ того часу, когда чортъ надѣлитъ его самъ этимъ добромъ. А черти, какъ увидали, что привели къ нимъ новаго товарища, такъ вотъ такъ и забѣгали, словно мыши въ подпольѣ, и давай пере-

сыпать передъ гостемъ золото изъ кадки въ кадку, изъ мѣрки въ мѣру.

— Шабашъ!—сказалъ Гераськинъ товарищъ,—надо отдохнуть да повеселиться,—и всѣ черти покинули работу свою: который на счетахъ клалъ, кинулъ ихъ на кучу серебра; который записывалъ, перо за ухо, да листъ на столѣ перевернулъ, чтобы, знаете, кому дѣла нѣтъ до письма его, не прочиталъ, сколько кладовъ на свѣтѣ есть, и гдѣ они лежатъ; которые считали, тѣ давай кататься по золоту, какъ собаки по навозу, — да подняли крикъ, смѣхъ, визгъ; а тутъ, глядь, отколѣ ни возьмись гусли, рожокъ, волынка, балалайка, гудокъ да еще и бубны: пошла пляска страшная и гульня такая, что Герасимъ сталъ уже то и дѣло оглядываться, не сбѣжится ли народъ съ сосѣднихъ деревень на проказы эти; да нѣтъ, видно, спали еще всѣ, не видать по оврагу никого. Глядѣлъ, глядѣлъ Герасимъ нашъ на все это, да опять сталъ присматриваться на золото, что огнемъ яснымъ блестѣло: горы золотыя съ горами серебряными перемѣшиваются; перстни, серьги, подвѣски, ожерелья, запястья, зарукавья, поднизи, — да все яхонтъ, алмазъ, изумрудъ, бирюза; не стало мочи терпѣть больше нашему Герасиму, подошелъ онъ къ пріятелю своему, попутчику, который, видно, сюда домой пришелъ, и епанчу свою и шапку снялъ да наземь кинулъ, а ходилъ въ красной жилеткѣ, да, простите меня, въ плисовыхъ штанахъ съ золотымъ лампасомъ, — подошелъ да и говоритъ ему потихоньку: «чтожъ, дядюшка, надѣлите меня, грѣшнаго, да отпустите»... — Ты ѣшь пирогъ съ грибами, да держи языкъ за зубами,—сказалъ, глянувъ черезъ плечо, плисовый попутчикъ: — я говорю, что вамъ нельзя не завираться. Ну, дамъ я тебѣ; сказалъ, что дамъ, сколько на себѣ унесешь, *еще*, пожалуй, до околицы двухъ или трехъ пошлю

съ тобою помощниковъ своихъ, чтобы донесли тебѣ добро это; да ты не обманешь ли меня послѣ, не откинешься ли?

— Кто? я?—спросилъ Герасимъ:—я откинусь? дядюшка, да какъ хочешь, заставь побожиться; и вотъ тебѣ крестъ...

Шарасть! все какъ рукой сняло; страшный громъ съ раскату ударилъ, и молніей опалило Герасиму бороду—а черти всѣ до одного въ глазахъ его изъ вертепа въ бездну бездонную попрыгали. Въ одинъ мигъ, не успѣлъ Герасимъ и крестнаго знаменія повершить, все пропало; темная ночь обдала его градомъ и дождемъ; буря завыла, гроза загрохотала, и бѣднякъ лежалъ долго безъ памяти. Онъ проснулся на разсвѣтѣ, въ лѣсу, на скатѣ крутого яра, хотѣлъ кричать—нѣтъ голосу, нѣтъ языка; хотѣлъ привстать—ноги отнялись; насилу, сказываютъ, дотащился онъ къ вечеру на дорожку, тамъ подобралъ его мужикъ да привезъ на село. Съ этой поры, Герасимъ лазилъ на корачкахъ, протягивалъ руку, Христа-ради, за насущнымъ ломтемъ, поколѣ не дошелъ до могилы своей. — Языка не доискался онъ по смертный часъ свой; тогда только онъ проговорилъ, покаялся и разсказалъ, что́ сбылось надъ нимъ наканунѣ Ивана Купала.

СКАЗКА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

о прекрасной царевнѣ Милонѣгѣ-Бѣлоручкѣ, по прозванью Васильковый-Глазокъ, и о трехстахъ тридцати трехъ затяжныхъ волокитахъ и поклонникахъ ея.

Въ странахъ отдаленныхъ, въ царствѣ и государствѣ, что за горами Рифейскими, гдѣ изъ слитковъ злата краснаго, самороднаго, терема кладутъ, а краеугольныя основы и вязи ставятъ адамантовыя; гдѣ люди хлѣбъ-соль дѣлить съѣзжаются, гостятъ по пяти, по десяти вѣковъ, сватаются по сту, а живутъ—не старѣются и по тысячѣ; испиваютъ чару стоведерную, на ногахъ стоятъ не—шелохнутся; поѣдаютъ, во дни постные, во пятокъ и въ среду, какъ засядутъ полдничать, по три воза бѣлужины, по три воза осетрины, по три воза севрюжины со стерляжиною; а какъ думу думать примутся, такъ надумаютъ, каждый своимъ разумомъ, что головой тряхнетъ, думы съ три копны да раздумья съ три прикопеночка; тамъ то владычествовали и повелѣвали тремя царствами три брата, царя Свѣтозара. А у каждаго у царя-государя Свѣтозара было по три жены, а у каждой жены по три дочери, а у каждой дочери по

три жениха, а у одной триста тридцать три. Не свѣтелъ мѣсяцъ проглянулъ на небѣ, то за горами Рифейскими, изъ терема своего высокаго, изъ окна косящатаго, проглянула красавица бѣлымъ личикомъ изъ-за полога лазореваго; то не ноченька насъ пеленаетъ темная, что рѣсницы соболиныя, бѣлы вѣки дѣвицы опускаются, не заря то занималась утренняя, и не зорюшка, не денницы первый лучъ,—то проглянула дѣвица васильковыми очами своими, то дщерь была старшаго Свѣтозара царя, Милонѣга-Бѣлоручка, по прозванью Васильковый-Глазокъ. И по три жениха у сестеръ ея было, а у ней жениховъ триста тридцать три; увивались они за нею, ухаживали, что звѣзды по небу синему за яснымъ мѣсяцемъ, гостить пріѣзжали къ отцу ея, гостили по пяти, по десяти вѣковъ; а сваталися по сотнѣ, а жить съ нею собиралися и по тысячѣ, не хотѣли старѣться; а не съ нею жить, такъ хоть заживо на погостъ неси; а она, Милонѣга Васильковый-Глазокъ, имъ ни ходу, ни ладу не даетъ; не даетъ ни жить, ни умереть! Царь-отецъ затѣялъ съ тѣми богатыри иноплеменными пиръ пировать, приказалъ въ чаны дубовые пива́, меды́ наливать, дружнымъ оплотомъ чары осушать. И будетъ день въ половинѣ дня, и будетъ пиръ во полу-пирѣ, какъ возговоритъ царь-отецъ тѣмъ своимъ дорогимъ сотрапезникамъ, тремстамъ тридцати тремъ дочери своей женихамъ и поклонникамъ: «Охъ вы гой есте, витязи именитые, стеклися вы, богатыри, изъ странъ иноплеменныхъ, аки потоки быстрые, нагорные, Рифейскіе, на злачны, цвѣтистые луга мои; наглядѣлся я на рыси вашей прыть удалую, молодецкую; видѣлъ, какъ сшибали вы копіемъ, тупымъ концомъ, по двѣнадцати конныхъ витязей; разсѣкали вы полосой булатной по двѣнадцати толстыхъ кошмъ, и кошмъ калмыцкихъ, валеныхъ; на игрищахъ, на ристалищахъ и на кон-

скихъ бѣгахъ давали вы ускоки конные молодецкіе, выметывали перелѣсья удалыя, широкія, каждымъ ускокомъ по загону земли. Не возмогли вы тою славою воинскою обрѣсти любви дочери моей, царевны Милонѣги-Бѣлоручки. Земля и теремъ мой, сами вы видите, всѣмъ богаты и привольны: на небѣ солнце, и въ теремѣ солнце; на небѣ мѣсяцъ, и въ теремѣ мѣсяцъ; на небѣ звѣзды, и въ теремѣ звѣзды; на небѣ заря, и въ теремѣ заря и вся красота поднебесная; и дочерью подарилъ меня промыслъ, коей нѣтъ подобной во всей поднебесной, а царствую я уже не единое и не первое тысящелѣтіе, и старость меня одолѣваетъ, а наслѣдника нѣтъ какъ нѣтъ! нѣтъ зятя, дочери достойнаго и подпоры по мнѣ сиротамъ моимъ! Охъ вы гой есте, храбры витязи, богатыри многославные, именитые: распотѣшьте меня, одинокаго, подъ старость лѣтъ! Кто бы выискался изъ васъ сказку сказать, сказку пригожую, поучительну; и такихъ, чтобы вышло ко мнѣ изъ среды вашей, изъ трехсотъ тридцати трехъ, три добрыхъ молодца; отворяйте вы мои златыя двери на пяту, подгибайте вы колѣни молодецкія, вы садитесь на ковры сорочинскіе, выпивайте чару зелена вина, утирайтесь вы бѣлыми полотняными ширинками, узорчатыми; вы по сказкѣ скажите поучительной; на троихъ молодцовъ у меня по три дочери, по три невѣсты драгоцѣнныя; а одна невѣста будетъ краше всѣхъ: то царевна Милонѣга-Бѣлоручка Васильковый-Глазокъ; и не свѣтелъ мѣсяцъ изъ-за облака,—глядитъ дочь моя изъ-за полога; то не ноченька налегаетъ темная,—что рѣсницы соболиныя опустила дѣвица; не заря-то и не зорюшка занялася утрення,—то проснулася дщерь моя и отверзла зеницы дѣвственны васильковыхъ очесъ! Я отдамъ ее за добра молодца, что на вѣно ей мнѣ разскажетъ сказку лучше всѣхъ; кто выходитъ состязаться за краса-

вицу, мою дѣвицу, Милонѣгу царевну, Васильковый мой Глазокъ?»

И большой за меньшого хоронится, а отъ меньшого отвѣту нѣтъ.

— «Охъ вы гой есте, добры молодцы, выходите, разудалые!—вызывалъ царь-отецъ въ другой и третій разъ.

То не вѣтеръ прошелъ верховый по-надъ лѣсомъ зеленымъ, не вихрь пробѣжалъ по колосьямъ наливнымъ, по сизой пашенькѣ, то не море всколыхалося волной, не зыбями всполошилося Хвалынское: то говоръ пробѣжалъ по столамъ бѣлодубовымъ, бранымъ, разыгралися щеки витязей румянцемъ рьянымъ,—что головушки покачиваютъ, думушку раздумываютъ, ихъ раздумье беретъ: хороша царевна Васильковый-Глазокъ, загадаешь про нее, такъ душа замретъ; а что взглянешь, голова отымется!

То не три сокола изъ дубравы выпархиваютъ, не три молодыхъ подплываетъ сѣрыхъ лебедя, то три могучіе разудалы молодцы распотѣшить хотятъ государя-царя — разсказать на вѣно, на калымъ, по сказочкѣ, состязаться на смерть, на животъ, на прекрасную царевну Милонѣгу Васильковый-Глазокъ! Отворяли они златыя двери на пяту, садилися во гридницѣ высокой на ковры бухарскіе, выпивали чару зелена вина, утирались полотняными бѣлыми ширинками узорчатыми, кинули промежъ собой жеребья, и кому первому выпалъ чередъ, тотъ гость изъ земель приморскихъ, далекихъ, полуденныхъ, царю-государю челомъ да объ ручку, а самъ началъ сказку сказывать, словеса выговаривать:

«Хочу сказать похожденія поучительныя *Принца Адольфа Лападійскаго, на островѣ Вѣчнаго-Веселія.*

«Близъ странъ полуночныхъ, у моря ледовитаго, лежатъ земли хладныя, коихъ жители не наслажда-

ются благорастворенностію воздуха, а ходятъ на лыжахъ бить бѣлыхъ медвѣдей и тюленей по лѣсамъ, неимовѣрно высокимъ, по снѣгамъ сыпучимъ, по громадамъ вѣковыхъ ледяныхъ горъ; славился въ тѣхъ земляхъ промысломъ звѣроловнымъ, считался ловчимъ неустрашимымъ—принцъ Адольфъ, по землѣ своей Лападійской. Онъ, посадивъ въ одинъ день на рогатину съ полпятка бѣлыхъ медвѣдей, да распоровъ чингалищемъ своимъ съ полпятка же, зашелъ наконецъ въ такую ледяную дичь, что не зналъ, какъ и выплутаться, а собирался было уже наконецъ разгрести снѣгъ да складывать туда остывшія кости свои, на вѣчный покой, какъ вдругъ увидѣлъ онъ передъ собою темную ледяную пещеру, при входѣ въ которую встрѣтилъ старуху. Сарафанъ на ней былъ изъ птичьихъ кожъ, фата пузырчатая, а власы повременамъ упадали словно гривы косматыя.—По многомъ взаимномъ удивленіи о нечаянной встрѣчѣ сей, объявила старуха та принцу Адольфу Лападійскому, что онъ въ жилищѣ Бога вѣтровъ, вьюги, метелей и бурановъ, сѣвернаго Эола; что хозяина, мужа, да и сыновей ея нѣтъ дома, ибо они разошлись по должностямъ, но что она ужинъ про нихъ доспѣла, а потому дѣткамъ ея и внучатамъ надлежитъ скоро возвратиться. Онъ сѣлъ подлѣ огня и вскорѣ замѣтилъ, что оный, отъ приближающагося вѣтра, началъ пламенѣть и ярко разгораться. За симъ воздухъ отовсюду огласился біеніемъ крыльевъ божковъ летучихъ, которые, числомъ четверо, Сѣверякъ, Полднякъ, Столбнякъ и Шелониха, вступили въ пещеру. Они были мокры, пасмурны и угрюмы; у одного струились еще по щекамъ капли дождя; другой стряхалъ, съ распущенныхъ волосъ и крыльевъ, снѣгъ; они всѣ поочередно начали превозносить сиповатыми, рѣзкими голосами подвиги свои. *Кто постарался* разнести во всѣ стороны дружно и

взаимно себѣ сопутствовавшіе корабли; кто загналъ безпощадно бѣднаго мореплавателя на отмели и подводные каменья непроходимые; а былъ одинъ и такой, что гулялъ да шутки шутилъ, срывалъ съ людей шапки и шляпки, обвивалъ подолы юбокъ вокругъ бѣлыхъ ногъ и заставлялъ красавицъ на улицѣ по семи разъ на одной ногѣ оборачиваться.—Наконецъ принцъ Адольфъ Лападійскій увидѣлъ еще пятаго отрока, впорхнувшаго въ пещеру, но во всемъ много отъ четырехъ поименованныхъ отличавшагося; онъ много походилъ на Леля или на Ладу, былъ цвѣтущъ и прекрасенъ, и разсказывалъ, что миловался сейчасъ съ принцессою веселія и красоты и игралъ въ горѣлки съ приспѣшницами ея. «Позвольте васъ, любезное мое дитя, утрудить вопросомъ», сказалъ принцъ Адольфъ: «гдѣ эта принцесса обрѣтается, и какимъ путемъ-дорогою можно достичь жилища ея?» — На островѣ Вѣчнаго-Веселія,—отвѣчалъ божокъ Зефиръ:—неужели вы доселѣ ничего объ этомъ островѣ не слыхали? Люди живутъ тамъ въ вѣчномъ благоденствіи; они не знаютъ ни злобы, ни болѣзней, ни войны; живутъ долго и въ изобиліи, и проводятъ дни свои въ невинной, безпечной веселости и въ гордомъ спокойствіи. Жилища ихъ суть злачные лѣса и дубравы; плоды древесные служатъ имъ пищею; они умираютъ равнодушно и единственно отъ пресыщенія жизнію. Тогда они даютъ пиръ друзьямъ и родственникамъ, украшаютъ вѣнками голову свою и бросаются въ волны морскія. Я завтра на разсвѣтѣ туда отправляюсь и, ежели угодно, могу и васъ взять на слюдовыхъ крылышкахъ своихъ съ собою. — Принцъ Адольфъ, возгоря любовію страстною, несказанно обрадовался доброхотству услужливаго Зефира, пошелъ, по приглашенію его, къ нему, въ особую пещеру, съ удивительною роскошью и убранствомъ разукрашенную,

провелъ ночь въ пріятной бесѣдѣ, а на-утре сталъ снаряжаться въ путь. Зефиръ подалъ ему епанчу и сказалъ: «если накинешь ее на себя зеленою стороною, будешь невидимкою; если алою, будешь наслаждаться настоящимъ, забывая и прошедшее и будущее, и время пролетитъ, тебя не касаясь!» А за симъ онъ отправился немедленно съ вожакомъ своимъ, Зефиромъ, и держали они путь выше лѣсу стоячаго, ниже облака ходячаго, и опустились на островѣ Вѣчнаго-Веселія, въ вѣчно-зеленыхъ, заповѣдныхъ садахъ принцессы роскоши и нѣги. Одна нимфа, дѣвица-приспѣшница, опускала въ самое это время изъ окна высокихъ хоромъ повелительницы своей, на шелковомъ гайтанѣ, корзинку, приказывая садовницамъ наполнить ее цвѣтами. Принцъ Адольфъ, накинувъ плащь Зефира зеленой стороной, сѣлъ промежъ цвѣтовъ въ корзинку, былъ немедленно поднятъ дѣвушкою въ окно свѣтлицы высокаго терема и очутился невидимкою, среди великаго множества прекрасныхъ дѣвицъ, у ногъ чарами обильной принцессы красоты и веселія, сидѣвшей на престолѣ, изъ самоцвѣтнаго камня выдѣланномъ и жемчугомъ скатнымъ унизанномъ, и имѣвшей, въ числѣ прислуги своей, мальчиковъ-купидоновъ, лобызавшихъ у нея непрестанно руки. Принцъ Адольфъ-невидимка, пораженный необыкновенною красою принцессы, забылся и уронилъ съ плеча епанчу, а потому и предсталъ немедленно во весь ростъ изумленной принцессѣ. Онъ палъ къ ногамъ ея, сказался именемъ своимъ, поклялся въ вѣчной и неизмѣнной любви и испрашивалъ для себя посильной взаимности ея. Принцесса учинила ему сознаніе давно уже таившейся въ ней взаимной страсти, и пригласила его блаженствовать вмѣстѣ съ нею на островѣ Вѣчнаго-Веселія, гдѣ люди живутъ — не наживутся, нѣжатся—не натѣшатся. Адольфъ накинулъ немедленно епанчу свою алою стороною и на-

чалъ отъ сего мгновенія жить въ настоящемъ, не зная ни прошедшаго, ни будущаго; вся жизнь его уподоблялась, съ этого мгновенія, потоку чувственныхъ наслажденій.

«Въ одну ночь видѣлъ онъ безпокойный сонъ: ему пригрезилось, будто бы епанча нечаянно спала съ плечъ его; а черезъ таковой сонъ пришелъ онъ въ себя, началъ размышлять о положеніи своемъ и спросилъ съ безпокойствомъ принцессу: сколь долго онъ уже у нея проживаетъ?—Ему казалось, что онъ съ нею блаженствовалъ уже трои сутки. Но какъ бѣдный Адольфъ Лападійскій изумился, когда услышалъ, что со дня пріѣзда его миновалъ уже цѣлый вѣкъ! Сорвавъ съ себя епанчу, вспомнилъ онъ подданныхъ своихъ, землю и обязанность вѣнценосца, и требовалъ безъ отлагательства наипоспѣшнѣйшаго увольненія своего и отъѣзда. Упрекнувъ его въ непостоянствѣ, въ измѣнѣ—старинные годы, знать, не нашимъ чета: сто лѣтъ вѣрной любви, да и то еще пеняютъ за непостоянство!—упрекнувъ его, говорю, въ измѣнѣ, подарила ему принцесса на дорогу крылатаго коня, исправляющаго въ тѣхъ странахъ должность Пегаса, и сказала: «Покуда, любезный мой Адольфъ, будете сидѣть на даровомъ, завѣтномъ конѣ моемъ, пребудете здравы и невредимы, и доставитъ онъ васъ въ землю и княжество ваше; если же, покинувъ сѣдло, съ него слѣзете, то ни за что болѣе не отвѣчаю». Принцъ Адольфъ Лападійскій со скорбію и слезами простился съ милою принцессою своею, съ которою непримѣтнымъ образомъ провелъ, въ разныхъ пріятныхъ забавахъ, столь долгое время, и поскакалъ на конѣ Пегасѣ съ такою поспѣшностію, что забылъ даже взять про запасъ епанчу свою. Конь мчалъ его по доламъ и по горамъ, переплывая съ нимъ моря и рѣки, и принцъ превозмогалъ всякое искушеніе и не сходилъ съ сѣдла.

Наконецъ наѣхалъ онъ, по непроходимой и узкой дорогѣ, на опрокинутую бѣду [1]), на двуколую колесницу, которая была, повидимому, нагружена легкимъ товаромъ—крыльями, но подъ которою лежалъ полураздавленный старикъ и молилъ о помощи. Принцъ не далъ коню своему перескочить черезъ него, но остановился, слѣзъ и подалъ мнимо-бѣдствующему руку помощи. Но старикъ сѣдобрадый, ухвативъ принца съ такою силою за руку, что сей не могъ уже болѣе высвободить руки своей, сказалъ твердымъ голосомъ: «Я Сатурнъ, а зовутъ меня Временемъ, я искалъ тебя сто лѣтъ по всей вселенной и обносилъ по тебѣ всѣ свои крылья, почему и легъ здѣсь отдыхать, зная, что тебѣ меня не миновать. Срокъ жизни твоей конченъ, ты отжилъ, теперь поди умирать». Въ это время пролетѣлъ Зефиръ надъ умирающимъ принцемъ: онъ прослезился надъ бездушнымъ тѣломъ искренняго друга своего, поднялъ его и унесъ на островъ Вѣчнаго-Веселія, гдѣ, сложивъ его въ небольшую сокрытую пещеру, сдѣлалъ на оной поучительную надпись: «*Время есть время, то есть, какъ значится на одномъ арабскомъ языкѣ, есть всему господинъ; не бываетъ сутокъ трехдневныхъ, ниже недѣли длиннѣе седмицы;— жизнь человѣческая уподобляется пущенной съ лука стрѣлѣ, которая летитъ воздымаясь — медлитъ — опускается, описывая тотъ же путь въ обратномъ смыслѣ, и упадаетъ на землю, изъ которой изъята была; если же встрѣчаетъ на пути своемъ неодолимую преграду, то останавливаетъ теченіе свое, не окончивъ обычнаго пути. Но срокъ полета ея исчисленъ, и ничто продлить его не въ состояніи!*»

— Спасибо,—рекъ Свѣтозаръ-государь тому сказочнику своему заѣзжему:—исполать словеснику царе-

---

[1]) Извѣстно, что одноколку иначе называютъ и бѣдою.

градскому за поучительныя сказанія давно минувшихъ дѣлъ! Да только жаль, что Зефиръ твой сдѣлалъ надпись поучительную на островѣ Вѣчнаго-Веселія, гдѣ люди вѣкъ блаженствуютъ и въ нравоученіяхъ не нуждаются! Ну, выходи, кому другой чередъ.

И заѣзжій изъ странъ восточныхъ, гость изъ земли Захвалынской, далекой, по обычнымъ земли своей привѣтствіямъ, не сталъ пить чару зелена вина, а выпилъ чару меду рьянаго, утирался ширинкою узорчатой, подгибалъ колѣна молодецкія, садился на ковры земли своей, ковры сорочинскіе, и началъ такъ:

«Сказка моя гласитъ: *о калифѣ Багдадскомъ, о семи славныхъ мудрецахъ его и о прокаженной.*

«Сынъ наслѣдовалъ достояніе отца, почившаго въ глубокой старости. Достоянія было много, ибо отецъ былъ калифомъ Багдада и владѣлъ лучшею страною земли нашей, повелѣвая правовѣрными. Наслѣдникъ былъ красавецъ душою и тѣломъ, вѣрный чтитель пророка, вѣрный слуга корана, достойный обитатель седьмого неба и обладатель гурій. Онъ славился доселѣ чуткимъ ухомъ своимъ, зоркимъ окомъ, проницательнымъ умомъ и правотою сердца; но съ того дня, какъ сдѣлался онъ калифомъ, все это измѣнилось. Окруживъ себя, для блага подданныхъ своихъ, славными мудрецами, сталъ онъ видѣть и слышать все, доколѣ обрѣтался въ чертогахъ великолѣпнаго дворца своего, но былъ, напротивъ, слѣпъ и глухъ, если выходилъ изъ онаго. Итакъ, всѣ вѣсти о вещахъ за предѣлами занятій домашнихъ, т. е. забавъ его, находящихся, могли доходить до него только посредствомъ мудрецовъ его, которые, тѣмъ болѣе оказывая ревности къ калифу своему, никогда и ни на шагъ повелителя своего не покидали. Правовѣрные жаловались, угнетенные плакали, могучіе злочинствовали,—юный калифъ потѣ-

шался, слѣдовалъ совѣтамъ мудрецовъ своихъ и вѣрилъ, что народъ его блаженствовалъ.

«Между множествомъ разныхъ фирмановъ, изданныхъ молодымъ калифомъ, находился и такой, чтобы всѣ безъ изъятія правовѣрные прибѣгали, послѣ утренней молитвы, муллою съ высокаго минерета оглашенной, къ мудрецамъ его, для изложенія сими каждодневно всѣхъ сновъ и видѣній истекшей ночи. Въ толкованіяхъ сновъ сихъ мудрецы юнаго калифа обѣщали найти путь и средство къ исцѣленію его, и калифъ нетерпѣливо этого ожидалъ и требовалъ. Правовѣрные между тѣмъ плакались на притѣсненія неслыханныя, ибо мудрецы брали съ нихъ каждодневно, за истолкованіе сновъ сихъ, плату поголовную, произвольную, со дня на день возрастающую; если же кто объявлялъ, что онъ спалъ эту ночь покойно и что ему не грезилось ничего, таковой, яко злоумышляющій на благосостояніе и благоденствіе калифа своего, осуждался немедленно къ плахѣ или къ опалѣ. Калифъ пребывалъ неисцѣлимымъ. Онъ сзывалъ съ цѣлаго міра, не только изъ своей земли, цѣлителей искусныхъ и многознающихъ; они употребляли средства дивныя и непреложныя, средства, надѣляющія древо зрѣніемъ и камень слухомъ: калифъ пребывалъ неисцѣлимымъ. Врачи или не могли отыскать истинной причины недуга его, или, скрестивъ руки на груди и наклонивъ покорныя выи свои, молчали. Никто не смѣлъ догадываться. Бѣдному калифу, объѣзжая столицу, объѣзжая землю свою, оставалось дѣлать только одно: онъ бралъ съ собою мудрецовъ своихъ и располагалъ ими, какъ онѣмѣвшими чувствами своими и неупотребимыми членами:— ты будь у меня головой, ты рукой, ты ногой, ты глазами, ты ногами, ты ухомъ и брюхомъ, и прочее.— Разложивъ такимъ образомъ повинности частей тѣла *своего* на мудрецовъ своихъ, калифъ нашъ былъ спо-

коенъ и доволенъ. Мудрецы продолжали безчинствовать и своевольничать, и писали для молодого калифа своего, въ-очередную и взапуски, громкія похвальныя изреченія, на персидскомъ, арабскомъ и санскритскомъ языкахъ, тѣшили его и забавляли, въ ожиданіи пророческаго сна. Но обѣтованный сонъ не являлся.

«Однажды пришелъ къ мудрецамъ, отбывъ утреннюю молитву въ мечети, факиръ; онъ поднесъ правую руку свою ко лбу, къ бородѣ, ко груди, поклонился и разсказалъ слѣдующій сонъ:

«Поливая во снѣ финиковое дерево, которое стоитъ у меня въ саду на небольшомъ курганѣ, увидѣлъ я подъ нимъ множество свѣтляковъ; вскорѣ потомъ весь садъ и домишко мой затопило со стороны восточной, гдѣ стоитъ сераль калифскій, водою; одна только вершина кургана, гдѣ я стоялъ и гдѣ лежали свѣтляки, подъ деревомъ, оставалось сухою. Что это значитъ? Мудрецы взяли съ него напередъ пешкешъ за истолкованіе сна, и сказали: «Сонъ твой безтолковъ, и значенія никакого не имѣетъ. Вѣроятно, ты вчера опился шербета, день же былъ довольно жаркій—и вотъ почему ты видѣлъ во снѣ много воды!»

«Факиръ заплатилъ деньги, поклонился вышереченнымъ образомъ и пошелъ; но рѣшеніе это его не удовлетворило. Возвращаясь медленно домой, увидѣлъ онъ, на грязной, тѣсной улицѣ, прокаженную, которая, нагая и босая, побиралася подаяніемъ, въ коемъ всѣ ей отказывали. Факиръ подалъ ей мѣдную монету и продолжалъ задумчиво путь свой. Когда онъ дошелъ до жилища своего и оглянулся, то увидѣлъ, что прокаженная его преслѣдовала. «Отойди», сказалъ факиръ съ негодованіемъ, «ты такъ отвратительна, что я тебя не хочу видѣть!» Но прокаженная навязывала услуги свои: хотѣла непремѣнно разгадать и истолковать факиру сонъ. «Почему этотъ Богомъ наказанный уродъ

знаетъ, что я видѣлъ сонъ?» подумалъ факиръ про себя, и разсказалъ, что ему пригрезилось. «Свѣтляки», отвѣчала прокаженная, «означаютъ кладъ, сокрытый подъ финиковымъ деревомъ; возьми заступъ и вырой его. Вода означаетъ бѣдствіе, тебѣ угрожающее; спасеніе во снѣ на курганѣ — дѣйствительное спасеніе помощію содержащагося въ ономъ курганѣ клада» Факиръ сдѣлалъ, что ему было сказано, нашелъ кладъ, мѣдный луженый кувшинъ, наполненный золотомъ, подпалъ вскорѣ немилости мудрецовъ и опричниковъ калифа, и отъ угрожавшей ему смерти едва могъ откупиться найденнымъ золотомъ. Благодарный факиръ взялъ нѣсколько золотыхъ монетъ, весь остатокъ огромнаго клада, и пошелъ отыскивать прокаженную, коей былъ обязанъ жизнію. Долгое время искалъ онъ ее тщетно. На разспросы его иные отвѣчали: «была гдѣ-то, да пропала»; другіе: «видомъ не видать и слыхомъ не слыхать!»—третьи утверждали рѣшительно, что факиръ прокаженную видѣлъ во снѣ; быть не можетъ, чтобы она, со своимъ даромъ прорицанія, была здѣсь въ столицѣ калифа, въ именитомъ, славномъ Багдадѣ! Правительство правовѣрныхъ такихъ потаскухъ не терпитъ. Факиръ пошелъ къ кади, въ судилище городовое, и здѣсь отвѣчали: «не найдешь, чего ищешь, здѣсь нѣтъ прокаженной, а сидятъ люди здравоумные.» Сѣтующій, безнадежный факиръ шелъ задумчиво домой, какъ вдругъ нечаянно встрѣтилъ благодѣтельницу свою въ толпѣ чернаго народа, на базарѣ, на торжищѣ, гдѣ продавались старыя платья и рухлядь. «Вотъ тебѣ все, что имѣю», сказалъ факиръ, «весь остатокъ огромнаго клада; возьми это въ знакъ признательности моей Но скажи, всевѣдущая, для чего ты такъ безобразна и отвратительна? Взоръ твой несносенъ для глазъ моихъ, а голосъ твой рѣзокъ и нестерпимъ для слуха!»—«Ты не привыкъ еще

видѣть меня, — сказала прокаженная: — всмотрись въ меня хорошенько, прислушивайся чаще къ рѣчамъ моимъ, и, можетъ быть, ты скоро будешь судить иначе!»—Чѣмъ пристальнѣе факиръ глядѣлъ на нее, чѣмъ бдительнѣе слушалъ, тѣмъ, казалось, болѣе и болѣе ею плѣнялся и вскорѣ не могъ ее покинуть, не могъ съ нею разстаться. Безобразіе въ глазахъ его исчезло совершенно: онъ полюбилъ ее страстно. Весь городъ, даже дворъ калифа заговорилъ о любви и дружбѣ факира съ прокаженною, основанною на какомъ то пророческомъ снотолкованіи послѣдней, и калифъ, которому неосторожные мудрецы объ этомъ разсказали, какъ о вещи пустой, но по новости забавной, захотѣлъ непременно видѣть достопамятную чету: надлежало привести ее въ сераль калифскій; иначе онъ не могъ видѣть оную, ни слышать. Итакъ, факира позвали. «У тебя есть товарка или товарищъ,» сказалъ калифъ: «кто онъ? откуда? можешь ли его позвать?»— Товарищъ мой,—отвѣчалъ факиръ,—есть безобразное, заброшенное существо, которое тебѣ, повелитель правовѣрныхъ, не полюбится Никѣмъ въ мірѣ подруга моя не бываетъ любима, кромѣ бѣдныхъ и низкаго состоянія людей: каждая степень, коею человѣкъ приближается ко двору твоему, повелитель, уноситъ и удаляетъ его отъ подруги моей; здѣсь же, въ сералѣ, нѣтъ ничего съ нею общаго, и она здѣсь терпима быть не можетъ».—«Но она отгадываетъ и толкуетъ сны?» спросилъ калифъ.—«Она,» продолжалъ факиръ:—«все видитъ; видитъ прямо и ясно, и говоритъ не запинаясь то, что видитъ; вотъ все ея искусство; но за это ея и не терпятъ, и прозвали прокаженною!» Калифъ велѣлъ привести ее къ себѣ немедленно. Всѣ придворные его, начиная отъ визиря и до послѣдней дворцовой кошки и собаки, съ крикомъ, лаемъ и визгомъ отъ нея метались въ сторону: никто не

хотѣлъ съ нею встрѣтиться. Шумъ и крикъ около сераля калифскаго до того увеличились, что съѣхались со всѣхъ частей города отлично устроенныя пожарныя трубы. Народъ толпился, дворня суетилась—всѣ спрашивали другъ у друга: что это такое? Между тѣмъ калифъ говорилъ съ прокаженною наединѣ. «Кто ты?» спросилъ онъ ее.—«Я истина».—«Откуда ты и какъ попала въ такое жалкое состояніе?»—«Насъ было три сестры: *истина*, *совѣсть* и *правосудіе*. Мы подкидыши, и родителей своихъ не знаемъ. *Совѣсть* сошла съ ума на безменѣ; ее взвѣшивали, дробили на литры и драхмы, доколѣ она не рехнулась; ее посадили въ домъ умалишенныхъ, тобою, повелитель правовѣрныхъ, сооруженный. *Правосудіе* не можетъ ступить на ноги, до того пятки и подошвы избиты у него палками. Оно лежитъ теперь въ богадѣльнѣ, щедротами твоими, великій калифъ, созданной, и питается подаяніемъ. Меня, старшую сестру, сызмала до того загоняли, до того надо мною надругались, что мнѣ нельзя было нигдѣ въ настоящемъ видѣ своемъ показываться, а стала я, юродивая, прятаться отъ людей и побираться, и обратилась, съ прозваніемъ прокаженной, во всеобщее посмѣшище и поруганіе».—«Но ты всевѣдуща?» спросилъ калифъ, для котораго все, что она ни говорила, было ново и странно.—«Я никогда не лгу,—отвѣчала юродивая,—и если что скажу, то скажу не обинуясь правду».—«Знаешь ли причину немощи моей,» продолжалъ калифъ: «которою я одержимъ съ тѣхъ поръ, что княжу, и которая лишаетъ меня возможности видѣть, слышать и дѣйствовать по собственному усмотрѣнію, кромѣ въ бездѣлкахъ, въ стѣнахъ сераля и гарема, между тѣмъ какъ народъ и землю долженъ я поручать инымъ?»—«Знаю, отвѣчала прокаженная, «пойдемъ со мною въ почивальню *твою*.»—Калифъ пошелъ.—«Прикажи поднять всѣ

драгоцѣнные ковры, покрывающіе одръ твой, равно какъ и самое ложе!»—Когда это было сдѣлано, тогда юродивая указала ему на лежащій подъ изголовьемъ золотой орѣхъ, около коего обвивались семь червей. «Что это?» воскликнулъ удивленный калифъ.—«Золотой орѣхъ, это ты,—продолжала гостья:—«и добрые въ тебѣ зародыши; семь червей—семь мудрецовъ твоихъ, которые, чародѣйскими умыслами своими, сдѣлали изъ тебя калѣку, изъ подданныхъ твоихъ мучениковъ.—Тогда калифъ вознегодовалъ до изступленія. Онъ немедленно приказалъ казнить смертію семерыхъ мудрецовъ своихъ, и тогда же прозрѣлъ глазами и ушами, тѣломъ и душою. Но когда онъ спохватился наставницы своей, которой былъ столько обязанъ, и которую хотѣлъ непремѣнно навсегда оставить при себѣ, то ея уже не было; она опять пропала безъ вѣсти и велѣла сказать калифу, чрезъ улема его, что юродивая и прокаженная дѣва, которую узналъ онъ впервые подъ именемъ *истины*, никогда при дворѣ калифскомъ жить не можетъ: что самый мудрый и благомыслящій властелинъ долженъ считать себя счастливѣйшимъ, если она, хотя мелькомъ, заглянетъ въ сераль его».

За симъ сорочинскій гость, разсказчикъ замысловатой сказки восточной, всталъ и отдалъ царю Звѣтозару поклонъ, по обычаю земли своей, а мѣсто почетное на коврѣ, передъ сѣдалищемъ царскимъ, уступилъ третьему и послѣднему. А третій мóлодецъ не ему ровня: не чета онъ сорочинѣ долгополому, не товарищъ цареграду щепетильному. Онъ свернулъ да поставилъ шатромъ бѣлымъ бурку кабардинскую, на ней волосъ серебромъ горитъ; накрылъ ее шапкой треухой, на бобрѣ да на аломъ бархатѣ; брякнули подковы золотыя сафьяновыхъ сапожковъ, подогнулись колѣни молодецкія, по расправились усы темнорусые, поклонилась

голова забубенная, полилась сказка струя-струей — хоть бы плюнулъ, кашлянулъ, хоть бы словомъ поперхнулся однимъ.

«*Сказка о Морозѣ Снѣговичѣ и о двухъ родныхъ братьяхъ.*

«Сказка голая, что епанча однополая, сказка безъ хлѣба, безъ соли, сказуется черезъ силу, слушается поневолѣ; моя сказка одѣта, обута: въ началѣ стольничаютъ, въ концѣ бражничаютъ, а посередкѣ пьютъ, да гуляютъ, да добрыхъ людей поминаютъ.

«Жилъ былъ старикъ, а у него два сына. А какъ, благостію Всевышняго, старики на этомъ свѣтѣ помираютъ да дѣтямъ добро свое покидаютъ, такъ и нашъ старикъ жилъ, жилъ да и умеръ, а деньги оставилъ сыновьямъ. Пошли ему, Господи, царство небесное, а намъ, многогрѣшнымъ, кроху на поминъ души!

«У старшаго брата, по имени *Оплетало*, была совѣсть коновальская; а меньшой, *Смекайло*, былъ и съ бородой, да съ худобой; борода то выросла, а ума не вынесла. Стали они дѣлить наслѣдство: *Оплетало* братишку своего оплелъ, обобралъ, — это мнѣ, это тебѣ, это мнѣ, это мнѣ, это тебѣ, это мнѣ, — обдѣлилъ, да и на свѣтъ пустилъ. А какъ у него, у сердечнаго, хозяйки не было, такъ вскорѣ поправился онъ до того изъ кулька въ рогожу, что, бывало, собаки въ избѣ ложки моютъ, козы въ огородѣ щавель да капусту полютъ! Пошелъ было онъ просить помощи у брата — да тотъ, какъ сытый голоднаго не понимаетъ, согналъ его со двора. Медомъ, пивомъ поитъ не богатый, а гороватый.

— «Деньги — прахъ, — подумалъ *Смекайло*, — а животы — что голуби, гдѣ поведутся! Знать, моя доля такая; доброе братство мнѣ бы и милѣй богатства, да, вишь, нѣтъ ни того, ни другого! Идти было бы въ *гости*, да никто не зоветъ; а брюхо, злодѣй, стараго

добра не помнитъ! Встать пораньше, да шагнуть подальше, не набредешь ли гдѣ на съѣстное? Снялъ кафтанъ съ нашести, подпоясался, ухватилъ шапку и рукавицы, и пошелъ въ ту сторону, куда голова перевѣсъ взяла. Шелъ онъ, шелъ подъ пролѣскомъ, что налимъ-рыба подъ мутнымъ берегомъ, наткнулся на избушку; — а избушка та, за ночь, какъ дождевикъ, выросла. *Смекайло* вошелъ, перекрестился, поклонился въ уголъ, въ другой и въ третій. «Здравствуй, коли кто живой въ избѣ есть!» — «Богъ на помочь», — отозвался сѣдой старикъ на печи.—«А что, дѣдушка, никакъ у тебя холодно?» А *Смекайло* по голосу послышалъ, что дѣдъ въ избѣ на печи сидитъ: «нѣтъ ли гдѣ погрѣться?»—«Не люблю я васъ, молокососовъ, баловать,— отвѣчалъ дѣдушка, *Морозъ Снѣговичъ;*—я про себя топлю печь снѣжкомъ да ледкомъ; ну, да ужъ набери пожалуй хворосту, разведи огня да погрѣйся— а въ печи есть, коли хочешь, и каша, и щей горшокъ!»—Нашему *Смекайлѣ* ни кой кладъ; погрѣлся, наѣлся, выспался, дѣдушкѣ поклонъ въ поясъ, да и собрался съ разсвѣтомъ въ путь. «Чтобы ты не плакался на бѣду да меня поминалъ,» сказалъ *Морозъ Снѣговичъ*, «такъ возьми вотъ кожаную суму: съ нею богатъ не будешь, а сытъ будешь; когда ѣсть захочется, такъ кинь на полъ, не то на столъ, и молви: *сума, дай пить и ѣсть*, и дастъ. Да смотри, не отдавай ее никому!» *Смекайло*—дѣдушкѣ въ ноги, прибѣжалъ домой, ѣлъ и пилъ три дня хорошо и сыто, да и вздумалъ позвать брата съ невѣсткой на именины, похвалиться передъ ними добромъ своимъ. Братъ долго отнѣкивался, наконецъ обѣщалъ придти, хлѣба-соли именинника отвѣдать. «Братъ онъ мой», подумалъ *Смекайло*, «а умъ у него свой; богатство спеси съ родни! Дай же я надъ нимъ шутку подшучу!» Взялъ ржаного хлѣбца ломоть да зеленаго луку на грошъ,

да квасу-сыровцу кружку, вина-сивухи полкварты, да соли на кружокъ насыпалъ, истолокши, и поставилъ все на столъ. Братъ *Оплетало* съ невѣсткой пришли, разодѣтые, какъ Божьи племянники, ни къ чему не приступаются, уста пречистыя опорочить опасаются. Тогда *Смекайло* досталъ суму, кинулъ на столъ, и молвилъ: «Богъ вѣсть, что въ сумѣ есть; а вѣстимо и тому, кто принесъ суму! Сума, дай пить и ѣсть!» Въ тотъ же мигъ три челядинца выскочили, яствами и напитками драгоцѣнными столъ весь уставили, и *Оплетало* съ женой не могли такому добру надивиться и нарадоваться. Ѣли они и пили; наконецъ *Оплетало* брата подпоилъ, да и оплелъ; суму вымѣнялъ на балалайку и пошелъ домой. Заутре *Смекайло* спохватился, — поздно, коли за своими щеками колача не удержалъ, а за чужими не удержишь! На балалайкѣ три красныя струны, а хлѣба ни ломтя! Пришелъ онъ къ брату: «за своимъ добромъ да я же тебѣ челомъ», а братъ его велѣлъ вытолкать. Не проси у богатаго, проси у тороватаго! Взвыла да пошла изъ кармана мошна! Взяло кота поперекъ живота, охъ, охъ!—а пособить нечѣмъ!

«Пошелъ онъ опять къ дѣдушкѣ, *Морозу Снѣговичу*. «Дѣдушка, провинился я передъ тобой! Суму завѣтную отдалъ брату, а у самого ни хлѣба, ни гроша на разживу!» — «Добро, — сказалъ дѣдушка: — добро, собьемъ ведро, обручи подъ лавку, клепки въ печь, такъ авось и не будетъ течь! Ты уменъ, какъ дьякъ Семенъ, книги продалъ да карты купилъ!» — «Дѣдушка, помилуй!» — «Быть такъ, *Смекайло;* на первый разъ прощаю; гляди же, впередъ не шали!» — Напоилъ его, накормилъ, и далъ ему суму серебряную; изъ нея, по тому же слову, шесть человѣкъ выскакиваютъ, кормятъ, поятъ до упаду. *Смекайло* таки не утерпѣлъ, чтобы передъ братомъ не похва-

литься новымъ добромъ своимъ: а тотъ, какъ пришелъ, какъ глянулъ, такъ вислоухаго *Смекайло*, попрежнему, опоилъ, да и оплелъ; на рожокъ съ табакомъ вымѣнялъ у него суму, да и пошелъ! *Смекайло* проснулся утромъ, — было густо, стало пусто! Запѣлъ, что коза на привязи: «Аль на мою голову прахъ палъ, аль я въ такой часъ уродился, аль на такихъ рукахъ окрестился, что мнѣ нѣтъ талану, что я ни съ чего не разживуся? Добрый Иванъ — и людямъ и намъ, а плохой Иванъ — ни людямъ ни намъ! Таковъ и я теперь! Гдѣ бѣда ни была, а къ намъ опять пришла! Какъ быть? Братъ меня обижаетъ; онъ богатъ, такъ на немъ хоть не ищи, на него ни суда, ни доказчиковъ; а Богъ и видитъ, да не скоро скажетъ!» Но сколько нашъ *Смекайло* ни разсуждалъ, а пришлось въ третижды идти къ дѣдушкѣ, *Морозу Снѣговичу*. *Смекайлу* ѣсть захотѣлось, а голодъ не сосѣдъ, отъ него не уйдешь! Пусть жить горько, да вѣдь и умирать не находка!—«Дѣдушка, виноватъ, а суму твою я опять прогулялъ: на рожокъ съ табакомъ промѣнялъ! Дѣдушка, *Морозъ Снѣговичъ*, ты православному человѣку свой; накорми да сумкой подари; ай, дѣдушка, ѣсть хочу сегодня, захочу — напередъ знаю— и завтра».—«На всякое чиханье не наздравствуешься,— отвѣчалъ дѣдушка,—а на дурака добра не напасешься, не дамъ тебѣ ничего». — «Дѣдушка, помилуй! грѣхъ да бѣда на кого не живетъ?»—Грѣхъ грѣхомъ,—молвилъ опять дѣдушка, — а вина виной; у тебя борода съ ворота, а ума съ прикалитокъ нѣту; глупому сыну не въ помощь и богатство!» — «Дѣдушка, помилуй, впередъ не буду; у меня теперь отколѣ умъ взялся, не стану пить да гулять, не стану на суму торговать!»—«Ты съ коробомъ, а я съ норовомъ,—сказалъ дѣдъ: — каяться, такъ кайся, да опять за старое не принимайся, тебя проучить порядкомъ надо; громъ не

грянетъ, мужикъ не перекрестится; горбатаго исправитъ могила, а упрямаго — дубина! Простить развѣ еще разъ тебя только для того, что родному брату суму отдалъ! На, вотъ тебѣ сума золотая; когда ѣсть захочется, скажи: сума, дай пить и ѣсть—двѣнадцать человѣкъ молодцовъ выскочатъ и накормятъ тебя вволю; да только ты, какъ наѣшься, кричи поскорѣй, не зѣвай: молодцы, въ суму! Теперь похлебай моихъ щецъ, надломи хлѣбецъ мой, отдохни, да и ступай съ Богомъ! — *Смекайло* у дѣда ѣлъ не ѣлъ, все домой глядѣлъ, наконецъ пошелъ. Путемъ-дорóгою вздумалъ онъ позакусить маленько своего хлѣба и соли, золотой сумой потѣшиться. Онъ кинулъ суму на землю и молвилъ: «Сума, дай пить и ѣсть!» Двѣнадцать молодцовъ выскочили изъ сумы и приняли бѣднаго *Смекайлу* въ плети, приговаривая: «не пьянствуй, не бражничай, не балуйся!» да такъ, что онъ едва успѣлъ опомнясь закричать: «молодцы, въ суму!» и молодцы схоронились. «Чтобы тебѣ, старому чорту, ежа противъ шерсти родить,» проворчалъ *Смекайло*, почесывая бока и спину, «какими учителями меня подарилъ! Этакъ, поневолѣ, дастся и собакѣ наука! Погодите-жъ, вы, дружки-толоконнички, толоконце съѣвъ, да и розно всѣ! Это все вы брата моего съ пути сбиваете, чтобы васъ, дармоѣдовъ, чортъ растасовалъ! Я васъ напою и накормлю всѣхъ, и тебя, доведь счастія, братъ любезный, проучу я также!» Не успѣлъ онъ придти домой, какъ *Оплетало* съ ровнями своими самъ напросился на обнову поглядѣть. Золотая сума до того приглянулась брату, что онъ отдалъ *Смекайлѣ* — а ужъ *Смекайло* не промахъ — и кожаную, и серебряную, только бы добыть себѣ золотую. Добылъ, пришелъ домой, хлѣбосольниковъ готовыхъ полна изба; — онъ суму на столъ, давай хвалиться гостямъ: «Богъ вѣсть, что-де *въ сумѣ* есть, и невѣдомо и тому, кто принесъ суму!

Сума, дай ѣсть и пить». Двѣнадцать молодцовъ, одинъ одного ухваткими чище, выскочили, ровно съ лука спрянули, и приняли всѣхъ, кто живой тутъ былъ, въ плети, приговаривая: «полно пьянствовать, полно бражничать, пора за умъ хватиться!» Холопы и челядинцы съ крикомъ на улицу повыскочили и со страхомъ повѣдали *Смекайлу*, ждавшему конца пѣсни у воротъ, на какую пирушку гости попали! *Смекайло* кинулся въ избу и закричалъ: «молодцы, въ суму!» Все стихло, и плети улеглись въ сумку; гости, почесывая спину, въ охапку кушакъ и шапку, да скорѣй безъ памяти домой. *Оплетало* сидѣлъ, прижавшись въ красномъ углу подъ образами, то крестился, то на суму косился, то поглядывалъ на *Смекайлу*, и добывалъ слова. Знаетъ кошка, чье мясо съѣла! *Смекайло* подошелъ къ нему и сказалъ: «Успокойся, братъ любезный, молодцы въ сумѣ! Хоть они вамъ и дались знать, что до новыхъ вѣниковъ, чай, не забудете, но на этомъ не взыщи; ты знаешь, что у насъ одинъ битый семерыхъ небитыхъ стоитъ! Люби ѣздить, люби и возить; на людяхъ и смерть красна, а какъ намъ гулять, такъ и ночь коротка! Любезный братъ! добрыя сумки обѣ у меня, а поганая у тебя; помирись со мною, обѣщай меня болѣе не обманывать, не оплетать, такъ у насъ все будетъ опять пополамъ: и добро, и худо. Что тебѣ въ твоемъ богатствѣ, братъ любезный? Богатый не по два раза въ день обѣдаетъ да сытъ бываетъ; а бѣдному мосолъ—онъ и сытъ, и веселъ! Двѣ головни вмѣстѣ всегда курятся, любезный братъ, а одна гаснетъ; крѣпка артель атамановъ — двое и въ полѣ воюютъ, а одинъ и дома горюетъ! — Вонъ, видишь, и дѣдушка, *Морозъ Снѣговичъ*, идетъ насъ съ тобою мирить; гляди, какъ посыпалъ!» — «Сынъ, батюшка, — сказалъ *Оплетало*, вставая и поглядывая въ окно: — сынъ, отецъ родной, у насъ маслена на

дворѣ, пора сани закладывать да салазки припасать! Русскому дорого яичко ко Христову дню! По рукамъ, такъ по рукамъ, братъ *Смекайло;* кто старое помянетъ, того чортъ на расправу потянетъ! Доставай-ка свою сумку, а эту, окаянную, закинь хоть туда, гдѣ черти въ чушки играютъ; доставай, такъ мы перехватимъ съ перепугу, да на мировую выпьемъ! Ну, а напугалъ было ты меня, братъ *Смекайло,* что помутило на-сердцѣ и въ головѣ одурѣло! Мировую, такъ мировую! и худой миръ лучше доброй ссоры!

«Вотъ вамъ сказка хватская, наука братская, быль казацкая!»

— Гой есте, витязи могучіе, богатыри иноплеменные, и книжнаго ума великаго причаститься сподобившіеся! — началъ таково слово царь Свѣтозаръ: — распотѣшили вы меня подъ старость лѣтъ: вы сказали мнѣ по сказочкѣ, что одна лучше одной. Выпивайте вы, каждый, турій рогъ меду сладкаго, турій рогъ въ полтретья ведра; подходите къ дочери моей Милонѣгѣ-Бѣлоручкѣ, по прозванію Васильковый-Глазокъ, пусть сама рѣшаетъ царевна моя: кто ей милъ и по душѣ пришелся, и чья сказка ей по нраву довелась? На кого укажетъ она — тотъ сыномъ будетъ старшимъ у меня, тотъ царь народу моему, суженый дочери, и заживо наперсникъ и наслѣдникъ мой!

И царевна Милонѣга, поникувъ долу васильковыми очами, сладкимъ голосомъ молвила: «Тотъ, что шапку носитъ треухую на соболяхъ, бурку на плечахъ словно лебяжій пухъ, и оружіе за плечами возитъ долгомѣрное, и въ налучнѣ тугой лукъ, и въ колчанѣ калену стрѣлу, въ правой рукѣ, на темлякѣ, копье мурзамецкое ярой свѣчей горитъ, что кольчуга по булату вызолочена, полоса въ ножнахъ словно золото звенитъ,

а въ правой рукѣ словно радуга горитъ, что сказки говоритъ не восточныя и не западныя, а свои, коренныя, доморощенныя—тотъ пусть будетъ господиномъ моимъ! И сама вышью ему кафтанъ сухимъ, краснымъ золотомъ по рыту бархату, и ходить за нимъ стану, какъ за батюшкою, и любить пуще брата милаго, назову я его своимъ суженымъ — коли выйдетъ онъ съ двумя соперники своими, за меня, за единоборство кровавое и, избивъ ихъ, самъ изыдетъ побѣдителемъ!»

И возговорила труба ратная, подвели коней борзыхъ, боевыхъ, на свой ладъ у всякаго разукрашенныхъ. Три витязя наши въ бой снаряжаются, въ чистомъ полѣ съѣзжаются—въ полѣ съѣзжаются, родомъ не считаются!

«Стягну умъ крѣпостію своею», рекъ одинъ, «и изострю сердце мужествомъ, и весь исполнюся духа ратнаго!» Ударилъ копіемъ—подъ однимъ супротивникомъ конь окорачился, другой въ сѣдлѣ подскочилъ въ полдуба стоячаго; а и Сема встаетъ, пересемываетъ, а Спиря встаетъ—поспириваетъ... побѣдитель сымалъ съ коней ихъ чембуры шелковые, миловалъ ратниковъ побѣжденныхъ, — русскій лежачаго не бьетъ, — отпускалъ ихъ души грѣшныя на покаяніе, вязалъ имъ руки бѣлыя, вѣшалъ ихъ въ торока сѣдла кабардинскаго, подвозилъ ихъ въ торокахъ ко цареву шатру, онъ царю великому поклоняется, къ стопамъ царевны кладетъ поборниковъ своихъ, ея милости поклонниковъ... А царевна Милонѣга-Бѣлоручка, Васильковый-Глазокъ, что очи сокольи, брови собольи, грудь лебедина, походка павлина, уста ярый маковъ цвѣтъ, — скоро встаетъ съ сѣдалища аксамитнаго, по коврамъ ступаетъ, по шелковымъ, сама подаетъ ему руку бѣлую. А суженый ея, а нашъ ясный соколъ, ей челомъ да объ ручку: — «Ты постой, постой, царевна

многославная, ты прямо не скачи, не безчести ковры, ковры батюшкины: а и будетъ пора, кругомъ обойдешь! Ты послушай слова моего немудраго: когда я у сударыни у матушки соску сосалъ, тогда игрушка у меня была потѣшная, шелепуга подорожная, въ ней 50 пудовъ свинцу налито чебурацкаго; не боялся я ни живота, ни смерти, не вѣрилъ я ни въ сонъ, ни въ чохъ, а вѣрилъ въ свой червляной вязъ; — черпалъ я, на своемъ вѣку, шеломомъ воду изъ Дуная; слышалъ, какъ лисицы лаяли на червленые щиты; видѣлъ, какъ рыщутъ волками по полю, въ себя студеную росу отряхая, ища себѣ чести, а князю славы — видѣлъ, какъ стелютъ не снопы, а головы, молотятъ цѣпами булатными, на току животъ кладутъ, вѣютъ душу изъ тѣла — такъ тебѣ ли, красавицѣ-дѣвицѣ, застращать меня похожденіями ратными? Ой, дѣвица, дѣвица, что волосъ дологъ, да умъ коротокъ! Гдѣ это на бѣломъ свѣтѣ слыхано, подъ краснымъ солнышкомъ видано, чтобы надъ суженымъ такъ потѣшаться, какъ ты надо мною потѣшаешься? Стало быть, голова моя у тебя залишняя! Не шей ты мнѣ кафтана золотомъ по рыту бархату, не ходи за мною, какъ за батюшкой, не люби пуще брата милаго, не зови своимъ суженымъ; вотъ тебѣ сорочина долгополая, вотъ и цареградскій заѣзжій гость; оба связаны чембурами шелковыми, обоихъ казакъ въ торокахъ важивалъ; — выбирай изъ нихъ любого, не то за двоихъ выходи!» Самъ онъ свистнулъ, на арчакъ вскочилъ, вынималъ, какъ сказуетъ Кирша Даниловъ, сказочникъ, вынималъ изъ налучна тугой лукъ, клалъ стрѣлу каленую, вытягалъ тугой лукъ за ухо—и завыли рога у туга лука, и спѣла тетивка да присвистнула — взвыла да пошла калена стрѣла: угодила въ сыръ кряковистый дубъ — какъ хлеснетъ булатна стрѣла по сыру дубу, изломала, искрошила его въ черенья ножевые!

А нашъ молодецъ взвился да пошелъ, мелькнулъ въ глазахъ, что стрѣла съ тетивы, что тарпанъ мышастый по степямъ за-донскимъ, по ковылю сивому!

СКАЗКА ПЯТНАДЦАТАЯ

о Строевой дочери и о коровушкѣ-Бурёнушкѣ.

Всѣ мы подъ Богомъ ходимъ; кто караетъ, тотъ и милуетъ; изъ тучи дождь, а за тучей изготовленье, припасено и насторожено красное солнышко; туча дождемъ разсыпалась, солнце проглянуло и обсушило.

Жилъ былъ, во странѣ привольной, во землѣ крещеной, бобыль, прозывавшійся, по промыслу своему, Строемъ, и былъ онъ великъ человѣкъ на малыя дѣла и зодчій именитый на клѣти, на хлѣвы, а подчасъ умѣлъ срубить и мужицкія хоромы, которыхъ самъ избою никогда не называлъ. Жена его Аграфена была хозяйка добрая, баба рабочая, и старикъ Строй любилъ ее и берегъ, какъ глазъ свой, покуда она была жива, а какъ только умерла, такъ онъ схоронилъ ее на погостѣ мірскомъ, потужилъ, помянулъ ее въ третины, въ девятины, въ полусорочины, въ сорочины, т. е. въ третій день, въ девятый, въ двадцать первый и въ сороковой, да, не дождавшись ни полугодовщины, ни годовщины, оженился снова, взялъ за себя вдову *Горбылевну*

Отъ первой жены была у него дочь, нынѣ шестнадцати годовъ, которая была названа во св. крещеніи Пелагеею, по имени Св. Пелагіи, которую празднуютъ весною, мая 4-го, то есть чрезъ седмицу со дня рожденія дочери Строя; а вторая жена его, Горбылевна, привела ему съ собою трехъ дочерей: *Шалаву* объ одномъ глазѣ, *Гуляву* о двухъ и *Потачку* о трехъ глазахъ. Сводныя сестры съ перваго дня не могли поладить: втроемъ стали нападать на одну, на бѣдную сиротку Палашу, а сама мачеха, какъ только ногу черезъ порогъ въ избу новаго сожителя своего перенесла, стала обижать падчерицу свою—и бѣдной дѣвченочкѣ житья въ домѣ не было. Камень передъ жаромъ треснетъ, а воскъ растопится; пасынокъ не перенесъ бы того, что бѣдная падчерица переносила: онъ бы и самъ козырнулъ подчасъ, отцу поклонъ, мачехѣ другой, да и пошелъ бы промышлять: бѣлый свѣтъ для добраго молодца не клиномъ сошелся, а дѣвичье дѣло парню рознь; будетъ жить да тужить, покуда развѣ не изойдетъ слезою!...

Пелагея сперва исправляла въ домѣ всякую черновую работу; но когда мачеха увидѣла, что, несмотря ни на какое униженіе, всѣ ее предпочитали тремъ дочерямъ ея, тогда задумала удалить ее изъ дому, чтобы добрымъ людямъ да молодымъ женихамъ никогда на глаза не попадалась. Она заставляла ее каждое утру выгонять въ поле небольшое отцовское стадо коровъ, которымъ обзавелась, ставъ промышлять сыромъ да масломъ. Палаша, несытая, неодѣтая, необутая, пасла стадо и выгоняла въ томъ числѣ и свою любимую коровушку-Бурёнушку, которая осталась, послѣ смерти матери ея, еще телкой, и была вскормлена изъ рукъ Палаши. Мачеха задавала ей сверхъ этого еще на день выпрядать тяжелые уроки, кормить—ничѣмъ не кормила, кромѣ плѣсневатыхъ корокъ

да побоевъ, безъ которыхъ не проходило ни одного вечера; обносила и оговаривала ее предъ всѣми, не исключая и родного отца, и бѣдной сироткѣ ласковаго слова не удавалось слышать, кромѣ развѣ коли кто ненарокомъ его выронитъ! Строева дочь питалась только молочкомъ отъ родимой коровки своей.

Шалава одноглазая была худа и костлява, какъ тарань-рыба; *Гулява* двуглазая пойдетъ—словно корова въ юбкѣ, сядетъ—словно моржъ матерой; а *Потачка* треглазая удалась въ мать свою, Горбылевну: по горбу на лопаткѣ, а ноги короче утиныхъ Итакъ, не мудрено, что у нихъ жениховъ не было; всѣ парни не переставали хвалить сиротки нашей, поговаривая о трехъ дочеряхъ Горбылевны, которыми тѣшилась одна только мать: «хороша дочь Аннушка, коли хвалятъ ее мать да бабушка!» А Палашѣ бѣдной пуще за это и доставалось, и житья въ отцовскомъ домѣ не было.

Въ одинъ день сиротка наша сидѣла на муравкѣ и горько плакала, никакъ не могучи выпрясть урока, какъ вдругъ Бурёнушка подошла къ ней тихонько, полизала у ней руку, тихо промычала и спросила человѣчьимъ голосомъ: «о чемъ, милая моя, плачешь?» — А какъ мнѣ не плакать,—отвѣчала Палаша, лаская свою коровушку: — когда я лишилась родимой матушки, а мачеха меня гонитъ съ бѣла-свѣта, кормитъ корками гнилыми подъ плѣсенью, задаетъ уроки непосильные, и бьетъ немилосердно, если ихъ не выпряду?—«Не плачь», сказала коровушка, «и не грусти, отеческая дочь, я тебя буду поить и кормить, я на тебя буду службу служить». Съ тѣхъ поръ, бывало, какъ только сиротка Палаша коровъ въ поле выгонитъ, коровушка-Бурёнушка ей лѣвое ухо подставитъ, а та *въ одно* ушко къ ней влѣзетъ, въ другое вылѣзетъ,

напьется и наѣстся, умоется и пріодѣнется, а потомъ приляжетъ къ ней головкою, до-сыта отдохнетъ и выспится; а Бурёнушка, тѣмъ часомъ, окомъ материнскимъ на нее поглядываетъ, сама мычки мычетъ да прядетъ, и выпрядала день-деньской уроки Палашины.

Такое досужество коровушки-Бурёнушки избавляло сиротку отъ побоевъ; все у Палаши дѣлалось и скоро и споро, и придираться даже Горбылевнѣ и дочерямъ ея, *Шалавѣ*, *Гулявѣ* и *Потачкѣ*, было не къ чему. Это стало имъ крайне досадно; а кто захочетъ собаку ударить, тотъ найдетъ и палку. Горбылевна стала доискиваться, кто на падчерицу ея пряжу прядетъ и уроки за семерыхъ вырабатываетъ? И догадываясь, наконецъ, что кто-нибудь приходитъ къ ней въ поле, разгласила о дурномъ поведеніи и тайныхъ связяхъ падчерицы своей съ нечистымъ духомъ, который будто бы навѣщаетъ ее въ полѣ подъ ельничкомъ, во образѣ огненнаго змія, и стала посылать дочерей своихъ поочередно съ нею въ поле, чтобы онѣ за нею присматривали, а сама продолжала задавать уроки больше прежняго.

Первая пошла съ нею *Шалава*. «Сядемъ, сестрица», сказала ей Палаша: «здѣсь, видишь, пырей, здѣсь буркунецъ, его коровушки мои любятъ и будутъ гулять, не бось, не разбредутся; а я тебѣ скажу на досугѣ сказочку да спою пѣсенку». Онѣ сѣли, а Палаша стала ей сказывать сказочку затѣйливую: какъ мурза изъ-подъ Ногая набѣгалъ на станицы казацкія, полонилъ казака молодого, казака роду горскаго, осетинскаго; станомъ и складомъ былъ онъ трехгодовалая тополь, а лицо и стати у него атаманскія; какъ плакали по немъ двѣ дѣвицы: одна, сестра родная, по немъ плакала, сама собиралась къ родимой матери; другая, сиротка безпріютная, плакала, рукавомъ бѣлымъ слезы

отирала, за милымъ дружкомъ своимъ въ неволю, на выкупъ, идти собиралась, а сама плачучи приговаривала:

Горе-горькая моя руса коса!
А вечоръ тебя матушка расчесывала,
Расчесывала матушка, заплетала ее —
Я сама дѣвица знаю, вѣдаю,
Расплетать будетъ мою русу косу
Тремъ татарамъ, ногайскимъ наѣздникамъ...

Шалава сказочки заслушалась, прилегла головою на колѣни Палашины, а за пѣсенкою прищурила одинъ глазъ свой и задремала. Палаша, дочь отцовская, позвала коровушку, въ одно ушко влѣзла, въ другое вылѣзла, наѣлась, напилась, а тамъ, стоя, головкой къ ней прислонилась, отдохнула; а Бурёнушка мычки перемыкала, пряжу выпряла, сама глазомъ материнскимъ на нее поглядывала. Когда онѣ со стадомъ въ сумерки возвратились домой, тогда Горбылевна, принявъ готовую пряжу отъ Палаши, ни о чемъ не могла отъ *Шалавы* довѣдаться; она увѣряла, что Палаша пряла сама.

На другой день пошла съ Палашей *Гулява*, о двухъ глазахъ: и съ нею было то же. Палаша разсказала ей сказочку про Игошу, безрукаго, безногаго, который родился у мужика уродомъ, умеръ некрещеный, да и ходитъ нынѣ проказить по сосѣдству; ему за обѣдомъ ложка залишняя кладется, ему хлѣба коврига на особицу, ему пирога ломоть; а исправляетъ онъ за это должность заурядъ-домового: онъ лошадей бережетъ и катается на нихъ по ночамъ; иной разъ упаритъ такъ, что въ мылѣ хоть выжми; онъ и колтунъ имъ заплетаетъ; онъ избу отъ худобы, отъ изъяну оберегаетъ. *Гулява* заслушалась, голову на колѣни Палашѣ

положила, заснула, а та подозвала коровушку, напилась, наѣлась, отдохнула и пряжу перепряла. Дѣвки домой приходятъ, пастухъ по дорогѣ стадо деревенское гонитъ, на рожкѣ пѣсни яснымъ голосомъ играетъ-выговариваетъ, и дѣвушки стадо перенять изъ села навстрѣчу выходятъ, мальчишки на сопѣлкахъ ивовыхъ играютъ, бичами похлопываютъ. — Горбылевна *Гуляву* въ допросъ: *Гулява* ни о чемъ не знаетъ, не вѣдаетъ; божится, клянется, что Палаша сама мычки перемыкала, сама перепряла.

Горбылева на третій день послала съ Палашею *Потачку* трехглазую. Палаша ее посадила, сказочку сказала и пѣсенку спѣла; *Потачка* заснула, два глаза защурила, а третьимъ все видѣла; видѣла, какъ Палаша съ коровушкой-Бурёнушкой вѣдалась, какъ ей въ ушко влѣзла, въ другое вылѣзла, напилась, наѣлась, отдыхать къ ней прислонилась, а коровушка мычки перемыкала и пряжу перепряла, и все это, воротившись, матери своей, Строихѣ, пересказала. Строиха-Горбылевна крайне разгнѣвалась на падчерицу свою: прибила ее, заперла въ заклѣти, а сама пошла къ мужу своему, къ отцу Палаши, и уломала старика Строя зарѣзать коровушку-Бурёнушку.

Жена у русскаго мужика—правая рука: возьметъ не мытьемъ, такъ катаньемъ, не шильцемъ, такъ мыльцемъ; ты говори свое, она, знай, свое; ты кончилъ, думаешь—справился, а она затягиваетъ ту же пѣсню, которой починала; глядишь—мужикъ махнулъ рукой, плюнулъ и сдѣлалъ по ней!—Палаша, узнавъ объ этомъ, горько плакала, съ коровушкою своею прощалась, когда вдругъ подошла къ заклѣти сама коровушка-Бурёнушка и сказала: «Не плачь, Палаша, дочь отеческая, не кручинься; когда меня убьютъ, то выпроси для себя копытца мои, рожки и требушинку, и предай все это землѣ, на улицѣ, въ палисадничкѣ, противу окошечка

своего». Въ этомъ послѣднемъ утѣшеніи отецъ Строй не отказалъ дочери своей; отдалъ ей на долю рожки, ножки и требушинку; она же, поплакавъ еще разокъ, зарыла все это на улицѣ противу окна и прикрыла зеленымъ дерномъ.

На зарѣ слѣдующаго дня, когда пастухъ, проходя по селу, затянулъ на рожкѣ пѣсенку плясовую: *во зеленыихъ лузяхъ*, а дочери Строихи-Горбылевны вышли съ подойниками подоить коровъ своихъ, онѣ съ большимъ удивленіемъ увидѣли на томъ мѣстѣ, гдѣ Палаша наканунѣ схоронила въ землю остатки коровушки своей, яблоньку съ листьями серебряными и яблоками золотыми. Онѣ явленію этому весьма удивились, пошли и сказали о томъ матери своей, Строихѣ, которая, поглядѣвъ на яблоньку, не менѣе чуду тому удивилась и пошла разсказать мужу своему, Строю; и Строй, вышедши въ палисадникъ, яблонькѣ золотой удивлялся, а какъ къ нему подошли жена и падчерицы, то они начали дивиться чуду тому всѣ вмѣстѣ. Между тѣмъ какъ они стояли въ палисадникѣ, и Строиха-Горбылевна съ мужемъ своимъ уговаривалась, какъ защитить и сохранить отъ воровства такую драгоцѣнность и послать королю земли той въ подарокъ нѣсколько золотыхъ яблочекъ, а остальными надѣлить, вмѣсто приданаго, *Шалаву*, *Гуляву* и *Потачку*, — вдругъ на улицѣ показалась толпа, шапки полетѣли подъ самыя кровли, и молодой король, отправлявшійся на какое то потѣшное зрѣлище, явился среди народа. Онъ увидѣлъ очарованную яблоньку, остановился—вспыхнулъ лицомъ и грудью и узналъ въ ней вѣщимъ сномъ ему обѣтованное знаменіе. «Здѣсь, подъ этою стрѣхою, обитаетъ другъ мой», молвилъ онъ: «ему принадлежитъ серебряная яблонька съ золотыми плодами; если это мужчина, то онъ наперсникъ мой, онъ товарищъ правленія и первый въ землѣ моей вельможа; если

женщина—то это подруга моя и народу моему законная повелительница. Пускай же истинный хозяинъ или хозяйка сокровища сего поднесетъ мнѣ изъ рукъ своихъ золотыхъ плодовъ!»

Горбылевна торопилась нарядить и убрать старшую дочь свою, одноглазую *Шалаву*, дала ей блюдо и приказала нарвать и поднести королю яблокъ. Но лишь только та подошла къ дереву, какъ оно начало хлестать ее прутьями по ушамъ, и она, зарыдавъ, отскочила и сбросила съ себя всѣ богатые наряды. *Гулява* двуглазая испытала ту же участь; а *Потачка* лишилась даже третьяго глаза своего, который выстегнула ей яблонька, сказавъ: «худое дерево и съ корнемъ вонъ; онъ у тебя лишній, когда въ соглядаи пошелъ; по русскому обычаю, доносчику первый кнутъ». Тогда, наконецъ, уже отецъ Строй, видя нетерпѣніе короля, послалъ дочь свою Палашу, которая, въ худенькомъ кумачномъ сарафанѣ, босикомъ, безъ сережекъ, безъ бисеру и безъ ленточекъ, но опрятно причесанная, съ косою по икры, поклонилась королю, подошла къ яблонькѣ, сорвала три золотыхъ яблока, подошла къ королю, снова поклонилась и подала ихъ ему привѣтливо, прямо изъ рукъ своихъ, примолвивъ: «Жить и княжить тебѣ, великому королю, королевнѣ, супругѣ твоей, и наслѣднику твоему, трижды тридевять трехлѣтій; намъ тебя любить и слушать, какъ я отца своего люблю и слушаю; тебѣ насъ миловать и жаловать, какъ меня Бурёнушка моя миловала и жаловала!»

Король спросилъ Палашу, дочь отеческую, кто таковъ отецъ ея, и кто коровушка-Бурёнушка, и, выслушавъ благосклонно и внимательно все, что она ему разсказывала, надѣлъ ей на руку колечко драгоцѣнное, поцѣловалъ въ чело высокое и назвалъ *царскою невѣстою*. Отправясь немедленно во дворецъ, прислалъ онъ

Строевой дочери богатый сарафанъ: взглянешь правымъ глазомъ—яхонты по полю бирюзовому радугами переливчатыми, словно перья павлиныя, играютъ;—взглянешь лѣвымъ глазомъ—словно багряница утренняя сквозь лазурь небесную сквозитъ, звѣздочки мерцающія проглядываютъ. Сарафанъ этотъ приняла Строиха Горбылевна, надѣла на среднюю дочь свою, *Гуляву*, и послала за порогъ, встрѣчать короля, ѣхавшаго съ придворнымъ причтомъ своимъ въ домъ старика Строя, на помолвку съ дочерью его. Король, коего зрѣніе было отуманено навожденіемъ, принялъ было *Гуляву* за Палашу, дочь отеческую: но вдругъ любимецъ Палашинъ, пѣтушокъ, золотой гребешокъ, масляна головка, разбѣжавшись, закричалъ: *Куд-куд-куд-куда?* Взлетѣлъ на кровлю избы Строя, захлопавъ крыльями, и пропѣлъ: *Тута нету!* Король съ изумленіемъ остановился; пѣтушокъ, золотой гребешокъ, полетѣлъ на заклѣть, и закричалъ, какъ будто скликая курицъ: *Тутъ, тутъ, тутъ, тутъ.*—Король вошелъ въ заклѣть, велѣлъ поднять опрокинутый большой обрѣзъ, и нашелъ подъ нимъ бѣдненькую Палашу, дочь отеческую. Онъ взялъ ее за руки, посадилъ на колесницу свою, сѣлъ самъ и поскакалъ—а когда, отъѣзжая, оглянулся, то увидѣлъ, что изъ цѣлаго семейства бобыля Строя вышли оборотни: самъ старикъ оборотился въ смиреннаго вола, съ ярмомъ на шеѣ, который стоялъ и жевалъ жвачку; Строиха Горбылевна прыснула сѣрой кошкой по кровлямъ и по заборамъ; три дочери ея, *Шалава*, *Гулява* и *Потачка*, стояли, три индѣйки, въ воротахъ дома своего, глядѣли вслѣдъ за колесницею, за Палашею, и, протянувъ шеи, кричали безъ толку во все индюшечье горло.

Яблонька пошла слѣдомъ за Палашею, стояла во время вѣнчанія ея съ королемъ на паперти церковной; а когда ее окропили священною водою,

то она пошла опять слѣдомъ за новою королевою и долго украшала сады королевскіе: водились на ней птицы райскія, пѣли пѣсни царскія, короля съ королевою утѣшали, насъ съ тобою забавляли.

СКАЗКА ШЕСТНАДЦАТАЯ

о ворѣ и бурой коровѣ.

Гни сказку готовую, что дугу черемховую! Пей-ка, копѣйка; пятакъ, постой-ка, будетъ и на твою долю попойка! Гужи сыромятные, тяжи моржовые, шлея наборная, кобыла задорная — пойдетъ рысить черезъ пни, черезъ кочки, только держись, супонь да мочки! Эхъ вы, любки-голубки, хвосты-песты, головы-ступки, что ноги ходки, хвосты долги, уши коротки, аль вы забыли, какъ прежде любили? Эхъ, съ горки на горку, дастъ баринъ на водку — дастъ ли, не дастъ ли, а дома будемъ, дома будемъ, гостей не забудемъ! Эхъ, маленькіе, разудаленькіе, ударю! Гни сказку готовую, что дугу черемховую!

Погоди, Демьянъ, либо ты съ похмелья, либо и пьянъ; а этакъ гнать, добру не бывать: держи ты тройку на вожжахъ, правь толкомъ да сказку сказывай тихомолкомъ, а то съ тобой чтобъ бѣды не нажить, чтобы сказкой твоей кого не зацѣпить; ты сказ-

кой о ворѣ и бурой коровѣ кому-нибудь напорешь и глазъ, не только брови! А ты кричи: поди, поди, берегися! Ѣдетъ сказка тройкой, сторонися! Сказка моя въ добраго парня не мѣтитъ, а ледащаго не жаль, хоть и зацѣпитъ.

Жилъ-былъ подъ Нижнимъ, подъ городомъ, мужикъ, а съ нимъ и баба, а съ нею и дѣти—семеро никакъ—шестеро постарше, а одинъ помоложе всѣхъ. Поколѣ мужикъ тотъ былъ въ порѣ, такъ за всякую работу брался; «я», говаривалъ онъ: «слава Богу, человѣкъ крещеный, такъ у меня руки отъ работы не отвалятся!» а какъ состарился, такъ уже и не подсилу стало; коли лапотки сплететъ, лучины подъ свѣтецъ надеретъ, такъ и на томъ спасибо. Было время, что онъ дѣтей кормилъ, а нынѣ — дѣти его и кормятъ и поятъ: круговая порука! Старикъ дѣтей своихъ шестерыхъ наставилъ и научилъ добру, и вышли они парни работящіе—а на седьмомъ, на Ванькѣ, оборвалось: не впрокъ пошло отцовское ученье; отбился, отшатнулся и пошелъ своимъ проселкомъ, — не доймешь его ни калиной, ни хворостиной! У него, чуть гдѣ плохо лежитъ, то и брюхо болитъ; что ни взглянетъ, то и стянетъ! А самъ увалень, лежебокъ такой, что, опричь развѣ за поживой, не шелохнется ни рукой, ни ногой. Какъ, бывало, въ воскресный денёкъ, утромъ ранымъ-ранешенько, поколѣ народъ у заутрени, съ легкой руки протянетъ пятерню да сволочитъ у сосѣда кушакъ, либо ножъ, либо, буде рука не дрогнетъ, колесо съ телѣги, — такъ и пошелъ на всю недѣлю, отколѣ что берется! Ванька съ малыхъ лѣтъ пріучалъ себя къ этому ремеслу—безъ выучки нѣтъ мастера, а безъ умѣнья и пальца не согнешь. Онъ хлѣба еще не умѣлъ спросить у матери, а самъ уже тихомолкомъ руками за ломоть хватался. Бывало, мать поставитъ удой молока на семерыхъ, да ребятишекъ обсажаетъ на полу

вокругъ, а онъ одинъ въ двѣ руки да въ двѣ ложки уписываетъ — ни одной ложки мимо рыла не пронесетъ; бывало, отецъ привезетъ изъ Нижняго на всѣхъ ребятишекъ по маковнику, а онъ сестрамъ и братьямъ пескомъ глаза запорошитъ, да и поѣстъ все одинъ. Бывало, положитъ самъ свои рукавицы на полати, заползетъ съ печи, да и приноравливается, какъ бы поладнѣе ихъ стащить, чтобы и самому не увидать; бывало, самъ у себя портишки унесетъ да и схоронитъ, и ходитъ какъ мать на свѣтъ родила. А когда только сталъ онъ своимъ языкомъ лепетать, слова выговаривать, такъ первое слово сказалъ, для почину, поговорку: лупи яичко — не сказывай, а облупишь — не показывай; первую пѣсню запѣлъ про русскаго про Картуша, Ваньку Каина; первую сказку сказалъ про Стеньку Разина.—Эй, быть бычку на веревочкѣ!—говаривали ему добрые люди,—Нашъ Ванька не слушаетъ и ухомъ не ведетъ. Сталъ ему старшій братъ говорить: «Ванька, коли ты у меня еще что украдешь, такъ ткну я тебя въ рыло ногой, будешь ты семь недѣль безъ одной летѣть торчмя головой!» Ванька себѣ на умѣ. Поется старая пѣсня: «не бывать плѣшивому кудрявымъ, не отвадить вора отъ куска краденаго»,—и Ванька все проказитъ попрежнему. Тогда уже сказалъ ему отецъ: «Послушай, Ванька, ты теперь не малъ и не глупъ; скажу я тебѣ притчу: У моего сударя у батюшки, а у твоего у дѣдушки, была собачища старая, насилу она по подстолью таскалася,—и костью краденою та собака подавилася; взялъ дѣдъ твой ее за хвостъ, да и подъ гору махнулъ — и была она такова: будетъ то же и тебѣ отъ меня. Ступай ты лучше, до грѣха, съ моего съ честного двора; вотъ тебѣ образъ, а вотъ тебѣ двери, дай Богъ свидѣться намъ на томъ свѣтѣ, а на этомъ не хочу я *тебя и знать*, не хочу я хлѣба-соли съ тобой водить,

не хочу съ тобою въ баню ходить; гдѣ со мной столкнешься, ты мнѣ не кланяйся, шапки передо мной не ломай: я тебя не знаю, и ты меня не знай, я тебя не замаю, ты меня не замай!»

Гни сказку готовую, что дугу черемховую! Эхъ, по всѣмъ, по тремъ, коренной не тронь, а кромѣ коренной и нѣтъ ни одной! Кто везетъ, того и погоняютъ, у меня коренная за всѣхъ отвѣчаетъ; мой рысакъ подъ дугою рысить, не частить, пристяжныя выносятъ, жару просятъ... Ой, жару, жару, нагоню я на свою пару — ударю, ударю!.. Гни сказку готовую, что дугу черемховую!

Эй, Демьянъ, не нажить бы бѣды, ты, знай, гонишь, что въ маслену по блины—нынѣ русской ѣзды баричъ не любитъ, а всякъ дома втихомолку трубитъ; по своей ѣздѣ ты ищи простора, чтобы не зацѣпить, невзначай, кромѣ Ваньки и другого вора!

Ванька ухватилъ шапку, рукавицы, зацѣпилъ мимоходомъ залишній утиральникъ узорчатый, что висѣлъ на стѣнѣ, подлѣ осколыша зеркала, сманилъ со двора отцовскую собаку, да и пошелъ. Въ эту пору шла на ихъ село конница на пѣгихъ коняхъ; трубачи, обступивши лотокъ, торговали у бабы сайки; одинъ, видно, не сошелся въ цѣнѣ, такъ, заговоривши тетку, нагнулся съ коня, протянулъ пять рублевъ костяныхъ, да и стянулъ валенецъ. У всякаго свой обычай: казакъ на всемъ скаку съ земли хватаетъ, а драгунъ съ лотка. «Прямой музыкантъ», подумалъ Ванька про себя, поглядѣвъ на трубача, «что только завидитъ глазами, то и беретъ пальцами да руками! Чуть ли этотъ не придется мнѣ сродни: и я на костяной раздвижной трубкѣ мастеръ играть!»

— Что ты, продувной парнишка, ротъ разинулъ, глядишь? нешто не видалъ еще, какъ пять свахъ натощакъ засылаютъ по невѣсту голодному жениху!

Ты, видно, не женатъ еще? — «Холостъ», отвѣчалъ Ванька.—Такъ ты по нашему,—продолжалъ трубачъ, чтобы заговорить опаснаго свидѣтеля и выиграть время: — люди женятся, а у насъ съ тобой глаза во лбу свѣтятся! Что же ты не ищешь себѣ невѣсты? Дѣвокъ у васъ много да и все славныя, и самъ ты молодецъ!—«Хотѣлъ было бачка оженить, чтобъ жена берегла да приглядывала, да я не хочу», сказалъ Ванька.—А для чего же ты не хочешь? Вѣдь и бачка твой былъ женатъ чай, аль нѣтъ? — спросилъ трубачъ,—«Да вѣдь бачка то женился на мачкѣ,» отвѣчалъ Ванька: «а за меня отдаютъ чужую!» Трубачъ разсмѣялся на дурака, на Ваньку, да и хотѣлъ было ѣхать, но тотъ не промахъ. «Погоди», говоритъ, «рѣжь да ѣшь, ломай, да и намъ давай! Отдай-ка мнѣ полваленца, а не то скажу». — Не сказывай, — отвѣчалъ трубачъ:—я за это научу тебя своему ремеслу, пойдемъ вмѣстѣ. Первая вещь, берегись пуще всего, чтобъ не проходило краснаго утра безъ почину, а то весь день пропадетъ даромъ. За большимъ не гоняйся, Ванька: хозяйскую печь подъ полою не унесешь, а ты достань изъ нея лепешку, такъ и того съ тебя будетъ; нынѣ рыба дорога,—хлебай уху, а малая рыбка и подавно лучше большого таракана. Вотъ вѣдь и мы тоже всѣ съ крохи на кроху мелкотою перебиваемся, да, благодаря Бога, сыты; если-жъ станешь за крупнымъ добромъ гоняться, такъ заплечнаго мастера не минуешь. — Послѣ такихъ добрыхъ наставленій и поученій, развязался трубачъ съ Ванькою и присталъ снова къ товарищамъ.—Насилу сбылъ шелудливаго,—подумалъ онъ про себя,—подѣлюсь я съ нимъ сайкою, держи карманъ! Молодъ больно; Господь мнѣ послалъ, такъ я и съѣмъ, а ты губы свои оближешь, коли не прогнѣваешься!—Самъ—хвать за пазуху, анъ валенца *и нѣтъ!* Ай-да Ванька. Вотъ ухорѣзъ! У вора корен-

ного изъ-за пазухи сайку унесъ, съ нимъ же рядомъ идучи, ее не жевавши съѣлъ, да и пошелъ запить къ квасникy, что вышелъ конницу на пѣгихъ коняхъ встрѣчать.—Ну, счастье твое, дуй-те горой,—сказалъ трубачъ: — что я тебя не поймалъ, я бы сдѣлалъ изъ тебя мутовку, не то заставилъ бы носомъ хрѣнъ копать!—«Что за счастье», проворчалъ Ванька: «счастьемъ на скрипкѣ не заиграешь, всякое дѣло мастера боится, а иной мастеръ дѣла боится».

«На копѣйку что ли?» спросилъ квасникъ, выхвативъ стаканъ изъ-за пазухи. — Пить, такъ пить,—отвѣчалъ Ванька, подумавъ немного,—наливай на двѣ!— Квасникъ налилъ, Ванька выпилъ, стянулъ у него же пятакъ, отдалъ за квасъ, да еще три копѣйки сдачи взялъ!

Гни сказку готовую, что дугу черемховую! «Смотри, Демьянъ, не нажить бы бѣды, тройка наша храпитъ, того гляди—понесетъ!»—Понесетъ? — спросилъ Демьянъ,—а плеть на что?—«Да развѣ ты плетью держать станешь?» — Острастку задамъ плетью, такъ и вожжей слушать станутъ. — «Эй, Демьянъ, кобыла подъ гору побьетъ».—Нѣтъ, развѣ я ее побью, такъ это скорѣй станется, — отвѣчалъ опять сватъ; а самъ стегнетъ вправо, стегнетъ влѣво—рысакъ пошелъ черезъ пни, черезъ кочки, только держись, супонь да мочки! Пристяжныя въ кольцо свиваются, изъ постромокъ порываются, глаза, словно у звѣря, наливаются. Уснули, вздремнули, губы надули, я разбужу, подниму на ходули! Валяй, не страшно, будетъ на брашно — ой, ударю! Гни сказку готовую, что дугу черемховую!

Такими и иными, той же масти, проказами ремесла или художества своего прославился Ванька нашъ до того, что дѣды наши сложили про него сказку: *О ворѣ и бурой коровѣ*. Сказка эта вырѣзана въ лицахъ,

на лубкѣ, не то на деревѣ, расписана *широкою кистью* мѣдянкой, вохрой и киноварью либо сурикомъ; она продается въ матушкѣ Москвѣ бѣлокаменной, на Никольской улицѣ, въ книжной лавкѣ Василья Васильевича Логинова, и начинается стихами: «Злоумышленный воръ нѣкій былъ, во многіе грады для кражи ходилъ, и уже шельмованъ былъ неоднократно, и то ему было невнятно!» Въ этой то сказкѣ въ лицахъ, о ворѣ и бурой коровѣ, нашъ Ванька играетъ лицо не бурой коровы, а вора. «Многіе, такъ продолжаетъ сказочникъ, ремесло его знали и ничего у него не покупали. Ванька объ этомъ не плакалъ, не тужилъ, а чистыя денежки удилъ да ловилъ. Но онъ таки не спускалъ, гдѣ трафилось, и товаромъ, у него дня не проходило даромъ. Случилось ему однажды черезъ деревню идти и къ крестьянину по пути ночевать зайти. У мужика была бурая корова, не дойная, такъ тельная, статна и здорова. «Корова моя», подумалъ Ванька: «все дѣло въ томъ, чтобы ее увести да себѣ хлопотъ не навести». Утро вечера мудренѣе, а у Ваньки на починѣ и пальцы подлиннѣе. Легъ онъ, задремалъ, на зарѣ всталъ, корову со двора согналъ и подъ дорогой въ орѣшникѣ привязалъ; а самъ на разсвѣтѣ воротился и легъ, гдѣ лежалъ, словно ни въ чемъ не бывалъ. По-утру хозяинъ его разбудилъ, да тюри ему накрошилъ; Ванька за хлѣбъ, за соль его благодарилъ, а хозяинъ, собираясь въ городъ, его спросилъ: «А куда тебѣ, сватъ, идти? пойдемъ вмѣстѣ, коли по пути!» Ванька сказалъ, что идетъ въ ближайшій градъ, а крестьянинъ тому и радъ; надломили хлѣба, Богу помолились и вмѣстѣ въ путь-дорогу пустились. А Ванькѣ не хочется покинуть коровы, ну какъ пойти и придти безъ обновы? У него, про случай, давнымъ-давно съ три короба затѣй припасено. *Говоритъ* мужику: «ты, сватъ, меня здѣсь маленько

обожди, не то я и нагоню, пожалуй себѣ, иди, а я по дорогѣ у человѣка побываю, не засижусь, не бось, только должка попрошаю—давно, признаться, онъ мнѣ продолжился; хоть и скоро отдать разъ десять побожился, хоть ужъ и не деньгами съ него взять, а чѣмъ-нибудь, только бы захотѣлъ отдать. Правду же, сватъ, люди говорятъ: «не дать въ долгъ остуда на время,— а дать — ссора на вѣкъ!» А мужикъ придакнулъ, говоритъ: — иди, да скорѣй назадъ приходи; а я сниму лапоть съ ноги, да погляжу, не то соломкой переложу—не помять бы ноги, бѣда бѣдой, какъ придешь въ уѣздный городъ хромой!

Ванька пошелъ, корову отвязалъ, и ведетъ, какъ свое добро, будто за долгъ ее взялъ. Мужичекъ нашъ на нее глядѣлъ, глядѣлъ, и таки, наконецъ, не утерпѣлъ, говоритъ: «ну, воля твоя, а это, волосъ въ волосъ, бурёнушка моя!» А Ванька плутъ ему отвѣчаетъ: — «Неужто похожа? бываетъ, сватъ, бываетъ; чай, твоя—кости, мясо да кожа, да и моя то же; напрасно сходство тебя въ сомнѣніе вводитъ; ты знаешь, и человѣкъ въ человѣка приходитъ; корову эту я у мужика за долгъ взялъ—и то насилу засталъ: ходишь, ходишь, постолы обобьешь, да съ тѣмъ же опять и отойдешь! Ой, сватъ, послушайся ты моего слова простого, а стоитъ оно, ей-ей, дорогого: не дашь въ долгъ — остуда на время, дашь въ долгъ — ссора на вѣкъ!»—«Что́ клеишь—говоришь и красно ты баешь, да коровы твоей отъ моей не распознаешь! А станешь ее дома держать, аль, можетъ, поведешь куда продавать?»—Ванька, увидѣвъ, что мужикъ крѣпко чего-то добивался, да и струсивъ, чтобъ въ городѣ кто не придрался, и вспомнивъ, что его тамъ всякій уже зналъ, и потому ничего у него не покупалъ, сказалъ: «хотѣлъ бы продать, теперь денегъ мнѣ нужно, время тяжелое, да только крѣпко недосужно; кабы

ты, землячекъ, ее по рынку поводилъ, я бы тебя послѣ благодарилъ, поставилъ бы тебѣ вина полкварты, назвалъ бы братомъ да обыгралъ бы въ карты!» — Мужикъ говоритъ: «пожалуй, я продамъ, а выручку, не бось, сполна отдамъ». Ванька отдѣлаться по добру радъ, думаетъ: — «Господь съ тобой, возьми корову свою назадъ; а я встану, благословясь, пораньше да шагну куда-нибудь подальше, такъ тутъ ли, тамъ ли, на поживу набреду, гдѣ-нибудь не только корову, и бычка уведу!—глядитъ, а крестьянинъ ужъ воротился, за свое добро да ему же поклонился; продалъ самъ свою бурую корову, а денежки принесъ Ванькѣ на обнову. Ванька ему полкварты поставилъ, а себѣ сапоги да три рубахи справилъ. Мужичекъ нашъ пьетъ, попиваетъ, а что коровушка его іокнула[1]), того и не знаетъ! Наконецъ, онъ домой на село приходитъ, на дворъ поспѣшаетъ, а хозяйка съ дѣтками его встрѣчаетъ, говоритъ: «охъ, у насъ дома крѣпко нездорово, пропала съ двора наша бурая корова!» а дѣтки ревутъ въ два кулака, кричатъ: «тятя, хотимъ хлебать молока!» Тогда мужикъ нашъ заикнулся, запнулся, слова вымолвить не очнулся; самъ шапку съ головы снимаетъ, изъ головы хмель вытряхаетъ, умомъ раскидываетъ, гадаетъ; «охъ, дѣтки, дѣтки, и я съ вами пропалъ! я своей бурёнушки и самъ не узналъ! была въ рукахъ, да межъ пальцевъ проскочила — бѣда-бѣдовая по комъ не ходила! ахъ, куда мнѣ, дѣтушки, васъ дѣвать, у кого теперь станемъ молоко хлебать!» А жена ему стала говорить: «какъ ни плакать, ни тужить, а гореваньемъ другой коровы не нажить, а тебя, стараго дурня, вмѣсто коровы не подоить!»

---

[1]) *Іокъ по-татарски:* нѣтъ.

Стой же, сватъ, стой, заморимъ мы свою тройку, ѣдемъ мы съ тобою не сблизка, а сдалеку, сказка кончена, вино кизильное подлѣ боку,—станемъ да переведемъ духъ, выпьемъ съ тобой, рука на руку, самъ-другъ.

СКАЗКА СЕМНАДЦАТАЯ

о баранахъ.

(Восточная сказка.)

Калифъ сидѣлъ однажды, какъ сидятъ калифы, на парчѣ или бархатѣ, поджавъ ноги, развалившись въ подушкахъ, съ янтаремъ въ зубахъ; длинный чубукъ, какъ боровокъ, проведенный отъ дымовья печки до устья въ трубу, лежалъ, кинутый небрежно поперекъ парчи, атласу и бархату, вплоть до золотого подноса на вальяжныхъ ножкахъ, съ бирюзой и яхонтами, на которомъ покоилась красная глиняная трубка, съ золотыми по краямъ стрѣлками, съ курчавыми цвѣточками и ободочками. Полъ бѣлаго мрамора; небольшой серебристый водометъ посрединѣ; усыпительный однообразный говоръ бьющей и падающей струи, казалось, заботливо услуживалъ калифу, напѣвая ему: покойной ночи.

Но калифу не спалось: озабоченный общимъ благомъ, спокойствіемъ и счастіемъ народа, онъ пускалъ клубы дыма то въ усъ, то въ бороду, и хмурилъ брови. Ночь наступила, а калифъ и не думалъ еще о нынѣ-

шней своей избранницѣ гарема, и старый беззубый церберъ, неусыпной стражъ красоты и молодости, дряхлый эфіопъ, не переступалъ еще съ обычнымъ зовомъ заклѣтнаго порога, не растворялъ широкаго раструба безобразныхъ устъ своихъ для произнесенія благозвучнаго имени одного изъ прелестнѣйшихъ существъ въ мірѣ.

Калифъ тихо произнесъ:—Мелекъ!—и раболѣпный Мелекъ стоялъ передъ нимъ, наклонивъ голову, положивъ правую руку свою на грудь. Калифъ, молча и не покидая трубки, подалъ пальцемъ едва замѣтный знакъ, и Мелекъ стоялъ уже передъ повелителемъ своимъ съ огромнымъ плащемъ простой бурой ткани и съ бѣлой чалмой, безъ всякихъ украшеній, въ рукахъ. Калифъ всталъ, надѣлъ бѣлую простую чалму, накинулъ бурый плащъ, въ которомъ ходитъ одинъ только простой народъ, и вышелъ. Вѣрный Мелекъ, зная обязанность свою, пошелъ украдкой за нимъ слѣдомъ, ступая какъ кошка и не спуская повелителя своего съ глазъ.

Дома въ столицѣ калифа были всѣ такой легкой постройки, что жильцы обыкновенно разговаривали съ прохожими по улицѣ, возвысивъ нѣсколько голосъ. Прислонившись ухомъ къ простѣнку, можно было слышать все, что въ домѣ говорится и дѣлается. Вотъ зачѣмъ пошелъ калифъ.

«Судьи, казы, неумолимъ», жаловался плачевный голосъ въ какой то мазанкѣ, похожей съ виду на дождевикъ, выросшій за одну ночь. «Казы жестокъ: бирюзу и оправу съ сѣдла моего я отдалъ ему, послѣдній остатокъ отцовскаго богатства, и только этимъ могъ искупить жизнь свою и свободу. О, великій калифъ, если бы ты зналъ свинцовую руку и желѣзныя когти своего казы, то бы заплакалъ вмѣстѣ со мною!»

Калифъ задумчиво побрелъ домой: на этотъ разъ онъ слышалъ довольно. «Казы сидитъ одинъ на судилищѣ своемъ», размышлялъ калифъ: «онъ дѣлаетъ, что хочетъ, онъ самовластенъ, можетъ дѣйствовать самоуправно и произвольно: отъ этого все зло. Надобно его ограничить; надобно придать ему помощниковъ, которые свяжутъ произволъ его; надобно поставить и сбоку, рядомъ съ нимъ, наблюдателя, который повѣрялъ бы всѣ дѣла казы на вѣсахъ правосудія и доносилъ бы мнѣ каждодневно, что казы судитъ правдиво и безпристрастно.

Сказано—сдѣлано; калифъ посадилъ еще двухъ судей, по правую и по лѣвую руку казы, повелѣлъ называться этому суду судилищемъ трехъ правдивыхъ мужей; поставилъ знаменитаго умму, съ золотымъ жезломъ, назвавъ его калифскимъ приставомъ правды.— И судилище трехъ правдивыхъ сидѣло и называлось по волѣ и фирману калифскому; и свидѣтель калифскій, приставъ правды, стоялъ и доносилъ каждодневно: все благополучно.

«Каково же идутъ теперь дѣла наши?» спросилъ калифъ однажды у пристава своего, «творится ли судъ, и правда, и милость, благоденствуетъ ли народъ?»

— Благоденствуетъ, великій государь,—отвѣчалъ тотъ:—и судъ, и правда, и милость творится, нѣтъ Бога кромѣ Бога и Мохаммедъ его посолъ. Ты излилъ благодать величія, правды и милости твоей, сквозь сито премудрости, на удрученныя палящимъ зноемъ, обнаженныя главы народа твоего; живительныя капли росы этой оплодотворили сердца и уста подданныхъ твоихъ на произрастаніе древа, коего цвѣтъ есть благодарность, признательность народа, а плодъ—благоденствіе его, устроенное, на незыблемыхъ основаніяхъ, на почвѣ правды и милости.

Калифъ былъ доволенъ, покоясь опять на томъ же пушистомъ бархатѣ, передъ тѣмъ же усыпляющимъ водометомъ, съ тѣмъ же неизмѣннымъ янтарнымъ другомъ въ устахъ, но рѣчь пристава показалась ему что то кудреватою; а калифъ, хоть и привыкъ уже давно къ восточной яркости красокъ, запутанности узоровъ и пышной роскоши выраженій, успѣлъ однакоже научиться не довѣрять напыщенному слову приближенныхъ своихъ.

— Мелекъ!—произнесъ калифъ, и Мелекъ стоялъ передъ нимъ, въ томъ же раболѣпномъ положеніи Калифъ подалъ ему извѣстный знакъ

— Удостой подлую рѣчь раба твоего,—сказалъ Мелекъ, — удостой, о великій калифъ, не края священнаго уха твоего, а только праха, попираемаго благословенными стопами твоими, и ты не пойдешь сегодня подслушивать, а будешь сидѣть здѣсь, въ покоѣ.

— Говори,—отвѣчалъ калифъ.

— О, великій государь, голосъ одинъ: народъ, вѣрный народъ твой вопіетъ подъ беззащитнымъ гнетомъ Когда былъ казы одинъ, тогда была у него и одна только, собственная своя, голова на плечахъ; она одна отвѣчала, и онъ ее берегъ. Нынѣ у него три головы, да четвертая у твоего пристава; они раздѣлили страхъ на четыре части и на каждаго пришлось по четвертой долѣ. Мало было цѣлаго, теперь еще стало меньше. Одного волка, великій государь, кой-какъ насытить можно, если иногда и хватитъ за живое, — стаи собакъ не насытишь, не станетъ мяса на костяхъ.

Калифъ призадумался, смолчалъ, насупилъ брови, и чело его сокрылось въ непроницаемомъ облакѣ дыма. Потомъ янтарь упалъ на колѣни. Калифъ долго въ задумчивости перебиралъ пахучія четки свои, кивая медленно взадъ головою.

«Меня называютъ самовластнымъ», подумалъ онъ: «но ни власти, ни воли у меня нѣтъ. Голова каждаго изъ негодяевъ этихъ, конечно, въ моихъ рукахъ; но, отрубивши человѣку голову, сократишь его, а нравственныя качества его не измѣнишь. Основать добро и благо, упрочить счастіе и спокойствіе каждаго не въ устахъ раболѣпныхъ блюдолизовъ моихъ, а на самомъ дѣлѣ, — это труднѣе, чѣмъ пустить въ свѣтъ человѣка безъ головы. Перевѣшать подданныхъ моихъ гораздо легче, чѣмъ сдѣлать ихъ честными людьми; попытаюсь однако же; надобно ограничить еще болѣе самоуправство, затруднить подкупъ раздробленіемъ дѣлъ, по предметамъ, по роду ихъ и другихъ отношеніямъ, на бо́льшее число лицъ, мѣстъ и степеней; одно лицо дѣйствуетъ самопроизвольно, а гдѣ нужно согласіе многихъ, тамъ правда найдетъ болѣе защиты.

И сдѣлалось все по волѣ калифа: гдѣ сидѣлъ прежде и судилъ и рядилъ одинъ, тамъ сидятъ семеро, важно разглаживаютъ мудрыя бороды свои, замысловатые усы, тянутъ кальянъ и судятъ и рядятъ дружно. Все благополучно.

Великій калифъ съ душевнымъ удовольствіемъ созерцалъ въ свѣтломъ умѣ своемъ вновь устроенное государство; считалъ по пальцамъ, считалъ по четкамъ огромное множество новыхъ слугъ своихъ, слугъ правды — и радовался, умильно улыбаясь, что правосудіе нашло въ калифатѣ его такую могучую опору, такой многочисленный оплотъ противу зла и неправды.

— Еще ли не будутъ счастливы вѣрные рабы мои, — сказалъ онъ: — ужели они не благоденствуютъ теперь, когда я оградилъ и собственность и личность каждаго фаудтами, то есть цѣлыми баталіонами недремлющей стражи, оберегающей заботливо священное зерцало правосудія отъ туску и ржавчины? Тлетворное дыханіе нечистыхъ не смѣетъ коснуться его;

я вижу: зерцало отражаетъ лучи солнечные въ той же чистотѣ, какъ воспріяло ихъ».

Опять позвалъ калифъ Мелека, опять сокрылся отъ очей народа въ простую чалму и смурый охобень, опять пошелъ подъ стѣнками тѣсныхъ, извилистыхъ улицъ; часто и прилежно калифъ прикладывалъ чуткое ухо свое къ утлымъ жилищамъ вѣрноподданныхъ— и слышалъ одни только стенанія, однѣ жалобы на ненасытную корысть новаго сонма недремлющихъ стражей правосудія.

— Растолкуй мнѣ, Мелекъ, — сказалъ калифъ въ недоумѣніи и гнѣвномъ негодованіи: — растолкуй мнѣ, что́ это значитъ? я не вѣрю ушамъ своимъ; быть не можетъ!

— Государь,—отвѣчалъ Мелекъ:—я человѣкъ темный, слышу глазами, вижу руками: только то и знаю, что ощупаю. Позволь мнѣ привести къ тебѣ стараго Хуршита — онъ жилъ много, видалъ много; слово неправды никогда не оскверняло чистыхъ устъ его, онъ скажетъ тебѣ все.

— Позови

Хуршитъ вошелъ. Хуршитъ изъ черни, изъ толпы, добывающей себѣ насущное пропитаніе кровнымъ потомъ

— Хуршитъ, что скажешь?

— Что спросишь, повелитель; не подай голосу, и отголосокъ въ горахъ молчитъ, не смѣетъ откликнуться.

— Скажи мнѣ прямо, смѣло,—но говори правду— когда было лучше теперь: или прежде?

— Государь,—сказалъ Хуршитъ, послѣ глубокаго вздоха:—при отцѣ твоемъ было тяжело. Я былъ тогда овчарникомъ, какъ и теперь, держалъ и своихъ овецъ. Что, бывало, проглянетъ молодая луна на небѣ, то и тащишь на плечахъ къ казью своему барана: тяжело было

— А потомъ?—спросилъ калифъ.

— А потомъ, сударь, стало еще тяжеле: прибавилось начальства надъ нами, прибавилось и тяги, стали мы таскать на плечахъ своихъ по два барана.

— Ну, а теперь, говори!

— А теперь, государь,—сказалъ Хуршитъ, весело улыбаясь:—слава Богу, совсѣмъ легко!

— Какъ такъ?—вскричалъ обрадованный калифъ.

Хуршитъ поднялъ веселые каріе глаза свои на калифа и отвѣчалъ спокойно:

— Гуртомъ гоняемъ.

КОНЕЦЪ ДЕВЯТАГО ТОМА.

СОДЕРЖАНІЕ ДЕВЯТАГО ТОМА

стр.

Сказка первая, о Иванѣ молодомъ сержантѣ, удалой головѣ, безъ роду, безъ племени, сиротѣ безъ прозвища 3

» вторая, о Шемякинскомъ судѣ и о воеводствѣ и о прочемъ, была когда-то быль, а нынѣ сказка будничная 25

» третья, о Рогвольдѣ и Могучанѣ царевичахъ, равно и о третьемъ единоутробномъ ихъ братѣ, о славныхъ подвигахъ и дѣяніяхъ ихъ, и о новомъ княжествѣ и княженіи 36

» четвертая, новинка-диковинка или невиданное чудо, неслыханное диво 60

» пятая, о похожденіяхъ чорта-послушника, Сидора Поликарповича, на морѣ и на сушѣ, о неудачныхъ соблазнительныхъ попыткахъ его, и объ окончательной пристройкѣ его, по части письменной 74

» шестая, про жида вороватаго, про цыгана бородатаго . . . 93

» седьмая, о нѣкоемъ православномъ мужичкѣ и о сынѣ его, Емелѣ дурачкѣ 146

» девятая, о Георгіѣ храбромъ и о волкѣ 177

» десятая, о нуждѣ, о счастіи и о правдѣ 190

» одиннадцатая, о Караѣ царевичѣ и Булатѣ-молодцѣ 220

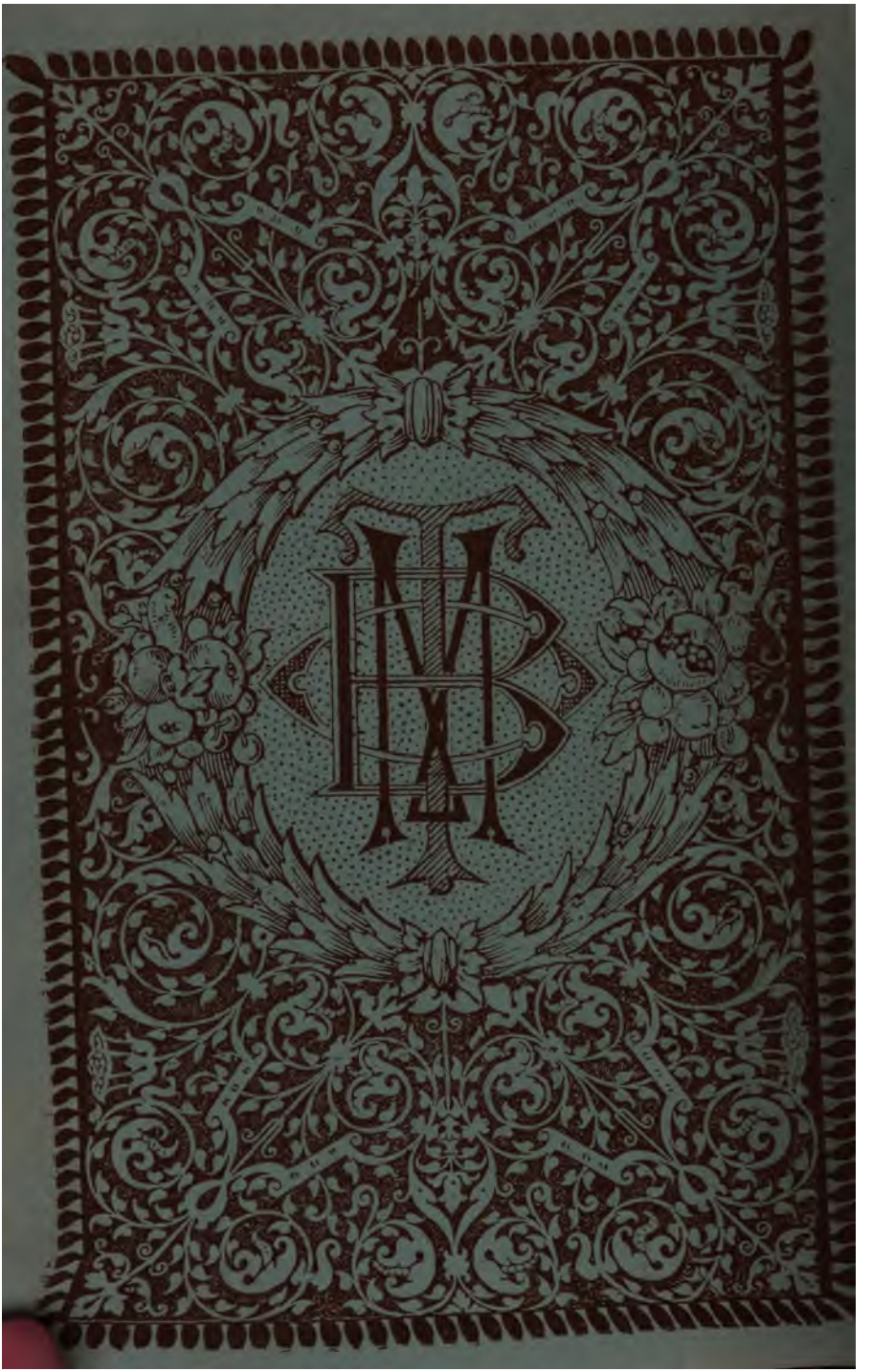
» двѣнадцатая, о бѣдномъ Кузѣ безталанной головѣ и о переметчикѣ Будунтаѣ 233

» тринадцатая, о кладѣ 247

стр.

» четырнадцатая, о прекрасной царевнѣ Милонѣгѣ-Бѣлоручкѣ, по прозванью Васильковый-Глазокъ, и о трехъ-стахъ-тридцати-трехъ затяжныхъ волокитахъ и поклонникахъ ея 260
» пятнадцатая, о Строевой дочери и о коровушкѣ-Бурёнушкѣ. 286
» шестнадцатая, о ворѣ и бурой коровѣ 296
» семнадцатая, о баранахъ 306

891.73
D131
v. 9



Stanford University Libraries
3 6105 013 401 562

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
CECIL H. GREEN LIBRARY
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004
(415) 723-1493

All books may be recalled after 7 days

DATE DUE

FEB 08 1996
FEB 07 1996

Stanford University Library
Stanford, California

БИБЛІОТЕКА ЗНАМЕНИТЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ

ЛИТЕРАТУРА XVIII ВѢКА ГОДЪ

ИЗДАНІЕ ТОВАРИЩЕСТВА М. О. ВОЛЬФ